ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1982

10



Город Владивосток.

Фото Ю. Муравина.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

1982
октябрь
(329)

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ 10

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.

В НОМЕРЕ:



Проза

Анатолий ЛЕБЕДЕВ. Подъемная сила. Повесть . **13**
Владислав ТИТОВ. Проходчики. Роман. Окончание **38**
Игорь ОБРОСОВ. Меж высоких хлебов... Рассказ . **68**



Поэзия

Юрий ПАВЛЕНКО (10), Вячеслав ПРОТАСОВ (10), Елена ОБОЙМИНА (11), Александр КУЛИКОВ (11), Николай ГУРСКИЙ (12), Елена МУКОВОЗОВА (12), Евгений МЕЛЬКОВ (12), Владимир ТЫЦКИХ (12), Виталий ТУФАНОВ (12), Олег ШЕСТИНСКИЙ (33), Давид СИМАНОВИЧ (34), Михаил АНДРОНОВ (35), Фазиль ИСКАНДЕР (36), Станислав КУНЯЕВ (37), Булат ОКУДЖАВА (66).



Публицистика

Виктор ЛОМАКИН. Делам просторно! **3**
«Писателем меня сделал Дальний Восток» **75**
Все началось со спутника **96**



Критика

Ирина ХУРГИНА. История одной книги **80**
Семен ШУРТАКОВ. Что и как мы читаем **81**
А. СТЕПАНОВ. По большакам и проселкам **89**
Ольга ТАРАСЕНКО. Нанайские портреты Сахатова . **112**



Культура и искусство

Наталья ЗИМЯНИНА. О конкурсе и о музыке . . . **90**



Наука и техника

Изот ЛИТИНЕЦКИЙ. На пороге малоизвестного мира **106**



Спорт

Лев ФИЛАТОВ. После футбола **100**



«Зеленый портфель»

Александр САМОЙЛЕНКО. Хроника одной сенсации **111**
Евгений ГОНЧАРОВ. Пишите письма! **112**

© Издательство «Правда», «Юность», 1982 г.

Главный художник
О. С. Кокин.

Художественный редактор
Ю. А. Цишевский.

Технический редактор
С. И. Суровцева.

Телефоны:
Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел сатиры — 251-05-06
Отдел оформления — 251-73-83

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Союзпечати».

Сдано в набор 11.08.82 г.
Подп. к печ. 15.09.82 г.
А 08734.
Формат 84×108 1/16.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,60.
Тираж 3 150 000 экз.
Изд. № 2331.
Заказ № 2988.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, ГСП, Москва, А-137,
ул. «Правды», 24.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК



ВИКТОР ЛОМАКИН,
первый секретарь Приморского крайкома КПСС

Год назад,
в дни празднования юбилея
Александра Фадеева
в Приморье,
родилась дружба
нашего журнала
с дальневосточным краем,
его молодежью.
Начало этой дружбе
было положено
утверждением
шефства
над Домом-музеем
А. А. Фадеева.
Сегодня,
в канун шестидесятилетия
освобождения
Советского Приморья
от интервентов
и белогвардейцев,
«Юность» предоставила
многие свои страницы
нашим друзьям-
дальневосточникам.
Разговор о «далеком,
но нашенском крае»
начинает первый секретарь
Приморского крайкома партии,
член ЦК КПСС
Герой Социалистического Труда
Виктор Павлович ЛОМАКИН.

ДЕЛАМ ПРОСТОРНО!

Не приходилось пока встречаться и беседовать с человеком, у которого упоминание о Дальнем Востоке, Приморье тут же, с первой минуты разговора, не вызвало бы живого, неподдельного интереса. Глаза у собеседника загораются. Вопросы сыплются один за другим. «Как вам там живется-можется? Каковы успехи? Какие проблемы, нужды?..»

Вопросы, как правило, задаются со знанием дела, по существу. Понятно, сегодня проблемы дальнейшего освоения Сибири и Дальнего Востока в центре внимания всей страны... А бывает, что собеседник, в основном из юных, молодых, сосредоточивает свою любознательность вроде бы не на главном. В его памяти живы строчки из учебника географии, которые и мне в юности будоражили воображение. «Часты ли в ваших районах тайфуны?.. Как там приходится морякам и рыбакам?.. Не перевелись ли в уссурийской тайге тигры?.. А если к вам приехать, есть где развернуться?» Молодого человека привлекает романтика нашего далекого и сурового края. Это естественно.

Фото Л. Шимановича.

Что ж, романтики, в том числе и трудовой, у нас и сегодня хоть отбавляй. Край наш приморский. Земли его лежат там, где граничат великий материк и великий океан. Морская граница края тянется вдоль Тихоокеанского побережья на 1350 километров — чуть меньше, чем сухопутная. На трудных землях, обдуваемых муссонами, экзотические посевы риса соседствуют с полями пшеницы, ячменя, гречихи, овса, картофеля, сои. Растет виноград, и зреет клубника. В тайге рядом с привычными глазу елью, кленом и березой — бархатное дерево, даурская лиственница, маньчжурский орех, элеутерококк. Встречается «корень жизни» женьшень. Ну а в лесистых горах и отрогах Сихотэ-Алиня рудных богатств ничуть не меньше, чем на Урале.

И море.

Не побоюсь охладить романтический пыл молодежи, мечтающей поработать в Приморье,— места здесь всем хватит, делам просторно. Скажу: ежедневно у нас в море находятся с т о т ы с я ч ч е л о в е к. Это не считая тех, кто работает на судах, как говорится, «на приколе» — загружается и разгружается в портах, ремонтируется в доках... Сто тысяч человек — считайте, население города средней величины. Это моряки и рыбаки.

У нас в крае много отраслей экономики. Иная развитая капиталистическая страна может позавидовать нашему мощному индустриальному комплексу. Здесь горнорудная, угольная, приборо- и машиностроительная, химическая, лесная и деревообрабатывающая, швейная и кожевенно-обувная отрасли. Здесь транспорт: железнодорожный, морской, автомобильный, воздушный. Сегодня поезда из Москвы во Владивосток ходят на одну треть быстрее, чем десять — пятнадцать лет назад. А суда, приписанные к Владивостоку и Находке, можно встретить в портах и гаванях половины государств планеты. И все же главное, основное, чему в изрядной степени служат многие отрасли комплекса,— это рыбная промышленность.

Приморье дает пятую часть союзной добычи рыбы. Ежедневно мы отгружаем из Владивостока и Находки в среднем по шестьсот вагонов рыбной продукции. И если в пятилетке прошлой дальневосточники обещали дать миллиард банок рыбных консервов и выполнили обещание на год раньше срока, то в пятилетке нынешней в счет скорейшего осуществления Продовольственной программы собираются поставить на стол народный уже миллиард двести пятьдесят миллионов банок. Здесь со слабыми силами да отсталой техникой делать нечего...

Рыбацкий флот у нас огромный. В основном работают суда-фабрики. Прямо в районах промысла на этих судах улов полностью перерабатывается. Тут же налажен выпуск разнообразных рыбных изделий. Чтобы вы могли представить, как и чем наш флот оснащен, приведу такой пример. Этим летом на ВДНХ СССР была развернута Приморская экспозиция. Здесь среди сотен других экспонатов можно было увидеть модели рыболовных тралов, которыми работают сегодня наши рыбаки. Это сложнейшие инженерные сооружения. Крупногабаритные канатные тралы могут вместить в себя девятиэтажный дом. Кстати, здесь же демонстрировались приборы для поиска рыбы и наводки промыслового судна на косяк. Теперь мы перестали уповать на пресловутую рыбацкую удачу.

А коль уж заговорили о выставочных экспонатах, не могу не вспомнить такой факт. На одной из дореволюционных выставок наш край был весьма торжественно представлен примитивнейшей сельхозмашиной. Причем машина эта была собрана из деталей, изготовленных за границей. Такое для тех времен было явлением обычным. Судите сами: из Америки к нам ввозили кровельное железо, с Филиппин — уголь. Доходило до того, что питьевая вода для жителей Владивостока доставлялась из Японии!

Ну а уровень тогдашнего просвещения в крае метко характеризует справочник «Дальний Восток» за 1910 год: «Грамотность ничтожна до безобразия. Если оставить дело в таком положении, то всеобщей грамотности мы едва ли достигнем и через сотни лет».

Как известно, «дело в таком положении» оставлено не было, и сегодня мы ведем счет не просто всеобщей грамотности. Помимо двенадцати высших учебных заведений, у нас работают десять академических институтов Дальневосточного научного центра АН СССР. Исследование морей Тихоокеанского рудного пояса, участие в международном проекте «Охрана северных экосистем», работы по предсказанию землетрясений, цунами, извержений вулканов, по культивированию микроводорослей в северных водах — простое перечисление некоторых сегодняшних занятий и интересов наших ученых может распалить самое холодное воображение. Или возьмите работы Института биологии моря. У морских биологов естественная лаборатория — океан. Здесь они не только изучают и рассчитывают рациональное использование ресурсов океана, но и возможности искусственного разведения на подводных плантациях и фермах морской капусты, устриц, ценного пищевого моллюска—гребешка. Несколько таких ферм уже работают в бухтах края, давая многообещающие экспериментальные урожаи. Наука на самом острие общественных интересов, общественной нужды!

Теперь о тех, кто ловит рыбу, водит суда, добывает руду и уголь, заготавливает лес, выращивает рис, картофель и сою, ведет научные изыскания,— о людях края, в чьих руках дела и заботы дня сегодняшнего и успехи будущего.

Приезжие удивляются, совершив в выходной день прогулку по улицам Владивостока: «У вас в крае что, молодежь одна?.. Куда ни глянь, все молодые лица!»

Есть, конечно, у нас люди самых разных возрастных категорий. Но уличное впечатление не обманчиво: почти сорок процентов работающих в крае—молодые люди в возрасте до тридцати лет. Кроме того, по воскресеньям и другим дням увольнений и краткосрочных отпусков на улицах наших городов и поселков можно встретить много молодежи в военной и военно-морской форме. Приморье— край пограничный. О морской границе я уже говорил, а сухопутная тянется на полторы тысячи с лишним километров. Здесь нужен глаз да глаз, полная боевая готовность. И наши пограничники, воины сухопутных, авиационных и морских частей надежно охраняют наш край — далекий край Родины... Но если даже говорить только о численности работающей молодежи, здесь среди республик, краев и областей Российской Федерации за нами первое место.

Почему молодежь так стремится к нам, я уже говорил. Да и по себе отлично помню.

Окончил институт в Куйбышеве и буквально напросился на Дальний Восток, в Комсомольск-на-Амуре. Грезились заливы и бухты с диковинными названиями — Золотой Рог, Находка, Ольга. Всплывали в памяти имена Дежнева, Хабарова, Беринга и Невельского. Собираясь в дорогу, я то и дело напевал: «Штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни», ду-

мал о крае Лазо и Бонивура. Ну а как встретит нас легендарный Комсомольск?

На Дальний Восток мы отправлялись вчетвером, у всех было одинаково приподнятое настроение. В Комсомольске скоро остались вдвоем. Наши бывшие товарищи уехали домой или, как мы тогда говорили, «удрали». Мною судьба распорядилась так, что ехал я сюда на три года, а «застрял» на тридцать три. Теперь и родители мои здесь, и брат, и младшая сестра. Дальний Восток стал для нас родным домом. А почему он не стал домом для тех двоих, часто спрашивал я себя. Что их напугало — расставание с домом, близкими? Даль, край света? Нехватки, неосвоенность? Суровый, капризный климат? Наверное, все помаленьку. Романтический запал прошел, а взяться за дело, несмотря ни на что, силенок, гражданского мужества не хватило.

Не секрет, уезжают от нас и сегодня. Трудностей куда меньше, чем во времена моей молодости, но все-таки имеются. И вот типичная картина. Один человек чего-то недополучил, но не расхныкался, понял общественную нужду: «Ничего, мол, потерпим. Дело поправимое».

И трудом своим, своим старанием действительно исправил дело: построил новое жилье, выловил лишний центнер рыбы, заготовил сверхплановый кубометр леса... А другой рассудил по-иному: «Ах, недостает мне благ — до свидания!» Я бы назвал позицию этого последнего иждивенческой. Тогда как в первом случае человек поступил как настоящий гражданин.

Мы и не жалеем, когда от нас убегают. Я всегда говорю товарищам: «Не ставьте беглецам палки в колеса. Давайте им характеристики без всяких там зигзагов.

Это люди слабые, и их иждивенческие настроения нам не сослужат доброй службы». А у тех, кто так или иначе остается, закономерно возникает моральное превосходство перед спасовавшим, растет чувство гордости: «Ты скис, удрал, а я, несмотря ни на что, работаю, утверждаюсь как личность, как профессионал!»

Я уже первым секретарем Комсомольского горкома партии работал, когда случай у меня один памятный произошел. Вообще у меня хорошие отношения сложились с институтом, где учился. Едут, например, выпускники в Комсомольск, ректор им вместо напутствия: «Будет трудно, зайдите к Ломакину, он поможет». Как-то приходят трое. Один, самый бойкий, прямо с порога: «Что же это такое, нам сулили квартиру, полноценное жилье, а дали по комнатке на двоих!» Я спрашиваю: «В итээровском доме?» «Да». «Ну, а кто с женами приехал, получили по отдельной комнате?» «Все верно,— отвечают.— И все же нам должны выделить приличествующее жилье!» Тогда я им и говорю: «Нет, братцы мои, не с того вы начинаете трудовую жизнь в таком городе, как Комсомольск. Вы еще сами своих возможностей не знаете. Толики малой труда не вложили, а уже с завышенными потребностями. Знайте, не от щедрот вам такое жилье дается, а от нужды. Оглянитесь, посмотрите, как другим здесь живется. А ведь многие не первый десяток лет в Комсомольске».

Двое-то головы опустили, а третий ни в какую, не понимает резонов. «Хочешь уехать?»— спрашиваю. «Хочу,— отвечает,— да начальство не отпускает...» «Попросим, отпустит... А вы,— обращаюсь к двум другим,— за вас тоже похлопотать?» «Не надо, у нас здесь есть ДЕЛО...»

«Есть дело...» Это был хороший ответ. Да и эти двое были, в сущности, отличными парнями, и только из ложно понятого чувства товарищества, за компанию пришли ко мне с приятелем требовать исключительного.

Да их, как потом выяснилось, здесь хоромами нельзя было удержать, а вот дело удержало, связало с краем на десятки лет.

Ежегодно у нас тысячи человек остаются, «прикипают» к краю. И прежде всего потому, что делам, как я уже говорил, у нас просторно. Освоение продолжается.

Возьмите тот же океан. Здесь обитает четыре пятых всех живых организмов нашей планеты, это свыше ста шестидесяти тысяч видов! Не открытое ли это поле, не простор ли для разнообразной деятельности молодых ученых? И так почти в любой отрасли.

Каждый новый день ставит массу новых задач, которые нужно решать немедля, не дожидаясь, пока из центра приедет специалист или прибудут приборы, материалы, механизмы. Думай, изобретай, рационализируй. Буди мысль, иди неторенными тропами, осваивай смежные отрасли знаний или специальности. Что может быть увлекательней для человека молодого, растущего?

Недавно мне рассказали такой случай. На одном из заводов в силу изменения конструкции срочно понадобилась труба. Ее, конечно, подвезли бы. Но не сегодня, не завтра. Ждать некогда. Тогда молодому инженеру было дано задание изготовить такую трубу из металлического листа. Он днюет и ночует в цехе, проектирует трубу, на специальном приспособлении сгибает лист и сваривает требуемое изделие. Предложи такому человеку тихую, безоблачную жизнь — он тебя не поймет, а глядишь, и на смех поднимет.

Но и другое привлекательно. Люди у нас быстро растут. Растут, как говорят социологи, и по горизонтали и по вертикали.

Дмитрий Николаевич Гагаров сегодня второй секретарь крайкома партии. А двенадцать лет назад работал инженером в городских теплосетях. За эти годы он был и заместителем председателя Владивостокского горисполкома, и секретарем райкома партии, и председателем горисполкома, и первым секретарем Владивостокского горкома КПСС. А ведь Дмитрию Николаевичу всего сорок с небольшим, и об этом прекрасно осведомлена молодежь края, думающая о своей перспективе.

Молодые люди знают, что мы засиживаться никому не даем: без движения человек и закиснуть может. И хотя мы не поощряем быстротечных, скоропалительных выдвижений, в то же время следим, чтобы в разных звеньях не нарушалось равновесие между начинающими и опытными.

Мы часто делаем и так. Проработал, скажем, человек пять лет в одном районе руководителем, а его коллега семь лет в другом. Мы меняем их местами. И у людей на новом месте появляется новый интерес. Перед ними новые задачи и проблемы. Работай, вноси свое, используй накопленный опыт!

Этот дальневосточный опыт еще не раз пригодится, сослужит добрую службу.

Кто бы из наших земляков ни уезжал на Большую землю — по вызову ли, по нашему направлению,— никогда не бывало, чтобы человек нас подвел. Более того. Обычно человека с периферии берут на работу где-нибудь в центральных областях с некоторой оглядкой. Мало ли! Вот и получается, что работал он у нас начальником цеха, а ему дают старшего мастера. Для начала. И знаете, не было случая, чтобы через полгода-годик наш воспитанник, приморец, не начал бы энергично перешагивать должностные ступени. У него закваска хорошая сказывается. Он привык работать в сложных условиях, в ситуациях,

часто непредсказуемых. Он не дожидается, пока кто-то за него подумает да решит. Действует находчиво, смело, изобретательно. Он, как правило, отличный организатор. Во всяком случае, мы стараемся привить ему это качество. Как, впрочем, и самостоятельность и умение рисковать, быстро, без проволочек принимать оптимальное решение.

В памяти первые дни в Комсомольске после окончания института. Учился вроде бы я хорошо, знал немало. И вот самостоятельный рабочий день на заводе. Дают наряд на работу, тут же технологическая карта. А у меня голова кругом идет: клеточек-то там сколько! А вопросов сколько надо решить! Никогда прежде не заполнял я такую карту. «Ну все,— думаю,— конец моей инженерной карьере...» Один-два дня помыкался. Неделя прошла. Ничего, пообвык, вошел в курс дела. Понимаете, некоторые неувязки между преподаванием в вузах и требованием производства преодолимы. А вот если в тебе не заложены организаторские способности, если во время учебы ты все силы употреблял на наращивание знаний, а общественную работу считал делом второстепенным, тебе в жизни придется туго.

У нас двести сорок тысяч комсомольцев в крае. У нас огромный выборный актив, и воспитание организатора, закоперщика, человека деятельного идет во всех общественных формированиях. Но куда было бы легче и нам и человеку, если бы организаторские навыки он получил еще на школьной или студенческой скамье. Знаю это по себе. В институте на протяжении нескольких лет был и старостой группы и комсоргом. Поэтому на производстве, когда пришлось строить отношения с людьми, организовывать соревнование, обучать техническим тонкостям да и просто разрешать какие-то конфликты, мне было значительно проще, чем моим молодым коллегам, которые прекрасно знали свое дело, и только.

Да, да, хорошее знание специальности чаще всего мало что значит при отсутствии организаторских навыков. Мы сегодня не зря разъясняем, говорим, что руководитель отдела, цеха, конструкторского бюро должен быть не только руководителем хозяйственным, техническим, но и политическим. А что такое политический руководитель? Это прежде всего организатор. Это бывший комсорг, профорг, бывший секретарь партбюро.

У нас в крае сложилось святое правило. Любой крупный хозяйственник — директор завода, флотилии, объединения — должен пройти хорошую школу общественной работы. Как в Комсомольске. На моей памяти не было здесь ни одного директора, который бы не поработал на своем заводе секретарем парткома.

Такой руководитель не скажет в ответ на законную человеческую просьбу: «У меня план, а вы тут с бытовыми мелочами лезете!» Не оставит без внимания нужды своих подчиненных. Позаботится, чтобы современное жилье было у каждого, и детский садик под боком и спортзал или стадион. Будет внимателен и к человеческому росту, требуя от своих подчиненных и повышения квалификации и соответствующего образовательного и культурного уровня. Наконец, у такого никогда не будет недостатка в рабочих руках. Людская молва о руководителях подобного склада распространяется моментально.

И другое. Для себя считал всегда самым великим благом, если мой руководитель, старший товарищ давал мне возможность самостоятельно решать вопросы. Мне повезло, я работал с такими. И до сих пор придерживаюсь этого правила, особенно в отношении молодых. Внимательно следить за их работой, конечно, необходимо. Как необходимо знать, какие они принимают решения. И подчиненный мне работник должен докладывать о ходе дела. Должен советоваться по крупным и сложным вопросам. Знать, какие дела ему под силу, а с какими он может справиться, обсудив подробности в коллективе. Причем не боясь, что его заподозрят в некомпетентности. Человек растет и, действуя самостоятельно, не должен пренебрегать опытом, стесняться, что он чего-то недопонял или не знает. Линию, которую мы проводим по отношению к молодым руководителям, можно было бы сформулировать так: никакой мелочной опеки, больший простор инициативе, взыскательность за просчеты, твердое понимание, что человек «в рамках» не всегда ценный, полезный работник.

Действительно, когда он «в рамках», он не может смело, инициативно ставить вопросы. Он всегда будет ждать директивы, указания — так удобней, так ответственности меньше. Он никогда не будет рисковать. А я как рассуждаю? Если человек пошел во имя общественного блага на риск, хотел сделать как лучше, а получилось хуже, более того, произошла ошибка, не судите его строго. Наказывайте, но не надо карать.

Был у нас замечательный парень, молодой человек, директор совхоза. Если бы он не рисковал, он был бы всегда «на высоте», не попадал бы, с обывательской точки зрения, впросак. Однако это был человек других правил. Как-то он задумал создать у себя высокомеханизированную ферму. На беду, для постройки под рукой не было другого материала, кроме деревянного щитосборного, и здание фермы было выстроено из деревянных щитов. Эксплуатация таких зданий с точки зрения противопожарной очень строгая. Наш директор хоть и втиснул в помещение новой фермы и доильные установки, и кормозапарники, и котлы, однако правил не нарушал. Как-то с его, конечно, ведома поставили на ферме новый котел, а подключение к подогреву не усчлили проводами большего сечения. Ночью случилось замыкание, ферма сгорела. Погибли животные, много материальных ценностей пропало. «Судить надо директора,— таково мнение юристов.— Недосмотрел, недопроверил и вообще на риск пошел, из деревянных щитов соорудил ферму! Отвечай теперь по всей строгости закона...» А мы говорим спокойно: «Постойте, не рубите сплеча. Давайте во всем разберемся!» И разобрались. Государственную выгоду человек преследовал. Многого, кстати сказать, в своем хозяйстве добился. К нему за опытом люди приезжали. А рисковал разумно: не было прежде у пожарников к нему претензий. А вот за недогляд ответь! Объявили ему взыскание, несколько окладов заплатил человек. Через год мы его выдвинули на работу в краевое объединение. Прекрасно работает. А если бы, не разобравшись, мы его осудили, то не только бы навсегда отбили у него охоту к риску, к социалистической предприимчивости. Его друзья, коллеги, наши молодые работники наверняка решили бы так: «Не лезь поперед батьки, делай все в «рамках» и жить спокойно будешь!»

Нам было бы много сложней организовать дело как следует, если бы молодые, энергичные силы края не сплачивались, не цементировались многолетним хозяйственным, партийным, человеческим опытом наших ветеранов труда, которые в крае выросли. Здесь юность их прошла, здесь они мужали. Этих людей объединяют общие черты. Они всегда там, где трудно, туго. Как бы ни сложились обстоя-

тельства, они всегда идут к людям. Они, как бы это сказать, не боятся людей. Не боятся строго спросить, поговорить напрямик. Но и посоветоваться, коллективно что-то обсудить, выверить точку зрения на народе — этого они отнюдь не чуждаются. Они всегда в курсе людских проблем, нужд. Они пользуются огромным авторитетом. Это наш золотой фонд. Настоящие коммунисты. И вот что очень важно: молодые люди работают с ними с огромным удовольствием. Многое получают и как специалисты и как организаторы. Наследуют приемы, методы, стиль руководства.

Совсем недавно я встречался с директором Уссурийского деревообделочного комбината, старым моим знакомым Моисеем Ивановичем Будником. Он сорок лет здесь директорствует, и не было месяца за эти сорок лет, чтобы комбинат не выполнил плана. Он знает у себя на комбинате всех. А коллектив немалый, многотысячный. Иных с младенческого возраста помнит, с их папами и мамами еще работал. А сейчас уже и дети на комбинате заправляют под руководством Моисея Ивановича. Он преотличный человек—одаренный, умный, прозорливый. У него, например, нет текучести на комбинате. И прежде всего потому, что там хороший моральный климат. Будник строг, но и добр. Взыскателен, но и внимателен. Он для людей делает все. У него и теплицы, и оранжерея, и коровник, и свинарник в хозяйстве. Юбилей или свадьба — у виновников торжества всегда букет свежих цветов на столе. И свежие огурцы и помидоры тут же. Я ему при последней нашей встрече говорю: «Моисей Иванович, труд на комбинате нелегкий. Почему с других комбинатов уходят, а у вас нет?» А он вроде бы отшучивается: «Народ у нас дружный. А чтобы был еще дружней, я им чаще положенного конференции и совещания устраиваю». И уже серьезно: «Лишний раз «спасибо» сказать не поскуплюсь. Где работа потрудней, туда и премию побольше выделяем». И тут же рассказывает, что решил для молодежи организовать конно-спортивную школу. Лошадей купили, достали пролетки. А я про себя усмехаюсь: «Ну, теперь опять пойдет разговор о чудачествах Будника...» Это уже случалось неоднократно. Не так давно открылась в городе новая больница с современным оборудованием. Старую деревянную решили на слом. Будник, про то узнав, к городским властям: «Отдайте мне помещение, использую с толком!» Те подумали-подумали и отдали. А он решил это здание восстановить — благо комбинат деревообделочный! — и устроить музыкально-танцевальную школу для молодежи. Иным это чудачеством кажется. Мол, лучше бы сверхплановые «кубы» гнал.

А ведь именно в этом заключается высшее назначение руководителя, коммуниста — делать все для блага человека.

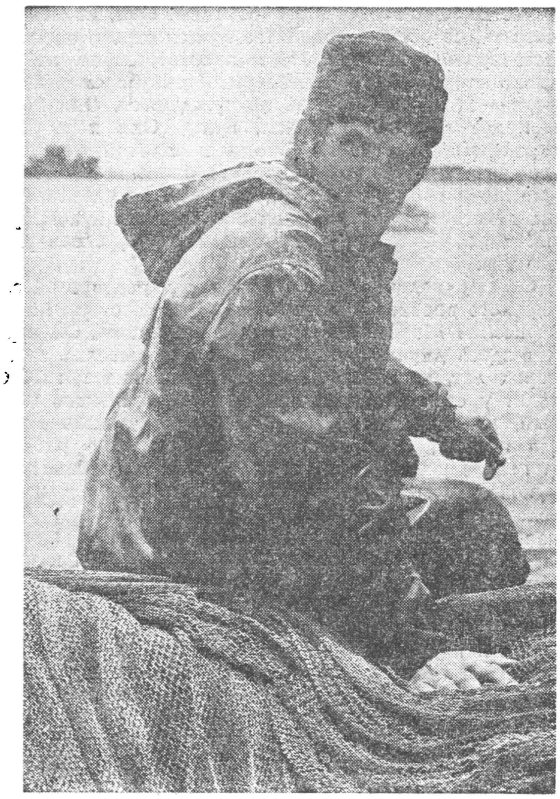
И еще одного руководителя хочу вспомнить — Николая Ивановича Сазыкина. Он был директором завода в Арсеньеве. Его в городе каждый школьник любил и знал. Он жил не только интересами завода — интересами города, края. Задумали мы птицефабрику построить. Нужны металлические клетки. К нему: «Николай Иванович, выручай!» И вот на заводе, у которого свои заботы, своя сложнейшая программа, оборудовали специальную высокопроизводительную линию, чтобы качественно и в срок выполнить наш заказ. Или другое. Задумано, скажем, построить заводской Дворец культуры. Сазыкин внимательно рассматривает проект, интересуется местоположением. «Давайте вынесем дворец за заводскую территорию, чтобы и горожанин мог им пользоваться». На очереди бассейн, спортзал — и опять: «Стройте за территорией завода, все школьники города должны спортом заниматься!» Умер Николай Иванович, и теперь завод в Арсеньеве носит его имя.

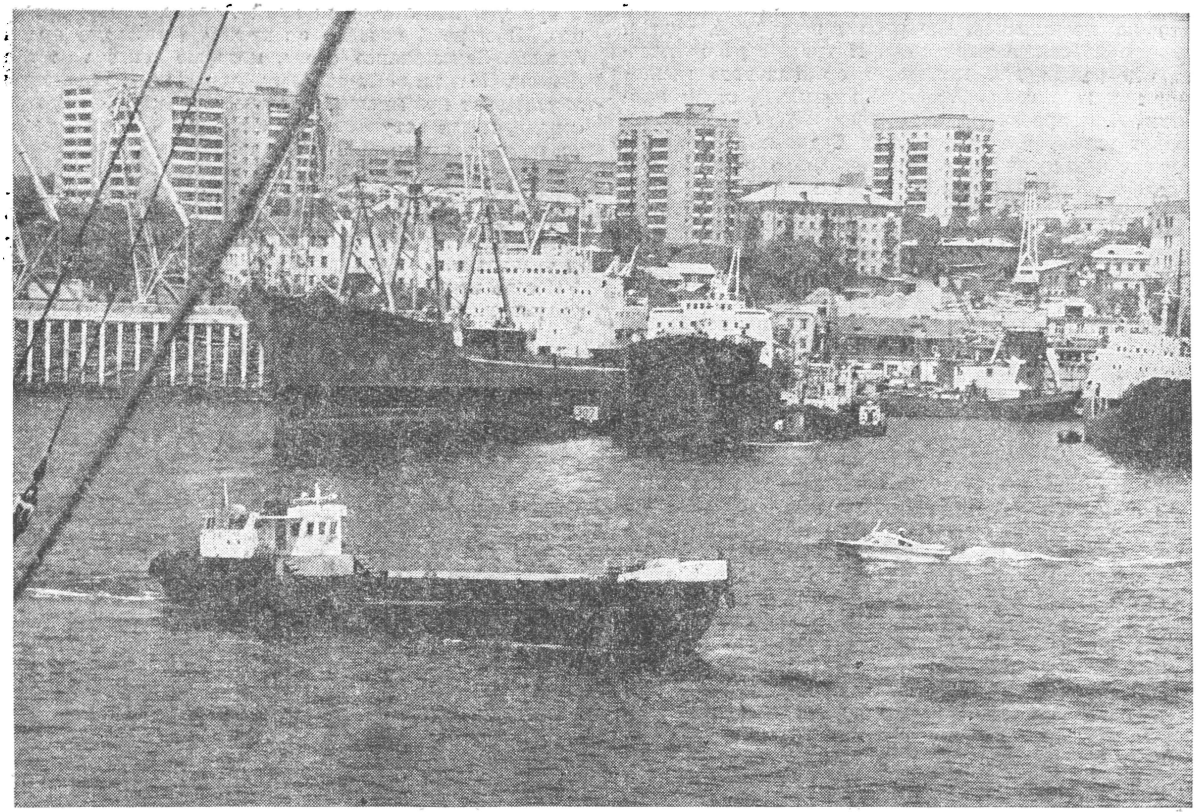
Лестно подумать, что этот разговор поможет обратить в «дальневосточную веру» хотя бы сотню молодых. Не скрою, нам люди нужны. Особо необходимо, чтобы более устойчивые кадры были в рыбной нашей отрасли, в сельском хозяйстве и строительстве. Если где-то можно нехватку пережить, где-то обойтись малым, то эти три отрасли почти всегда на «пайке» — требуются и рабочие, и техники, и инженеры... Однако не только ради этого затеян разговор. Есть тут еще одна небольшая, но существенная подробность. Говоря о сложном механизме привлечения людей в наш край, о дальневосточной закваске, о принципах, которые исповедуют наши руководители, о качественном росте людей и о том, как молодые здесь, в крае, воспитываются, я хотел еще раз подчеркнуть, что мы, помимо всего прочего, готовим здесь человека к масштабной работе. Мы принимаем за год в партию около трех тысяч человек, а краевая партийная организация растет за тот же период только на полторы тысячи. В чем тут дело? Да просто полторы уезжают, и их мы провожаем с почестями. Этих людей мы вырастили, выучили, воспитали. Теперь их выдвигают, приглашают на работу и в центр и в другие районы. Замечательно! Мы здесь безо всякой ревности относимся к таким перемещениям. Если человек может сделать больше, нельзя его ограничивать, сдерживать. Мы кровно заинтересованы, чтобы наш воспитанник рос и рос.

Трижды посещал наш край Леонид Ильич Брежнев. В первой поездке он вручал Приморью орден Ленина. Запомнились слова, которые сказал тогда Леонид Ильич: «По-особому дорог всем советским людям этот край нашей Родины. С волнением бьется сердце, когда вступаешь на его землю. Это не только потому, что ваш край удивительный, неповторимо красив, что захватывающе широки его просторы и на редкость разнообразна природа. Советское Приморье—земля героической истории, где каждая пядь прославляет мужество, смелость, патриотизм русского человека».

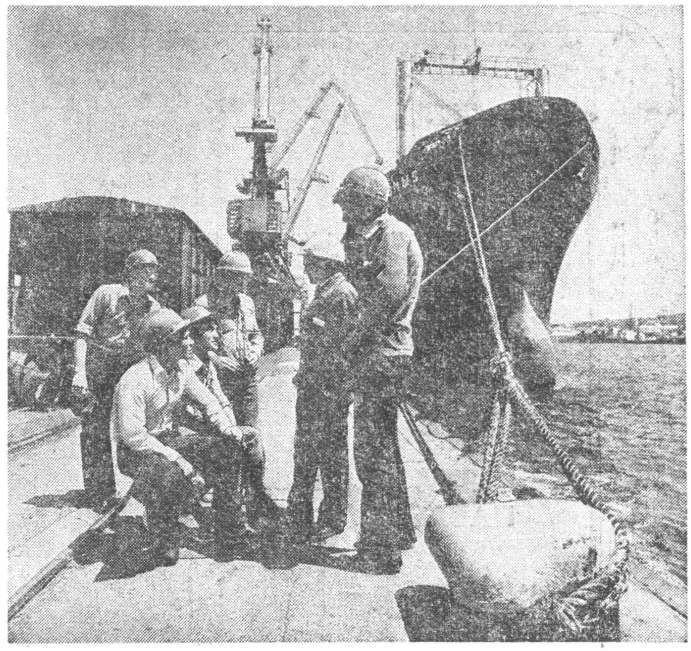
Своим повседневным трудом приморцы стараются приумножить славу края.











На снимках: стр. 8 слева — утро в порту. Справа — тралмастер рыболовецкого колхоза им. Чапаева коммунист Юрий Подберезко по итогам социалистического соревнования награжден знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Внизу — Владивосток.

На стр. 9 вверху справа — докеры Владивостокского торгового порта, члены комсомольско-молодежной бригады им. XIX съезда ВЛКСМ. Слева — 1-й помощник капитана плавбазы «Берег Надежды», делегат XIX съезда ВЛКСМ Валерий Яковлев. Внизу — Институт биологии моря. Гидробиолог Виталий Тарасов и старший водолаз научной станции «Восток» Александр Драгун готовятся к погружению.

Фото Л. Шимановича.







Юрий ПАВЛЕНКО, инженер, наладчик пуско-наладочного управления во Владивостоке.



Вячеслав ПРОТАСОВ, электрик Владивостокского торгового порта. Лауреат премии Приморского комсомола.



Елена ОБОЙМИНА. Работает младшим редактором Дальиздата.



Александр КУЛИКОВ. После службы в армии работает слесарем на одном из владивостокских заводов.

ЮРИЙ ПАВЛЕНКО

Отец

Я у отца подручным рос...
Косил отец вразмах, вразброс.
Все было главное в отце:
и капли пота на лице,
и горсть конфет в его руке,
и орден, что на пиджаке,
который батя не носил,
когда рубил, пахал, косил.
Отец работал за троих
друзей оставленных своих
на поле боя под Орлом...
Бывало, вспомнит за столом,
нальет в стакан, нальет в другой
и в обороне круговой
друзей оставленных своих
помянет сразу всех троих.
Чего не делал мой отец!
Он был во всяком деле спец.
Но больше прочего всего
мне по душе коса его.
Бывало, ею так взмахнет,
что луг косою прошибет;
а иногда казалось мне,
что он косой грозит войне.
Он вел косу вразмах, вразброс,
а я при нем подручным рос.
Сияло солнце в вышине,
стояли сосны в стороне,
и пахла потом и свинцом
земля, обжитая отцом.

Дойка

Жил в селе я захудалом,
затерявшемся в хлебах.
Молоко не высыхало
на обветренных губах.
И порою летней, жаркой
я не лез на сеновал,
а за теткою, дояркой,
я на ферме поспевал.
С пастухами жил да ладил,
и доил я — будь здоров!—
вызывая в нашем стаде
одобрение коров.
За работу взявшись с жаром,
принят был наверняка
ими я не за дояра,
а скорее за телка...
До ушей облизан ими,
я и плачу, и дою,
и, вымучивая вымя,
над подойником стою,
и держу в своей горсти я
теплоту земли парной...
И крестьянская Россия
за моей стоит спиной.

☆☆☆

Надо, надо торопиться
к солнцу, свету и добру...
Вот уже дают мне тридцать.
Отказаться! Нет, беру!
Век мой кончится не скоро,
день мой светел, как свеча...
Я и сорок, как пригорок,
одолею сгоряча.
Я в ладу со стариками,
не считая лет, живу.
Я и сотню лет с руками,
если надо, оторву!

ВЯЧЕСЛАВ ПРОТАСОВ

Лучший день

Верю в шумный и веселый
день, намеченный едва,
в сумасшедшие глаголы,
петушиные слова!
Верю правде умной сказки,
розам верю и шипам,
верю в мир, где без опаски
мчится вольный конь тарпан,
где лисенок мордой острой
ворошит лесную прель,
где живут с надеждой сестры —
флейта, дудочка, свирель...



Николай ГУРСКИЙ, капитан 3-го ранга.



Елена МУКОВОЗОВА, юрисконсульт краевого управления хлебопекарной промышленности.



Евгений МЕЛЬКОВ. Артист Приморской филармонии, конферансье.



Владимир ТЫЦКИХ, капитан 3-го ранга.



Виталий ТУФАНОВ, майор, военкый журналист.

Золотой тяжелой нотой
ранний шмель в саду горит.
День высокого полета
режет ленточку зари.
Бьет волна в рассветный берег
океанской стороны...
Верю в день мой лучший, верю
в лучший день моей страны!

ЕЛЕНА ОБОЙМИНА

Причастность

Нелегкая эта причастность
возникла не сразу, не вдруг,
и сердце готово — на части,
на части — от горя и мук.

Как будто огнем облучили
нас общим... В нас — горечь утрат.
Герои, распятые в Чили,
со снимков к нам в душу глядят.

За морем, за дальней горою
опять полыхает гроза.
Замученных в Чили героев
огромные светят глаза.

Планета такая большая...
Покоя нет мертвым во мгле.
Не зря их глаза вопрошают:
что сделала я на земле!

☆☆☆

Вот солнце скроется из вида,
округло скатится туда,
где в очертаньях Диомида —
знакомый берег и вода...
И так волнующе и просто,
как было много тысяч дней,
восходят над Приморьем звезды —
над светлой родиной моей.
...А в ожидании заката
сейчас подумается мне:
я здесь жила давно когда-то
белесой чайкой на волне...

АЛЕКСАНДР КУЛИКОВ

Камень

Когда Спиноза шлифовал
рукой задумчивые линзы
и пот со лба он вытирал,
то вот как думал он о жизни:

Живи, работай, не ленись,
мир постигается руками.
За каждой истиной нагнись —
лежащий с виду легок камень.

Живи, работай, уставай
так, чтоб в кровать просилось тело.
Не предавай, не предавай
искусство думать так, чтоб делать!

☆☆☆

Мы в этом лифте целовались.
Благословен восьмой этаж!
И перед дверью целовались.
Шуршал бумажно плащ о плащ.

Потом за дверью целовались.
Благословен покой сестры!
Потом на кухне целовались,
с водой холодной кран открыв.

И мы из крана пили воду,
к металлу губы поднося.
Казалась нам запретным плодом
вода, змеившаяся вся.

А мы забыли, что пора,
давно пора уже проститься...
Настало утро. Эх, сестра,
сестра, сестреночка, сестрица...



НИКОЛАЙ ГУРСКИЙ

Память

Шла беда колхозным полем
В тот военный, страшный год.
Много раз стояло горе
Возле нашенских ворот:
Фронтовые сообщенья
О боях и о раненьях.
Бились волны о причалы,
Обезумев, мать кричала.
Но, поплакав дома вволю,
Отложив свои дела,
Шла работать снова в поле,
Чтоб Россия жить могла.

ЕЛЕНА МУКОВОЗОВА

☆☆☆

Поднялся занавес, и вот
На клубной сцене затемненной
Пошел в атаку третий взвод —
Живая горстка батальона.

Спектакль давали о войне,
И было тихо в душном зале.
Закатный луч горел в окне,
Украдкой женщины вздыхали.

Разрывы дыбились вдали,
Все реже били автоматы.
На плащ-палатке принесли
Бойцы убитого комбата.

Сидели в зале старики,
Все три войны припомнив снова,
Старухи—темные платки
И парни года призывного.

Сидел помолодевший вдруг,
Как будто снова в сорок пятом,
Из местной школы военрук,
Войну закончивший комбатом.

ЕВГЕНИЙ МЕЛЬКОВ

Я не участвовал в войне

В помине не было меня
В сорок втором. Но было это:
Отец мой в том году три дня
Был дома после лазарета.

Родился я назло войне
В том переломном сорок третьем —
Резерв воюющей стране
И вызов злому лихолетью.

Ну что мог знать я о войне
В сорок четвертом легендарном!
На фронт шли письма обо мне:
«Наш сын растет геройским парнем».

...Дни бурных встреч фронтовиков!
Слепят и слезы и медали.
Хмелея, лейтенант Мельков
Твердит: «Мы с сыном воевали!»

ВЛАДИМИР ТЫЦКИХ

Рабочий китель

Он самый крепкий долгожитель
в походном шкафчике моем —
обыкновенный флотский китель,
потертый кожаным ремнем.

В нем дух отсеков многоспальных,
он весь соляркою пропах
и дымом кухонь коммунальных
в глухих военных городках.

Ни якорей, ни канители,
ни боевых на нем наград,
но моряку он ближе к телу
тужурок, шитых на парад.

Он вылинял под хмурым небом
до цвета пепельной волны
и постарел в боях учебных,
чтоб в мире не было войны.

ВИТАЛИЙ ТУФАНОВ

На родине Фадеева

Здесь все принимаешь, как истину,
Здесь трудно волненье унять.
Вот тропка, укрытая листьями,
Болото в распадке и гать.

И всюду, у каждого дерева,
Горят отпечатки следов
Бессмертных героев Фадеева
Лихих партизанских годов.

Под кедрами сказочно стелется
Веселое царство теней.
Все кажется, будто Метелица,
Пригнувшись, летит на коне.

Все явственней слышно дыхание
И топот железных копыт.
Разведчик летит на задание,
Как будто в бессмертье летит.



АНАТОЛИЙ ЛЕБЕДЕВ

Родился и живет во Владивостоке. Работал корабельным инженером. Сейчас — старший редактор студии «Дальтелефильм».

В 1981 году вышла его книга прозы в Дальиздате.

ПОДЪЕМНАЯ СИЛА

ПОВЕСТЬ

Глава I

Они выгрузили из багажного вагона велосипеды, тележку-прицеп, и станционный служитель махнул тепловозу желтым флажком. Поезд ушел, а на маленьком разъезде осталась тишина, нарушаемая лишь цикадными трелями.

— Чего это у вас? — спросил станционный служитель, отмахиваясь от скачущей вокруг него добродушной рыжей собаки.

— Дельтаплан,— сказал Иван Травкин и, заметив слишком уважительный взгляд, какой обычно говорит о полном непонимании, а стало быть, и недоверии, на всякий случай добавил: — Летать будем.

— А-а,— протянул служитель и ушел к своему домику, подозрительно оглядываясь и прикрывая это чрезмерным вниманием к отставшей собаке.

— Кто первый потянет? — спросил Иван.

— Ты, как всегда,— с готовностью отозвался Дон Педро.— До первой развилки, а там я впрягусь.

Травкин приладил прицеп с аппаратом к своему велосипеду и, дав разгон, с привычной легкостью устроился в седле.

На подъемах второй велосипед упирался в аппарат рулевой колонкой, помогая напарнику-тягачу. Дон Педро, обладатель очень сильных ног, названный поэтому в туристском клубе Кузнечиком, помогал так, что Ивану почти не приходилось крутить педали. Выпихивал все три транспортные единицы на любой перевал собственной тягой, только педали скрипели от перегрузки. А перевалов на их излюбленном маршруте было предостаточно. Дорога, едва отольнув от разъезда, пускалась во все тяжкие, будто собиралась навек запутать следы двух перезрелых икаров на этой земле. Чтоб не нашла ни многодетная жена Травкина, ни начальники отделов и служб, у кото-



Рисунки Ю. Родина.

рых для выполнения плана всегда не хватает двух человек или двух дней, Ни, наконец, станционный служитель, явно заподозривший горожан в нехорошем.

Дорога ныряла в логи и взбиралась на кручи, открывая взору то рано желтеющие болотистые луговины, то зелень озимых, то крутые голые склоны сопок в редких пятнах корявого дубняка, чуть тронутого жесткой рыжиной. Потом замелькало море, и скоро среди скалистых мысов открылась бухта в ожерелье песчаных пляжей.

Отсюда прицеп буксировал обычно Дон Педро: по берегу, по камням, а в прилив и прямо по воде, к заветному распадку, который плавно сбегал к морю от довольно крутых высоток. Одна из них, господствующая, была в самый раз не только по количеству метров над уровнем моря, но еще и потому, что имелись на ней очень удобный уступчик для толчка и площадка для разбега. Площадка, конечно, могла быть и побольше и поровнее, чтобы взлетать без подмоги при любой подвеске. Но тогда, полагал Травкин, было бы слишком уж хорошо, а это ни к чему.

Зато у этого места было другое, более ценное качество, оно и определило выбор: родничок у моря, и рядом удобная площадка для посадки, и закрытый от ветров желобок, где можно поставить палатку. Дров разного калибра — от целых деревьев до мелких ящичных досок и коряг — море набрасывало тут вдоволь; топи, не переставая, хоть месяц, всего не спалишь. Кое-что, конечно, выбирали за лето неведомые конкуренты, сместившие своим шумным появлением однажды и навсегда отпуска Ивана и Дона Педро с августа на сентябрь. Но эти выбирают обычно мелочь, высоленную и высушенную до легкости и быстро сгорающую. Главный же материал всегда остается до осени.

Собирать аппарат не спешили. Тут был свой ритуал, освященный опытом и привычками не одного года.

Сначала длинными ножами накосили сухой травы на подстилку. В молчании, накапливая в себе благостную тишину, собрали палаточный каркас, туго, до звона, натянули тонкое серебристое полотнище, потом над ним тент.

Управившись с этим первым делом, каждый принялся за свое, тоже давно определенное. Дон Педро, более сноровистый и крепкий, таскал лесины на костер. Мелочь он не брал, это казалось ему унизительным, признавал только целые бревна и доски, которые вечерами аккуратно распиливали и рубили на чурки. Иван тем временем обходил посадочную площадку. Тут могли появиться за лето и новые камни, и ямы, и бутылки, целые и битые, и острые щепки. При посадке любая мелочь может оказаться роковой, потому площадку следовало вычистить планомерно и тщательно.

В итоге этой долгой и не самой увлекательной работы возле палатки образовались две кучи. Одна побольше — дровяная; другая — груда всяческого хлама. При одном взгляде на нее можно было в деталях восстановить картину отдыха у моря, ради которого забирались сюда летом конкуренты. Пустые бутылки, раздавленный футбольный мяч, несколько рваных непарных кед, обломок топорища, гитарный гриф с двумя струнами, запечатанная литровая банка с вишневым конфитюром, несколько десятков устричных и мидиевых ракушек и письмо следующего содержания:

«Люся! Во-первых, никто тебя не заставлял. Я тебе сколько говорил: никогда не жалей о том, что сделано. Надо уметь радоваться тому, что получаешь от жизни. И тому, что теряешь,— тоже. И почему об этом должны знать все? Никого наши с тобой дела не касаются. Ты, наверно, мало закусывала, вот и разболталась выше меры. Я же говорил, ешь мидию, она вкусная и полезная. В общем, так: если вдруг...»

Дальше листок был оборван, на обороте — чисто.

— Племяш Борька, гад, магнитофон просит,— сказал Дон Педро, ознакомившись с добычей.

— Он у тебя в шестом?

— В пятом.

— Ну, хоть не требует. Зимой надо тащить парня на гору. Лыжи пристегнет, слетит пару раз по детской трассе — человеком станет.

— Я уже думал. Поздно, я считаю.

— Мы с тобой в тридцать с лишком начинали — не поздно?

— Это другое дело. Это мы!.. Ладно, не бери в голову. Не куплю я ему магнитофон, и точка.

— Ерунда, не то! — заволновался Иван.— Надо, чтобы сам расхотел. Чтобы вообще отвык просто получать ценные вещи и научился делать и отдавать. Вот с таких вот лет и учить.

Среди свертков с одеждой и продуктами Иван отыскал брезентовый чехол с разборной двуручной пилой собственной конструкции. Это была его гордость, на которую, он ждал, вот-вот должно прийти авторское свидетельство. Главный секрет состоял в том, что замок, соединяющий две половинки пилы, был не толще стандартного полотна и держал при этом не менее жестко, чем цельное полотно.

К сборке аппарата приступили только после того, как напилили дров, попили чаю и разложили по местам запасы, снаряжение и аптечку. Аптечка была не простая, составлена после долгих споров и обсуждений, зато теперь любой из них двоих смог бы сделать укол или даже простенькую операцию: например, зашить рваную рану или наложить шину на открытый перелом.

Море волнами надвигало на склон теплый и чистый йодовый воздух, и солнце, помалу склоняясь к выходу из бухты, наблюдало, как возле серебристой палатки работой двух существ рождалось третье — размашистое, перепончатое и прозрачное. Оно нетерпеливо помахивало стремительным и жестким голубым крылом, все устремленное вверх, к небу.

Дон Педро с недоверием смотрел, как Травкин затягивает сложные хомуты центрального узла. Это было главное новшество Ивана, благодаря которому он скинул с аппарата три с лишним килограмма веса и страшно этим гордился.

В принципе Дона Педро облегчение устраивало. Он давно мечтал поехать с аппаратом в горы и полетать над вечными снегами, а тогда надо сбросить вес дельтаплана до двенадцати килограммов. Однако это еще не означало, что новым расчетам Ивана следует доверять безоговорочно. По крайней мере своей интуиции Дон Педро доверял не меньше. И теперь, профессионально оглядывая конструкцию, цеплялся ко всему, что примечал глаз, и тут же предлагал свое.

— Попробуем, Дон Педро,— добродушно соглашался Иван, зная, что согласие это аппарату ничем не грозит. Во всяком случае, до возвращения в город.— Какие наши годы. Только ты не спеши с виражами, пробуйся помалу, приноровись.

— Может, я пока поставлю блок? — сказал Дон Педро. Он не любил назиданий.

На ровной площадке они прикрепили вьюшку к

земле, Дон Педро прихватил конец троса, блок со штырем и отправился вверх по склону.

Путь был ему известен и выхожен не однажды, и все же временами Дон Педро едва находил тропу среди выросшей за лето полыни. Главной задачей было сохранить тропу прямолинейной, чтобы тележка в крайнем случае могла пройти весь путь к вершине без сопровождения.

На круглой маковке сопки Дон Педро постоял минутку, оглядывая большой полуостров. Здесь всегда хотелось дышать глубоко, очищаясь от многослойных напряжений городской жизни. Он был убежден, что в этом-то и состоит первый смысл походов, пеших и байдарочных, и полетов тоже — привести разум и тело в некий естественный ритм, плавный и долговечный, при котором человек обретает истинный, высокий взгляд на поступки, свои и чужие. Все, что случилось к этой минуте, что тревожило, злило или радовало сверх меры, располагается при таком взгляде по своим местам. Отсюда, с вершины, пестрый мир страстей и деяний ощущался, как широкий и мощный восходящий поток, придающий душе и телу подъемную силу. Потому что и замысел аппарата, и его узлы, и сама страсть к полету рождается там, в сутолоке диспетчерских и магазинов, в грохоте цехов и ленивом уюте квартир, в гонке квартальных планов, незавершенных строек и неубранных овощей, до которых заводскому человеку тоже всегда есть дело. Лишь вся жизнь и способна вознести его сюда, на перекрестье ветров, откуда видны далекие острова, причудливо изрисованное рябью море, сосны над обрывами, изогнутые, как застывший страх, и легкая голубизна крыла внизу. у подножия.

Это крыло вознесет тебя над миром своей подъемной силой. Той, что ты высчитал сам.

Дон Педро взял большой морской голыш, поднятый сюда еще два года назад, и вогнал колышек с блоком в кусочек почвы среди камней. Потом приладил тросовую оттяжку для надежности.

На этом его дело здесь кончалось. Можно было, конечно, подождать, пока Иван закончит сборку и сам принесет аппарат. Чтобы зря не бегать. Все-таки высота почти триста метров. Но у туристского клуба, которому они были преданы, главное правило гласило: «Работа в походе не кончается никогда. Если тебе кажется, что ее нет, ты просто не смог ее найти. Ищи же до победы!»

Дон Педро продел конец троса через блок и, чувствуя упругую податливость сотен метров, уже протянутых по склону, начал обратный путь вниз. Чтобы не тянуть трос руками, на широких ремнях у каждого из них была сзади скоба, за которую крепился карабин троса. Нужно было просто идти по знакомой дорожке рядом с тонкой стальной нитью, резво бегущей тебе навстречу.

Когда он спустился, Иван уже укладывал инструмент в сумку.

— Готово, принимай красавца.

Голубой Кондор, шестиметровый в размахе, лежал на траве с небольшим креном, опираясь на трапецию, и, казалось, был неподвижен просто потому, что затаился, ждет момента, чтобы подняться над склоном, над заливом.

Дон Педро обошел его, прощупал все тросы и узлы креплений, провел ладонью по блестящей ткани крыла.

— Купол Михалыч на машинке, что ли, слепил?

— Латы вшивал на машинке, основные швы вручную.

— Классика! Зигзаг-то какой, а?

— Кое у кого руки всегда на месте, Дон Педро. Михалыч из их числа... Дон Педро, скоро может бриз начаться, опасно будет на критические углы выходить. Может, давай я начну?

Педро молча поставил аппарат на тележку, закрепил его и кинул в специальную корзинку между колесами несколько камней для груза, чтоб не опрокинулась.

— Крути, я пошел.

— Удачи, Дон Педро. Не ходи далеко в море, у нас нет лодки.

— Не пойду, Ваня, зачем,— сказал Дон Педро.

И оба знали — пойдет непременно. Потому что здесь, кроме как над морем, и разгуляться негде.

Иван накинул трос на вьюшку, концы подцепил к тележке и взялся за ручку. Тележка с аппаратом качнулась и побежала вверх. Кондор ожил. Иван пристально следил, чтобы тележка не давала сильного крена и не била крыло о землю.

На вершине голубое крыло сливалось с небом и казалось совсем прозрачным, как у стрекозы. Иван ждал, не отрывая взгляда: Педро долго тянуть не станет, закрепится — и пошел. Отдыхать от подъема он любит в полете.

Дон Педро не изменил себе. Аппарат отпорхнул от вершинки, будто совсем не имел веса, отделился, как отделяется парашютик-семя от головки одуванчика. На мгновение повис, потом устремился вниз, почти вдоль склона. Но едва набрав скорость, решительно оторвался от сопки, сверкнул в низком солнце голубой своей прозрачностью.

Какое-то время Дон Педро летел прямо, слегка покачивая крылом. Потом принял совсем малый угол атаки, уходя в скорость на грани флаттера, и в груди Ивана в этот миг замерло, сжались зубы, и тело напряглось, словно он мог передать Голубому Кондору и Педро толику своей силы, власти над ветрами и небом.

Но Педро был мастером, а может, и больше: он родился с крылом вместо рубашки. Из пикирования он плавно и уверенно, пробуя крыло на податливость, вышел на подъем и, поймав ветер, величаво и легко вписался в долгий, поистине кондоров вираж.

— Ах ты, дьявол! — восторженно вырвалось у Ивана.— Какое крыло, ребята!

Иван надел темные очки, лег навзничь на траву и смотрел, смотрел, упивался этим полетом, чувствуя каждый нерв человека-крыла, каждое движение, даже ход его мысли и трепет восторга в руках, сжимающих трапецию. Впрочем, он ее не сжимает. Для него это такая же часть тела, как ласты для аквалангистов или карандаш для художника.

Дон Педро ушел далеко в море, кружил там долго, почти не теряя высоты. Наконец новым широким виражом проплыл через перешеек и исчез за сопкой.

Иван поднялся. Можно было разводить костер. Дон Педро, если в воздух вырвался, будет цепляться за высоту до последнего. Целый час может летать, если повезет. Так что Ивану сегодня уже не светит. Ну ничего. За вечер можно будет сделать первичный разбор полета, выписать претензии и уже начать искать выход.

Иван принялся ломать и рубить плавник для костра, но успел совсем мало, когда его внимание привлек причудливый отросток на выбеленном солью и солнцем корневище. Похоже, тут выйдет симпатичная зверюшка, подумал он, вспомнив своих пацанов.

Он взял мастеровой нож, с которым никогда не расставался и, усевшись на свернутый спальник, принялся отрезать от пока еще бесформенной фи-

гурки все лишнее. Постепенно выявился не то человечек, не то лось, стройный, в летучем каком-то порыве, с плотно сжатыми ногами, стремительно откинутыми назад. Руки—рога—крылья этого существа, почти скрещенные над головой своими корнями, дальше были расправлены, и в этом движении, образованном множеством крученых корешков и отростков, ощущалось болезненно тяжелое усилие, вытягивающее тело существа в порывистую и пронзительную стрелу.

— Эй, покажи ветер! — раздалось сверху.— Уснул, что ли?

Иван даже перепугался, так увлекла его работа. Глянул вверх. Дон Педро уже почти без высоты, на последнем вираже заходит от моря.

Легкая белая косынка в руке Ивана чуть заколыхалась в сторону склона, Педро круто снизился к площадке и отдал трапецию от себя. Крыло встало на дыбы, потеряло скорость, и улыбающийся Дон Педро, приняв на руки всю тяжесть, осторожно поставил его на землю.

— И даже чаю нет? — был первый его вопрос.— Совсем плохой стал Травкин, совсем старый.

Иван протянул ему игрушку.

— Ух ты! — восхитился Дон Педро.— Так и знал, не дашь мне одному полетать, обязательно увяжешься следом.

— Как машина? — спросил Иван вроде бы равнодушно.

— В порядке. Но не очень слушается. Ты проверь, может, шутки ветра. В крутой вираж загонять не пробовал — сопротивляется.

— Значит, будем загонять в крутой.

— Только не над морем, ладно? Мне еще после отпуска планер доводить придется, с кем я буду работать из конструкторов?

— Подберут тебе исполнительного и понятливого.

— Ванька,— угрожающе протянул Дон Педро.— Понятливый мне здесь нужнее, сейчас.

— Пока что моей понятливости хватает развести костер и сообразить ужин,— примирительно улыбнулся Иван.

— Ладно, дай мне вначале твои расчеты. Попробую кое-что додумать. А потом выдам тебе рекомендации как испытатель. В письменном виде.

Иван покачал головой, но папку с расчетами отыскал.

— Стареешь, благородный Дон. Бывало, ты шел на байдарке в залом и не брал у нее справку, что она не станет делать оверкиль.

— Может, ты и прав,— раздумчиво сказал Дон Педро, перебирая небрежно исписанные и исчерканные Иваном листки. И неясно было, в них ли он увидел правоту Травкина или в словах о байдарке.— Наверно, мы так и сделаем... Кстати, ты не задумывался, байдарка по сути — вызывающе безграмотная вещь. Центр тяжести выше метацентра, неслыханно! А мы плаваем. И не по зеркалу, а через пороги.

— Вода все равно держит, хоть и пороги,— резонно заметил Иван и раздул костерок под закопченной кастрюлей.

Легкий бриз все же наладился с берега, и это означало вечер. Голубой Кондор чуть подрагивал, будто засыпая и устраиваясь на траве поудобнее.

А наутро, когда еще не обо всем успели доспорить, хотя спорили до полуночи, явилась Она и сказала невинно, будто накануне оставила в этой палатке двоих друзей:

— Здрасьте, мальчики. Вам тут не попадался медальон на золотой цепочке?

— Где, в палатке? Сейчас поищем,— сказал Иван и полез в палатку.

— Пока не было времени, но теперь мы его найдем,— сказал Дон Педро и удержал Ивана за штанину.

— Кого — время или медальон? — спросила она и потянула носом: — Ой, как есть хочется!

Манная каша, аппетитно попыхивая из-под крышки, звала к завтраку. Девушка, не давая себя долго уговаривать, уселась к костру прямо на траву, поджала ноги. На ней были джинсы, протертые до белой основы, бесформенный свитерок и жокейская шапочка на густых и коротких волосах. В меру курноса, в меру кругла лицом, на вид она была чуть больше меры легкомысленна. Сумочка, брошенная рядом, не закрывалась, и в ней виднелись нормальные женские атрибуты — помада, расческа, конфета, записная книжка и платок.

Дон Педро нарезал хлеб и сыр, поставил над костром чайник, а Иван принес найденную при очистке территории банку с конфитюром.

— Итак, вас зовут Люся,— торжественно возвестил Дон Педро, но вопреки ожиданию ничуть не удивил девушку своей осведомленностью.

— Ага,— сказала она, уписывая кашу с конфитюром.— Это наша банка, вы нашли, да? Ее Машка потеряла. Сначала прятала ото всех, дура, а потом и найти не смогла.

— Вы что, были тут недавно? — спросил Иван.

— Не, мы месяц назад уехали. А как вас зовут? — повернулась она к Дону Педро.

— Педро,— ответил тот.

Она засмеялась громко и по-мужски несдержанно.

— Странно. А почему вы здесь? Это наше место.

— Зато не ваше время,— вставил Иван мрачно.— И в будущем году советую прибирать территорию после себя. Вон, ищите свой медальон.

Он кивнул на кучу мусора в стороне от палатки, а девушка спросила Педро доверительно:

— Чего он такой сердитый?

— Он не сердитый, он сосредоточенный. Ему лететь сейчас.

— Куда? В город? А можно я с вами? Я только найду медальон и могу лететь,— обрадовалась она.

— Пожалуй, вдвоем до города не дотянуть,— снисходительно улыбнулся Иван и укрепил аппарат на тележке.

— Почему? — Люся наконец обратила внимание на Голубого Кондора, ее лицо тронул испуг.— Ой, а я думала, за вами вертолет пришлют. Так вы летаете на этом?

— Летаем, Люся,— ответил Педро.

— Как вы узнали, что я Люся? Вам Генка сказал?

— Генка? — не понял Педро, но, вспомнив найденную записку, догадался.— Ну да, кажется, он.

— Крути, Педро, я готов,— перебил их Травкин.

— И вам не страшно? — Люся приблизилась к Ивану, погладила ткань крыла нежным пальчиком.

— Страшно, это когда не веришь в машину,— охотно ответил Иван.— И когда не умеешь радоваться жизни. А тут, свет очей моих, каждый тросик нами придуман, вычислен и сделан.

Люся поглядела на Ивана круглыми своими глазами, в которых читалась напряженная работа мысли.

— Да вы не думайте, что я дурочка,— сказала снисходительно.— Я сразу поняла, вы с Генкой из одной компании. Он тоже все свой парус тут испытывал. Знаете, такая доска, а на ней парус стоит. Генка пристал — прокатись да прокатись. А зачем? Мне и так хорошо. И далась ему моя цепочка! Золото, говорит, цеплять на себя позорно, пока половина мира голодает, потому что на него можно кормить людей. Я ему говорю, что люди едят не золото, а то, что сами вырастят и соберут. А он



тогда к джинсам прицепился. Тоже, оказывается, нельзя, потому что их вырастили и сшили за границей, а мы за них лесом расплачиваемся. Черт-те что! Я разозлилась и цепочку выкинула. Подумаешь!

— А джинсы? — Педро едва сдерживал смех.

— Джинсы — не-е! Я полгода на них деньги копила.

— Цепочка, надо думать, не дешевле,— заметил Иван.— А выкинула.

— Да вгорячах. Мать ругается теперь, бабушкино наследство. Я бы новую купила, курсы вот закончу, пойду в моря буфетчицей на пароходе. Так ей ту подавай. Медальон, говорит, старинный. Ну, вы летайте, а я поищу.

На вершине было тихо. Дневной бриз еще не созрел, сил его хватало лишь слегка пошевеливать полусухие стебли трав и тихонечко звенеть в тонких снастях дельтаплана. Зато само крыло жадно вбирало в себя слабый этот ветер, и Иван чувствовал: достаточно малого толчка, чтобы направить дельтаплан в величественный и легкий полет.

Пожалуй, радости в этой минуте не было. Она, в сущности, ничем не отличалась от часов, дней и месяцев накануне, когда в чертежах и цифрах, в образах и моделях искали путь для каждой воздушной струйки на изгибе крыла. Иван был убежден в своем крыле, больше того — он просто был уже крылом. Руки, сжимая трапецию, не чувствовали веса. И толчок в итоге краткого разбега довершил ощущение: Кондор ожил. Он ушел в скорость, будто погнался за невидимой жертвой, убегающей вниз по склону. Но эта его повадка не удивила Ивана. Скорость давно не охватывала Травкина восторгом, как в самых первых полетах. Скорее наоборот — дарила безмерный, могучий покой, собранность и просветление души. Как будто, обретя крыло, он сбрасывал оковы сотен тысячелетий и вновь ощущал суровую простоту животного первоначала.

Иван плавно выпрямил руки, отводя трапецию вперед. Стремительный Кондор, наседая всем своим шестиметровым размахом на упругое тело воздуха, отошел от склона, качнул крылом над палаткой, над запрокинутыми лицами Дона Педро и девушки Люси.

Серо-голубое тело бухты дохнуло теплом, накопленным за лето, поддавая силы крылу. Кондор принял легкий крен, и пологий, медленный вираж вывел его на новый курс вдоль берега. Тут, над отмелью, хорошо прогретой солнцем, дельтаплан оказался в невидимом восходящем потоке йодистого морского тепла, зачатке будущего облака. Кондор прошел его насквозь, заложил вираж покруче и вернулся в найденный поток. Нужно было выйти на спираль вокруг его оси и кружить так, набирая высоту, пока господствующий над заливом ветер не обогнет сопку и не нарушит стройность воздушной картины. Эту задачу Кондор исполнил точно и легко, радуясь собственному умению. Ему удалось подняться в уровень последнего уступа сопки перед вершиной, и тут, огибая ее желтеющий по осени конус, родился ветер. Он шел навстречу, был еще слаб и, обтекая сопку, не создавал вихрей, но теплый поток, в струях которого кружил Кондор, смешался, рассыпался на вихри и улетел прочь.

Кондор насторожился. Ему были знакомы эти ранние вздохи зимы на морском побережье, когда в тихую, мирно отходящую осень врезается каленый нож холода, вмиг загоняя всех в укрытие и уничтожая беззащитные островки жизни. Налетит ветер, вычистит небо до сияющей синевы, встреплет верхушки нарастающих волн, и стебли некогда пахучей полыни на склонах сопок зашелестят сухо и мертво. Кто успеет укрыться — переждет в затишке, может, день, может, два. А кто далек в такую минуту от земли, кого носит в переменчивых потоках пьянящая подъемная сила — трудно тому бывает.

Склон был не так уж далек, следовало лишь побыстрее сбросить высоту. В путанице вихрей, барабанно гудя тканью крыла, он ушел в пикирование, не думая о флаттере. Он понимал лишь одну цель в эту минуту — снижение, когда, используя пограничный к сопке слой воздуха, можно будет развернуться и вырулить к посадке. И это почти удалось ему в неимоверной тряске.

Белая косынка в руке Дона Педро трепыхалась сильно и беспорядочно, с трудом сохраняя преобладающее направление в сторону бухты. Люся суетливо подбирала вокруг палатки то, что спешило испытать под ветром свои невеликие силы в полете,— кульки, одежду, листы с чертежами, неосторожно оставленные на траве, разный хлам из мусорной кучи. Вверх не глядела, ее не интересовал ни сам Кондор, ни рисковая посадка в суете нарастающих вихрей.

Иван без сбоя провел поворот, но последний вираж оказался нарастающе крут — иначе было не попасть на площадку. Ветер слишком рано бросил его левым крылом к земле, и, чтобы выйти из этого скользящего падения, уже не оставалось высоты.

Высвободить ноги из стремени Иван не успел. Изо всех сил он пытался удержать непослушную трапецию в крайнем левом от себя положении и, встречая землю, сколько мог подтянул колени к груди и прикрыл лицо локтями.

Неудачи на посадках случались и прежде, на первых аппаратах с коническим крылом они бывали почти неизбежны — мелкие неудачи, которые кончаются ушибами, вывихами, порой переломами ног. На сей раз аппарат был сработан великолепно, падения Иван не ждал, несмотря на ветер.

Пружинистые стебли полыни, подушка дерна на склоне и, главное, крыло, первым встретившее землю, немного смягчили удар. Однако набранная в падении скорость сделала свое дело.

Иван не знал даже, что больше не давало ему глядеть на исковерканную конструкцию — боль души и сожаление, что так мало удалось полетать, или боль в спине, начиная от шеи, будто в позвоночник всадили жгучий кол неподвижности. Вначале Иван пробовал просто дышать, хотя и это оказалось не так легко. Но все же осилил.

— Не надо, я сам,— остановил он подбежавшего Педро.

— Ноги попробуй распрямить,— сказала Люся.

Она приметила, что Иван не может повернуть голову, и помогла ему убрать от лица острые стебли.

— Я попробую.

— А то с крылом так и поедешь в город,— добавил Педро.

— С крылом можно хоть в могилу,— согласился Иван, с глухим стоном отвоевывая у боли каждый сантиметр подвижности.

Уверенно и осторожно, понимая друг друга с полудвижения, будто они делали это по меньшей мере в сотый раз, Люся с Педро высвободили Ивана из подвесной системы, уложили поверх спальника на специальное полотнище-носилки из того же голубого дакрона, что служил Травкину крылом.

— Отличная машина, Педро! — сказал Иван, опять наладив дыхание.— Высоты не хватило, я бы его выправил, четко! Спешил, ты же видишь, да все вихри и не вычислишь.

— Вижу, Ваня. Все в норме.

Педро позвякивал ключами, разбирая крыло чуть выше по склону, где Иван не мог его видеть.

— Что там купол, не лопнул?

— Труба только и оттяжка одна,— утешил Педро.— А трапеция цела.

— Ну и ладушки. Трубы в запасе есть.

— Тебе они уже не пригодятся,— с хозяйской ворчливостью заверила Люся, совсем не по-женски раздувая костерок — тонкими струйками медленных выдохов после долгих, глубоких вдохов.— Тебе мы чайку согреем, а потом спиртовой массаж. Спирт есть у вас?

— Найдется,— улыбнулся Иван.— И откуда такая деловая? Цепочку-то нашла?

— Бог с ней, переживу. Я бы и не поехала, да начальник цеха в отгулы выгнал. А че в городе? Тоска. Курсы можно сачкануть. Да Генка вот исчез куда-то. С ним хоть интересно, не то что...

Она приладила над костром чайник, подошла к Ивану, критически — руки в боки — оглядела его.

— На пузо повернешься?

— Попробую.

— Пробуй. Только расстегни куртку и рубаху. А то резать жалко... Петя, где спирт?

Педро от неожиданности едва не выронил ключ: Петей его со времени смерти мамы в школьные еще годы не звал никто.

— Там... в новом рюкзаке. Плоская фляжка из нержавейки. Ты это... всерьез? Думаешь, поможет?

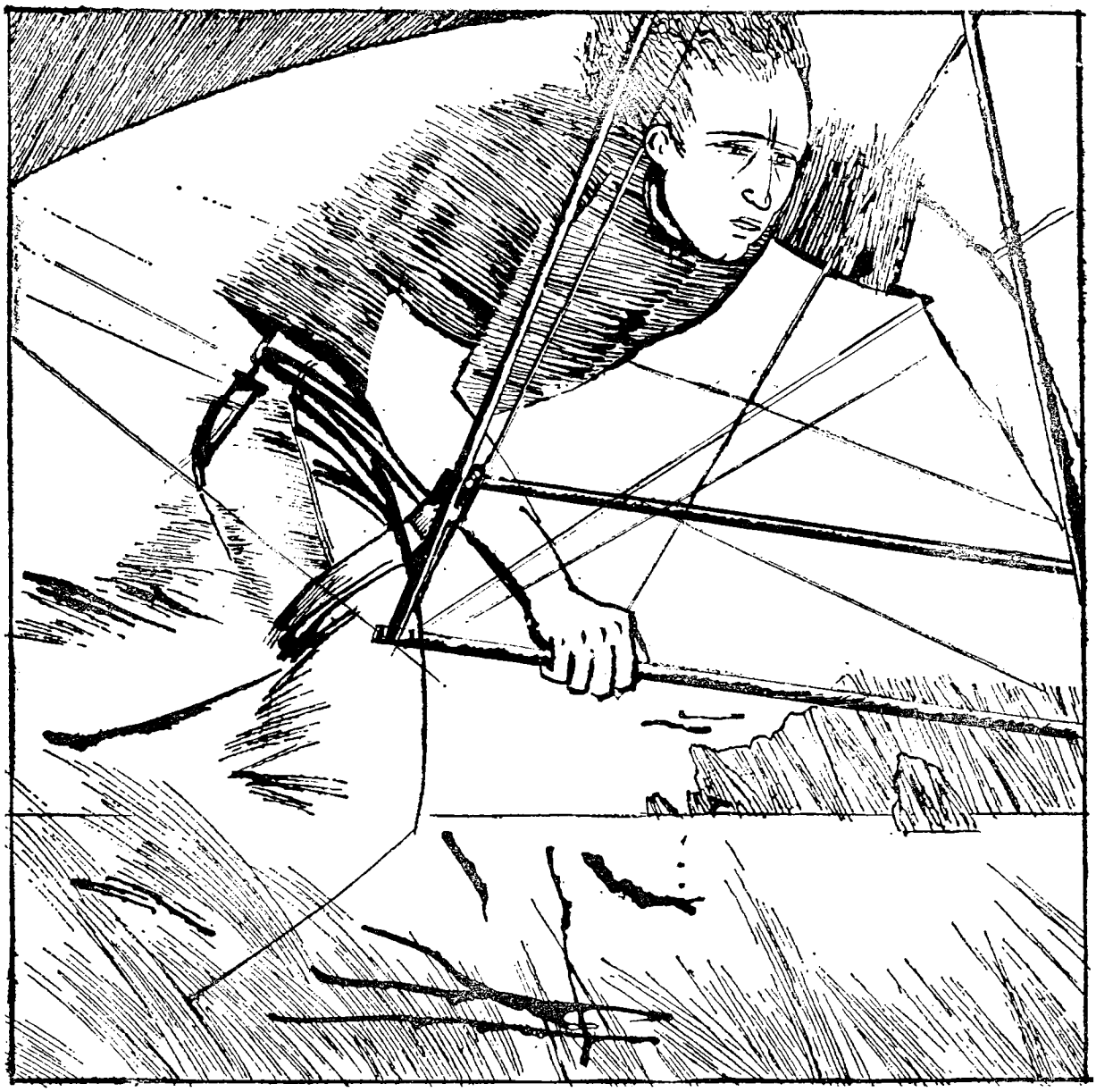
— Иногда, говорят, помогает. Папка у меня всю жизнь с этой штукой, с хондрозом. Ему спирт лучше всякой мазилки.

— Ты уверена, что это хондроз? — усомнился Дон Педро.

— А ты хочешь сказать, что похоже на перелом позвоночника? — уничтожающе зыркнула Люся в его сторону. Носик вздернулся при этом лихо и вызывающе.

— Да нет, что ты! — испугался Педро.

Он в самом деле так подумал и от этой Люсиной угадки испугался вдвойне.



Пока Иван с осторожностью начинающего сапера кантовал свое тело, вдруг вышедшее из повиновения, Люся добыла спирт и задрала рубашку на спине Ивана.

— Как вас жены пускают? Вот так уехал мужик здоровый и умный, а вернулся бог знает. Дурак или без ноги.

— Почему дурак? — поинтересовался Иван, охая и сжимаясь под сильными руками девушки.

— Сотрясение получишь — узнаешь. Если уже не получил. Возились бы в огороде, как все нормальные мужики. Или на рыбалку ездили. Летать вам... Тыква болит?

— Какая еще тыква, садистка? — стонал Иван.— Ну и лексика! Свет очей моих, сил нету, кончай!

Люся сделала снисходительную паузу, давая Ивану очухаться от боли, и снова загуляла по его спине, теперь уже легкими, изящными движениями.

— Нет, ну как дети! Я бы не отпустила, честно.

— Потому, к счастью, наши жены и стали нашими женами... хм, у кого есть. Потому что никогда не задавали лишних вопросов. Им и в голову не приходит, что можно не отпустить,— сказал Иван.

— А вам не приходит в голову, что пока вы тут шлындаете по бухтам и сопкам, в игрушки играете, жены, наверно, мытарятся по магазинам, драят ваши квартиры и еще успевают воспитывать ваших сопливых детей? Да не трясись ты, слышишь?

Ивана действительно чуть не затрясло в беззвучном смехе, даже слезы навернулись на глаза: смеяться ему теперь было никак невозможно из-за пронизывающей боли в спине, но и остановиться не получалось.

— Почему же сопливых? — выдавил он наконец.

— На других вы не способны... Ну все. Теперь лежи.

Люся заправила его рубаху и натянула куртку, поднялась и поглядела на часы.

— До поселка я ходила, отсюда полтора часа. Если на попутке, можно минут за сорок успеть. Я схожу, Петя, или ты сам?

— Чего вздумала? — вскинулся Иван, но тут же опять сник.— Не слушай ее, Педро, завтра я встану.

— Не верещи! — Педро выпрямился, длинно поглядел на Люсю.— Ну придешь ты в поселок, а дальше?

— Вызову санрейс. Или ты думаешь Ваню на себе тащить отсюда?

— Санрейс, золотко, дорого стоит. Это раз. Погода, сама видишь, не к добру бушует. И поздно уже: пока будешь ходить, на свой поезд не поспеешь,— сказал Педро и подумал, что несносная эта грубиянка, воспитанная, судя по разговору, в значительном отдалении от разных университетов, прежде него сообразила главное: если с Травкиным дело серьезно, без нее в самом деле не управиться. Хотя бы вызвать какой ни есть катер, и то проблема одному: Ивана оставить нельзя. Эта ее догадливость разозлила Педро. Еще она будет указывать! — Ты вот что, красавица,— сказал он как мог независимо, а на самом деле вдруг смутился невесть от чего.— Иди прямо к станции или ночуй до утра. Места в палатке хватит.

— Ага, разогналась с чужими мужиками спать,— отрезала девушка и взяла свою сумочку.— В общем, найдете цепочку, спрячьте под тот камень, у костра. Весной приедем, я найду. А лодка за вами придет. Мы в поселке нанимали, есть там один рыбачок... Все равно без лодки вам не выбраться.

Не прощаясь, Люся направилась к мысу, за которым начиналась тропа, постепенно переходящая в заросшую прибрежную дорогу.

— Где тебя искать? — окликнул Педро тревожно, попытался догнать, но вдруг раздумал или постеснялся.

Она даже не обернулась, лишь неопределенно махнула рукой, будто отбросила что-то ненужное.

Глава II

Еще по весне, набирая форму для будущих полетов, Иван обычно вставал рано.

...Едва рассвело за окнами, Митька наступил Ивану на плечо. Травкин мотнул головой, поглядел на часы: шесть с хвостиком. Нормально!

Спал он на простом матрасе, на полу, головой к балкону и обычно спиной кверху. Спать любил крепко, поэтому будили его пацаны самым верным способом. Их койки стояли по бокам, у стен, и кто-то всегда поднимался около шести прогуляться в туалет. Подниматься-то научились и даже доходили до туалета, но просыпаться удавалось при этом не всегда. Так что Иван, лежащий на дороге, был препятствием чаще всего неизбежным.

Проснулся он сразу, схватил мальчугана за майку и произнес громко и бодро:

— Убери ноги с лица!

И при этом взялся щекотать сонное тельце, стараясь разбудить поскорее. А уж когда Митька проснулся и исчез в туалете, Иван разбередился сам, вскочил, предварительно наполнив упругостью все мышцы, и сержантской скороговоркой выстрелил для младшего:

— Р-ротападъе-ом!

— Не кричи, мамку разбудишь,—осудил Колька, не открывая глаз и тщетно увертываясь от безжалостной отцовской щекотки.

— Никак нет! Ее дверь выдержит даже пушечный выстрел.

Натянув тренировочные брюки, выбежали втроем в ближний лесок, дурачились там, гоняли мяч, развлекая друг дружку и какую-то заблудшую собаку в придачу, которая всегда случалась тут и часто оказывалась не той, что вчера.

На сей раз бродяжка старательно проводила веселую компанию до дому, за что Митька вынес ей запасенные с вечера камбальи отходы.

Покуда Колька с Митькой умывались — а дело это долгое, потому что в него входит и последующее вытирание пола в ванной и новое мытье рук,— Иван разминался с гантелями и на перекладине, вбитой в проходе перед кухней.

В семь пацаны были готовы — причесаны, одеты, бодры.

— Ну, и что стали? Вперед!

— А ты не проводишь?

— Чего ради? Дорогу знаете, не первый раз.

— Мамка ругаться будет.

— Не на вас же, на меня. И запомнить надо: человек должен делать свое дело не потому, что иначе его будут ругать, а потому, что не делать не может. Ваше дело — идти в садик, держать в группе порядок и спокойствие, чтоб никто не орал зря, не дрался, не жадничал и не воображал. Так?

— Так.

— Ну вот. И это дело вам нравится. Так?

— Так.

— Тогда вперед.

Путь их был не так уж далек, но пересекал две дороги и один незначительный проезд. Вначале мальчуганы по очереди оглядывались, потом осмелели и перестали. Иван, прячась за домами, какое-то время шагал следом.

Оставшиеся у Ивана в запасе полтора часа были едва ли не самыми интенсивными за весь день. Заранее он никогда не планировал, что станет делать утром. Но знал наверняка — дело найдется. Кто-то из великих архитекторов сказал, что дом — это прежде всего машина для жилья. Иван был с этим согласен. А поскольку всякая машина требует технического обслуживания — ежедневного, еженедельного, ежегодного,— работа в доме не кончается никогда. Впрочем, как и в походе и во всех остальных местах, где человек живет.

Иван приводил в порядок то, что не успевалось с вечера. Вообще его мальчуганы хорошо знали, что такое порядок. Ни посуды, ни брошенных игрушек или одежек с вечера не оставалось — убирали сразу. Однако без утренней доводки было не обойтись: с работы Иван любил приходить в чистый дом, чтобы сразу настроить себя на отдых. В это понятие у него входило много разных дел — резьба по дереву, какие-нибудь расчеты, чтение специальных журналов, но зато утро было настоящим праздником домашней работы. Он укладывал в шкафах вещи, сунутые туда бессистемно, мыл и чистил кухонную плиту, кастрюли, сковородки и столы, проверял одежду всей семьи и, что нужно, стирал, чистил, подшивал; что износилось — выбрасывал или разбирал на запчасти. Проверял содержимое холодильника, составлял список, что купить, пытаясь совместить необходимое, возможное и случайное, что попадается редко, а хочется всегда. Часто перепадало что-то от работ большей периодичности: чистка канализации, ремонт крана или выключателя, подгонка разболтанного шпингалета, шпаклевка трещины в плинтусе или починка расшатанной детской мебелишки, сооруженной собственными руками.

Следовало еще подумать про еду для жены: из-за токсикоза она совсем не может готовить и

тем более обедать где-то на стороне. И про конец дня, когда дельтаплан, клуб туристов или горнолыжная база потребуют новых идей, набросков, прямого участия. На работе он этим заниматься не может, там включается совсем другой круг мыслей и ответственности, и выходить из него, даже в обед, Иван позволяет себе очень редко, хотя поводы возникают регулярно. Не случается недели без дня рождения, когда коллеги считают необходимым собраться вместе не по идейной или духовной близости, но по штатному расписанию и пить алкогольные напитки, получая радость. Допустим, радость от принятия алкоголя, временную и чреватую, еще как-то можно было понять. Но отчего это надо делать в годовщину рождения, а не в тот, скажем, день, когда человек был зачат или когда его осенила прекрасная, благородная идея,— это Ивану понять было невозможно. Обычно он отделывался взносом в общий подарок — приходилось планировать этот расход, поскольку он был едва ли не самым регулярным,— а слишком навязчивым отвечал: «Я пью кокосовое молоко, другой хмель не берет». Шутка чаще всего срабатывала. Окружающий Ивана народ в большинстве своем был добр, не лишен юмора и, главное, умел привыкать к любым чудачествам, пока они не мешают народу жить, как живут все.

Будить жену Иван не стал. Еще неделя, отгремит туристский песенный фестиваль, и пацанов она сможет забрать домой.

Тогда ей поспать не шибко дадут. Начнется с утра: «Мама, а почему горшок не летает? Я же ему крылья приделал...» И придется Ольге, превозмогая тяжесть в голове и теле, в семь часов утра бодро объяснять, что полетная масса горшка превышает расчетную, поэтому аппарат со старта входит во флаттерное пикирование и ввиду отсутствия кабрирующего момента... Нет, пусть отдохнет.

А насчет кабрирующего момента надо еще подумать. Михалыч уже кроит купол под s-образный профиль, а по весу получается выгоднее приподнять оттяжками заднюю кромку...

К девяти часам Иван был в лесхозе, в то время как его конструкторская группа в полном составе собралась на строительстве нового двенадцатиэтажного дома и приступила к поискам человека, который ставит галочку и выдает рукавицы.

— Туристов помню, отчего же,— лишенным энтузиазма голосом сказал Ивану директор лесхоза.— В субботу к восьми подходите на питомник, забросим в лес. Сколько вас будет?

— Человек пятьдесят или сто,— сказал Иван.— Многие работают, кого-то оповестить не успеем.

— Солидно,— усмехнулся директор.— Но так много не нужно. Фронт я смогу обеспечить... ну от силы на тридцать человек. А лучше на двадцать. Просек не хватит, понимаете?

— Просек нам не надо, нам бы саженцев,— успокоил Иван и выложил листок с расчетами.— Тысяч тридцать. Мы засадим десять гектаров пустыря, сразу по ту сторону трассы, знаете? Это будет наш кедропарк через сто лет, подарок городу. Для внуков. У вас есть внуки?

— Пока нет, но это не меняет дела. Вы что же, говорите о новом дачном участке?

— Конечно. Представьте себе, как будет здорово: кедровый парк рядом с городом! Чтобы белки летали, и любой мог пойти осенью и набрать орехов, поиграть с детьми, с собаками. А воздух! Когда город вширь пойдет — цены не будет такому парку. Я бы на вашем месте не десять — сто гектаров засадил. А то у нас в тайгу не доберешься, да и не осталось ее почти.

— Та-ак...— Директор прошелся по кабинету, потом вернулся к столу, отделанному инкрустацией на лесные сюжеты. С боковины стола Ивану ехидно улыбался тигр, похожий на кота Тошку из квартиры Педро.— И кому известно об этом вашем решении?

— А кому это должно быть известно, кроме нас с вами? Никто другой и не позволит, это же ясно, так зачем спрашивать?

— Однако без разрешения городских властей засаживать кедром дачные участки я не могу позволить.

— Так получите это разрешение. Вы же заинтересованы, чтобы эти участки были лесными, ведь вы лесхоз!

— Больше того,— продолжал директор,— я убежден, что и ваши коллеги на заводе вас не поймут.

— Вот тут ошибаетесь. У нас в клубе две трети туристов с нашего завода, они сами идею подали.

— Хм, я говорю не о тех, кто подает авантюрные идеи, а о тех, кому уже выделены участки.

— Но ведь общественный парк рядом с городом лучше частных огородов, тут и спорить не о чем.

— Хорошо, не будем спорить,— поразмыслив, согласился директор.— Мне, в общем, нравится ваша убежденность, но... советую вам все же не впадать в мальчишество и согласовать идею в исполкоме. Напишите письмо от клуба туристов или там от комсомольской организации, не знаю. Хотя это, я думаю, безнадежно. И времени у вас нет. А то, что я вам обещал на субботу, остается в силе. За вами машина и двадцать человек. Желаю удачи!

Тем временем — в половине десятого — группа ведущего конструктора Травкина отыскала на стройке нужного человека, получила рукавицы, отметилась галочками в списке и начала переодеваться.

Иван пришел в КБ, привычным движением выключил в отделе радио, которое по неведомой причине средь бела дня кричало известным голосом о прошедшей стороной любви.

Чертеж, приколотый к кульману с вечера, был чист и точен. Еще раз проверив сложные узлы, Травкин наклеил угловой штамп, поставил свою подпись и понес лист ГИПу — главному инженеру проекта. Подпись ГИПа он ставить пока не научился, хотя это уже вошло в его творческие планы: все равно ведь не смотрит, подписывает, порой даже не глядя на штамп, вслепую, отчего часто попадает в строку нормоконтроля. «Уровень компетенции исполнителя должен соответствовать уровню доверия начальства»,— любит говорить ГИП.

На этот раз ГИП попал в строку заведующего отделом, где подпись уже стояла, и спросил дежурно:

— Нормоконтроль смотрел?

— Нет.

— А подпись стоит,— уличил ГИП.

— Мне доверяют,— скромно сознался Иван.— Я не люблю стандарты, приходится их уважать поэтому.

— Беда мне с вами,— вздохнул ГИП.— Рассуждать горазды, а я потом перед цехами отдувайся... Зайди, кстати, в шестой цех, наколбасил ты там в планере что-то.

— Я не наколбасил, я насвеклил,— сказал Травкин.

— Чего? Почему это?

— Вместо колбасы я ем свеклу. Колбаса получается только раз в квартал, с премии. Если премию выпишут.

Над заводским аэродромом, завывая в крутых виражах, петлял маленький спортивный самолет. «Опять Педро застрянет допоздна,— привычно подумал Иван.— Пока разбор закончат... Придется идти в подвал одному. Впрочем, погода такая, можно переиграть и свозить пацанов в лес, на костерок».

Мысль понравилась. Так случалось не в первый раз: день, распланированный еще утром в короткие минуты между пробуждением и открыванием глаз, переверстывался в угоду обстоятельствам, но с прежней главной задачей — не потерять ни единого часа впустую. Этот день и впрямь был хорош: пахучий майский ветерок медово стекал с зеленеющих сопок, вольно разгуливал по широким заводским проездам.

Аппарат, конечно, подождет, полежит в подвале, что ему сделается. Если новый самолет пойдет трудно,— а похоже, так и будет,— Педро может проторчать на своем аэродроме весь сезон. Законы летно-испытательной службы суровы и непреложны: умри, а выжми из машины все. Про замену или про отпуск тогда и не заикайся — купаться будешь в потоках презрения, а то и кулак Педро понюхаешь. Кличка у Петра такая неспроста, и черный он, будто настоящий. И инструментом владеет — что кинжалом, что гитарой. Собственным азартом только никак не овладеет, потому и тяжко с ним и интересно. Молодым в особенности.

Теперь Педро про аппарат и думать забыл. А одному там не управиться, проверено. То есть, конечно, можно, только это опять же протянется до осени. Еще и додумать надо кое-что, тут тебе никакой ГИП не поможет. Сам думаешь, сам делаешь, сам и летаешь и бьешься — арифметика простая. Не насвеклишь! А на старом летать не хочется, не привык отставать от века.

Можно, конечно, привлечь Михалыча, в сборке он подсобит. Но тогда некому будет подвесную систему ладить, тут он великий мастак. Не говоря уже о горнолыжной базе на горе, там стройка без глазу вмиг остановится и пацаны разбредутся, им только попуск дай, неуемным.

В шестой цех Ивана могли вызвать по новому самолету. Выйдя от ГИПа, забеспокоился: может, спутал новую модель своего аппарата с новой моделью самолета, загнал в чертеж не ту деталь? Пока такого не случалось, но кто знает.

Слава богу, обошлось.

— Ты сочинял? — покосился фрезеровщик.— Толкуй, как делать-то будем.

— Молча,— не задумываясь, откликнулся Иван.— К а к — это тебе технолог пусть толкует. Мое дело — ч т о.

— Техно-олог! — передразнил фрезеровщик.— Развели бездельников на нашу шею. Технолог, между прочим, тоже руками развел — невозможно, значит!

— Ладно. Где телефон? — Иван зашел в диспетчерскую и набрал номер цеха гальваники.— Михалыч? Заглянул бы в шестой. Да нет, на десять минут. Поучить надо кой-кого.

«Кой-кто» сопел за плечом Михалыча, краснел, злился. И вдруг нашелся, просиял язвительно:

— То-то вас таких ближе гальваники и не допускают. Это если я буду врукопашную, что ж я наработаю? Детишкам на квас.

— Это не на квас, это на совесть,— поправил Травкин.— Зато такая деталь три заменяет, и экономия металла почти полкило. На одном изделии!

В общем, обычная была история. Иван к таким привык. Когда он работал, кульман превращался в его воображении в станок, чертеж — в живую деталь. Но беда в том, что ручная работа была его застарелой склонностью, старательно укрываемой в годы учебы, на практиках и теперь тут, в КБ. Поначалу он просто не мог понять заводских спецов-станочников, когда те кричали «Невозможно!» или «Нетехнологично!». Когда все так просто — напильничком, ножовочкой, шкуркой. Да и на простом станке, ежели его отладить любовно, проспособления подобрать и резцы с умом заточить, такие можно штуки выделывать!

Конечно, любую конструкцию доступно из типажа или из ГОСТа набрать. Но как выживешь тогда рабочий день у кульмана, не приложив руки к металлу хотя б мысленно! И вообще: к уровню компетенции, который давал Ивану возможность уважать себя, умение пользоваться ГОСТами никакого отношения не имело.

Если по совести, настоящее творчество начиналось для Ивана в ту минуту, когда проходная завода исчезала в семнадцать ноль-пять за кормой его трехместного велосипеда. Настоящее, отметим, не потому, что в заводском КБ ему творить запрещали или стесняли как-то его порывы. Вовсе нет, даже поощряли многократно. Зато после семнадцати часов пяти минут, ежедневно — кроме субботы и воскресенья, а в эти дни с ноля и до двадцати четырех — конструктор Иван Травкин волен был изобретать в с е, ч т о д у ш е у г о д н о.

И самое важное: это творчество для Ивана было неотделимо от воплощения. Потому что с детства ему слишком, может быть, часто говорили, будто руки у него растут из того самого места, из которого и должны. Травкин был убежден, что его рукам доступно абсолютно все, и без сомнений брался за любое дело. Он изобретал мормышки и камины, овощные блюда и велосипеды, системы воспитания и оплаты труда, режимы дня и конструкции сливных бачков, новые, более совершенные правила уличного движения и музыкальные инструменты, брючные выкройки и лыжные крепления, рюкзаки, акваланги и способы борьбы с очередями. Но более всего, еще до поступления в авиационный институт, Иван любил изобретать летательные аппараты.

Дельтапланы они с Педро строили давно. Еще до того, как в мире впервые громко зазвучало само это слово, у них в подвале жилого дома, выделенном для заводского клуба туристов, появились дюралевые трубки, постепенно копились детали, куски ткани «болонья». Для полетов у себя за городом облюбовали широкую просеку на склоне единственной приличной сопки, а когда набирались отгулы или выпадали отпуска — ездили к морю. Там, на голых прибрежных склонах, сбегающих к воде, подъемная сила воздушных потоков, особенно осенью, была уверенна и постоянна. Море до ноября оставалось много теплее воздуха и суши, и теплые пахучие потоки возносили изобретателей над самыми высокими из ближних вершин. Тут пилоту можно было разгуляться, не беспокоясь из-за близости спасительной и опасной земли.

И сейчас, шагая по заводским проездам, он думал с надеждой, что Педро все-таки удастся закончить испытания самолета к осени и они смогут поехать к морю, чтобы начать свои собственные испытания — новой модели дельтаплана, живущей пока в отдельных деталях, узлах, заготовках, чертежах.

— Тебе звонила жена,— сказал ГИП, когда Иван вернулся в отдел.

Травкин набрал ее номер.

— Ваня, мне придется задержаться,— сказала Ольга в трубку.— До фестиваля осталась всего неделя, дел еще тьма, песни не готовы... Зато после засяду, ладно? Ты ребят заберешь?

— Куда я денусь...

— Покорми их чем-нибудь, ладно?

— Саженцами кедра можно?

— Можно. Там витаминов много. Ну привет! Ванюша, на перекрестках с велосипеда слезай, слышишь?

— Конечно. Только слезать не буду.

Голос Ольги, чуть изменившийся за последние месяцы — так с ней и прежде было во время беременности,— направил мысль в новое русло. Скоро явится на свет новый пацан, а еще через полгода жесткой его «накачки» и водолазных процедур в ванне понадобится ладить к велосипеду специальную подвеску, чтобы снова выбираться всем вместе в тайгу. Заменять раму на более длинную не хочется — машина теряет маневренность, да и с эстетикой неладно выходит. Может, отдать Кольку жене вместе с его седлом, а себе забрать малыша? В общем, логично, однако навесить всех троих на свою машину как-то заманчивее. Надо подумать, прикинуть...

Но это после работы. А пока Иван прикрепил новый чертеж и только принялся его читать, как явилась профсоюзная богиня.

— Травкин? Ты еще здесь?!

— Вопрос, который приведет человечество к гибели. Разве может оно существовать и действовать, если не верит своим глазам? Исчезает обратная связь — ужас какой-то!

— Ох, Травкин, с тобой хоть не заговаривай. Сильно умный.

— Это уже плохо?

— Не знаю. Мое дело организовать тебя на стройку, срочно. Твой Степанов, оказывается, заболел, а больше некому. Сходи, а? — заглянула ему в глаза богиня, выискивая путь к жесткому сердцу ведущего конструктора.

Иван посмотрел на часы.

— Не могу, работы много.

— Как это ты не можешь? Я тебя специально искала, с начальником все решено.

— А со мной нет. Что я должен делать на стройке?

— Ну как обычно, мусор выносить.

— И что мне за это заплатят?

— Кончай прикидываться, Травкин! Платят, как обычно, по-среднему.

— А ты знаешь, что у меня средний — двенадцать рублей в день?

— Не у тебя одного.

— Так по каким это нормам и тарифам я заработаю на выноске мусора двенадцать рублей? Свет очей моих, да я в лучшие годы на выгрузке аммонала за смену столько вырабатывал. Это больше десяти тонн на своем горбу с машины в склад, в шесть слоев, и плюс горбовые. Смекаешь?

Богиня махнула рукой.

— Нет, больше я с тобой на серьезные темы не общаюсь. Пусть начальство само.

— Это серьезная тема? Да кто вам позволил красть у государства деньги и платить их в обход всяких тарифов? Плати, что заработал на мусоре, тогда я пойду.

— Дурной, что ли? Кто ж тогда работать будет?

— А кто у вас станет работать на эти деньги?

— Все работали до сих пор, и ничего. Не жаловались.

— И тебя, профсоюзного работника, это не ужасает? Ты обязана защищать интересы трудящихся, так что же ты не защищаешь их главный интерес, чистоту совести?

— Ишь ты, со-овесть! А за ордером с Ольгой первые примчитесь. Знаю я вас, многодетных, наплодитесь, и ищи для вас квартиры без конца.

— Можешь не искать, я обойдусь,— тихо сказал Иван.— Вы сами нас вне очереди поставили, коллектив просил. А мы обойдемся, если так. Как построят, так и построят. Меня государство на конструктора учило, значит, я не имею права работать мусорщиком в свое рабочее время. Преступление это.

— Ну, ты не заговаривайся. Сам начальник на стройку ходит.

— А начальник стройки куда — в КБ?

— А ты демаго-ог! Небось, в лесхоз в рабочее время ходишь. Тоже за свои двенадцать рублей?

— Это ты, свет очей моих, не путай. Пошел бы вечером, да там в это время закрыто. И в лесхозе мы планируем сажать лес, который будет жить столетия.

— Лучше бы свой энтузиазм на стройку направили, на государственное дело, люди спасибо скажут. Живешь-то сам не в тайге! Так что выходи на стройку и не мути воду.

— Ошибаешься, свет очей моих. Живу я как раз больше в тайге, посему стройте без меня. А профсоюзу лучше бы заняться своим прямым делом. Кстати — путевками! Где путевка для Михалыча? Второй год прошу. Дождетесь, пока вконец согнет человека!

Иван сильно рассердился вдруг не столько из-за путевки, которой все нет,— это, само собой, возмутительно,— сколько оттого, что и сам забыл в последнее время об этом, слишком увлекся аппаратом и предстоящей посадкой кедра.

Михалыч-то, конечно, и слышать не хотел ни о каких путевках и про травкинские профсоюзные страдания по этому поводу ничего не знал. И в походы продолжал таскаться, правда, теперь только в пешие: гнуло его порой всерьез, гнуло и старило, хотя ему еще и сорока не было.

Два года назад сплавлялись они с Педро по очень веселой таежной речке. Азартно гнал свою байдарку Педро, так что и оглянуться забывал порой. А надо бы, потому что очередной залом было пройти нормальному человеку никак невозможно. Педро проскочил, а Михалыч, человек практический, сразу понял, что тут ему конец. Выковырнуться из байдарки он успел, но запутался ногами в сплетении ветвей, да так и телепался в воде больше часу, пока Педро сошел с потока и вернулся спасать. Благо, голова Михалыча держалась наверху, и вода была, пожалуй, не холоднее восьми — десяти градусов.

С той поры и согнуло его. Душа, конечно, осталась прямая, а вот спина скорее похожа на траекторию неудачного полета на дельтаплане. И летать Михалычу теперь опасно — скрутит в воздухе, и падай тогда, как беспутный листок на ветру...

— Это уже не твоя забота, Травкин. Заявление рассмотрено, товарищ Надеждин поставлен на очередь, надо ждать.

Травкин посмотрел на часы. Дело неумолимо шло к одиннадцати.

— И это называется рабочий день... Так, говоришь, с шефом решено? А как быть со срочным заказом? В понедельник специально собирали, просили поднажать.

— Ничего, Ванечка, это успеется,—облегченно залопотала богиня, предчувствуя близкую победу.— Стройка — дело всеобщее, надо пойти.

— Ну, если более всеобщее, чем работа...— сдался Травкин.— А нельзя это в воскресенье, например?

— А что, пошел бы и в выходной на стройку? — кокетливо усмехнулась богиня.

— Если надо, если всеобщее дело, как не пойти.

— Вот! Я всегда говорю, народ у нас не знает законов!— И богиня возвестила торжественно: — Профсоюз против работы в выходные. Трудящимся надо отдыхать!

— Ладно,— обреченно согласился Иван.— Ставь против меня галочку.

Он отыскал свою группу конструкторов по громкому смеху в цоколе двенадцатиэтажного дома, в одном из служебных закутков будущего магазина. Турнир анекдотов был в разгаре, и только один из сотрудников ожесточенно колотил киркой слежавшуюся глину, перемешанную с кусками кирпичей, арматуры и окаменевшего бетона.

— Работы, что ли, нет?— спросил Иван.

— Да вот она,— весело кивнули на того, кто долбил грунт.— Работы море.

— И в чем дело?

— А в чем дело? — эхом отозвались Ивановы коллеги.

— Не работаете почему?

— Да так. Курим. Работали уже.— Молодой конструктор открыто и легко поглядел Ивану в глаза.

— Ага,— сказал Травкин и принялся насыпать носилки.

В половине двенадцатого группа начала уходить на обед. Иван с напарником, приладившись к работе, долбили и таскали грунт, как заводные, весело, без единой передышки до двух часов. Просто забыли о времени. А к двум вернулась группа, только вместо ушедших семи человек теперь явились трое. От двоих ощутимо пахло.

— Ваня, кончай это грязное дело! — сказали они весело.— Пусть начальник отмечает работу, и по домам, а?

— Если кому надо — отпрашивайтесь сами у того, кто вас сюда ставил. Остальным, как я понимаю, надо работать, как обычно. На заводе вам за этот день восьмерку ставят в табеле. А вы пока и четырех часов не работали.

— Да ты чё, Вань! Будь попроще, никого уже и не осталось. Что нам, больше всех надо?

Коллектив еще поворчал, заметил, что после тридцати лет пора быть реалистом, а не заниматься глупостями, и дело наконец пошло.

В начале пятого Иван оглядел пол большого магазинного зала, подготовленный под заливку бетоном, и поспешил, как было запланировано еще с утра, в исполком.

Ничего хорошего от этого визита он не ждал. Никто, конечно, не откажется от выделенного участка. Иметь свой клочок земли так естественно. Иван бы и сам не против. Но земля эта рядом с городом — зачем тут строить домики и печки, копать колодцы?

Травкин привычно крутил педали, ветерок радостно поигрывал свежими листиками тополей и лип, а майское солнце выпаривало из них одуряющий аромат весны. Со стороны аэродрома Педро подавал о себе знать надрывным воем самолетного мотора.

— Вы это серьезно? — спросил сотрудник архитектурного управления и зачем-то сложил Иваново письмо вдвое.

— Вполне,— напрягся Травкин.— А что?

— Видите ли...— Сотрудник подыскивал слова, чтобы получше объяснить просителю нелепость его просьбы.— Зачем превращать хорошее дело в демонстрацию? Мысль интересная, мы непременно обсудим ее и, думаю, найдем место для вашего парка. Но всему свое время, теперь это исключено. Оставьте, пожалуйста, ваш телефон, мы вас известим.

— Да...— сказал Иван неопределенно.

Он обнаружил, что человек этот ему симпатичен и рассуждает здраво. Если от него не отставать, напоминать почаще, глядишь, пользы будет не меньше, чем если самовольно засадить кедром пустырь, на котором многим уже видятся плантации клубники, тюльпанов или смородины. Они получат свое, потому что на их стороне официальная точка зрения. Всем хочется свежих овощей и ягод не из магазина, где их часто не купишь, а с собственной грядки, в которую ты вложил и труд, и удовольствие, и творчество. И самому, кстати, при детишках, которых хочется иметь много, совсем бы неплохо обходить клочок землицы, чтоб не зависеть от магазинов и зарплаты, имеющей неприятное свойство всегда кончаться раньше, чем приходит пополнение. Да и кое-кто из ребят-туристов лет через десяток наверняка тоже обрастет бытом и почувствует ту же тягу. Просто пока они слишком молоды и категоричны, стоит ли играть на этом?

Похоже, перед ним тот самый случай, когда нужно найти точную грань между худшими крайностями — полным отрицанием личного хозяйства и превращением нормального городского человека в нового частника со старой психологией.

Так размышлял Иван Травкин, рассматривая на стенах архитектурного управления схемы, рисунки и макеты будущих городских районов, уверенно подминающих под себя новые массивы леса.

— Красивые будут районы,— сказал он и пригляделся к одному из планов.— А тот самый пустырь, то есть будущие участки, не здесь ли они должны быть? Вы не удивляйтесь, я не подпольный архитектор, я просто иногда вижу город сверху, привык читать ваши кубики в натуре. По-моему, вы вообще творите в основном для тех, кто летает. Вблизи ваша красота не видна... Так это он, наш пустырь? То есть ваш..

— Все-таки наш,— податливо улыбнулся сотрудник.

— На нем тоже кубики — это дачи?

— Я бы не сказал... Это генплан, он составлялся несколько лет назад.

— Как же быть с дачами? Их придется сносить или они окажутся посреди города?

Сотрудник рассмеялся:

— Признаться, если бы члены комиссий были столь же въедливы, нам было бы трудно строить город. При чем тут дачи? Речь пока идет об участках.

— Это пока. Вы же понимаете, что на каждом участке со временем появится дом. И снести эти дома будет труднее, чем кубики. Потому что у них, у каждого, есть хозяин.

— Что ж, будущее покажет...— уклончиво ответил сотрудник и беспокойно оглядел большой кабинет, где его коллеги в трудных юридических дискуссиях решали с посетителями судьбы разных участков.

— Будущее хорошо показывает то, что мы не додумали в прошлом, то есть сегодня,— сказал Иван.

Он понял, что разговор окончен, и решил поставить точку. Хотя он ничего не добился, чувства поражения не было. Перестроить туристов нелегко, но истина была уже видна. Нужно только разыскать на заводе своих ребят, связанных с клубом сейчас или в прошлом и ставших обладателями участков на злополучном пустыре. Для этой цели необходим Михалыч — он знает всех.

После работы Михалыч всегда заглядывает в КБ к Ивану. Рабочий день у Михалыча до пяти, как у всех, но раньше половины седьмого он из цеха выбирается редко. Неохота, дети дома не пищат в ожидании — нету их. Тихая жена привыкла к одиночеству и к тому, что в цехе Михалычу лучше, чем

дома, а в подвале клуба — лучше, чем в цехе. Но в подвале раньше семи делать нечего.

В опустевших коридорах и комнатах КБ Михалыч не обнаружил Ивана. Тут властвовали уборщицы, отовсюду слышался ведерный звяк и мягкое шуршание швабр. Спросить о Травкине было не у кого, и Михалыч направился к проходной.

И прямо у турникета наткнулся на Ивана.

— Ты откуда? — спросил Михалыч и тут же понял, что это теперь и не важно.— А я тебя ищу.

— Мы проектируем новую технологию выноски мусора,— сказал Иван.— Ужасно интересно, из-за тебя только и вернулся, думал, что будешь меня искать.

— Я знаю, Ваня, меня завтра тоже шлют,— догадался Михалыч.— А по мне их тоже понять надо. Сколько народу без хат мается, ты подумай! Не успевают строители, не хватает силенок, а квартиру всем хочется. Чего ж не помочь. Хотя бы и мусор — тоже надо!

— Слушай, у меня к тебе дело. Есть идея насчет участков и кедропарка...

Их путь лежал по широкому лесистому бульвару, что начинается от проходной завода, в массив самых первых пятиэтажек к знаменитому теперь подвальчику, за который в свое время Иван целый год бился с коммунальниками, архитекторами, администраторами и инспекторами всех мастей, а также — наиболее ожесточенно — с самими жильцами. Иван победил. Хотя долго еще в вечерние часы, когда старики, притомленные кухней, магазинами и внуками, рассаживались во дворе побездельничать, а туристы тянулись к подвалу со всего города попеть, поспорить и помастерить, вслед им неслось недоброе: «Во-во, дома-то подмоги от них не допросисся, а сюда сами бегуть!», «Токо б темный угол найти да напиться, тьфу, что за молодежь!», «Нет того, чтоб в спортзал ли, в кино, все подвалами шастають!»

Теперь это позади. Над дверью, любовно сработанной Травкиным и туристами из деревоцеха,— вывеска, и ходят сюда не одни туристы, солидные люди часто случаются: журналисты, партийные работники из разных городов. За опытом приезжают, поучиться: как завлечь молодежь серьезным делом?

Сколько уж раз отвечал Иван на такие вопросы. И все невпопад. Разве расскажешь? Определенно он знал только одно: в клуб тянет его каждый вечер, потому что там хорошо, потому что часто приходят новички, и надо попытаться просто и точно объяснить им, чем отличается жизнь в этом клубе от подготовки к походам и организации туристских слетов. Никто лучше не умеет объяснить это, кроме разве Михалыча и Педро. А их с работы не каждый вечер вытащишь вовремя.

И еще в подвале ждет дельтаплан. Точнее, то, что должно им стать. Новая модель. Но сегодня это отменяется: детсад скоро закроют, надо спешить.

— Ничего, твоя вот опять засядет в декрет — ночевать тут сможешь,— успокоил Михалыч, пристегивая свой велосипед к забору возле подвала с красивой дверью.

— Ночевать нужно дома,— твердо ответил Иван.— Будешь ткань кроить?

— Думаю закончить, осталось пять кусков. А машина придет — поедем на гору, полы в доме стелить.

Одолевая сожаление, Иван поднял седло своей машины повыше: захотелось прокатиться с ветерком, по-спортивному. Во двор детсада влетел с крутым виражом, вызвав короткий ужас двух солидных мамаш.

— Дя-аденька, прокати-и! — заныли малыши, сразу приметив на велосипеде два добавочных седла.

— Хочется? Подождите, сейчас я своих вытащу, тогда можно,— заспешил Травкин.

— Ничего не можно, что это вы придумали! — сердито сказала первая мамаша, чем сразу вогнала своего мальчугана в зловредный рев.— Идем, Костя, у тебя дома свой есть, забыл, что ли?

— У меня три колеса-а, и он совсем не е-едет, когда на-ве-ерх! — с трудом разобрал Иван сквозь рев.

Решение пришло мгновенно: свои-то потерпят, а этот уже не может.

Шкодливая конопатая девчушка, вторая участница сцены, оказалась хитрее и, пока Иван успокаивал мальчугана и уговаривал его мамашу, сказала своей:

— Мамочка, а если я буду вот так за руль держаться, я же правда не упаду? — И сильно, до того, что побелели костяшки, сжала перед собой кулачки.

— Это неприлично, ты понимаешь? — убеждала мамаша.— У чужого дяди есть свои дети, ему некогда.

— Что вы! — вмешался Иван.— Им же прокатиться нужно, это так понятно. Я быстро! А вы, пожалуйста, Травкиных позовите, пускай тут подождут. Они у меня взрослые, не бойтесь!

Он объехал вокруг трех ближних домов, а малыши тихо повизгивали, ойкали, цеплялись за него, и этот свежий восторг после спокойной серьезности собственных мальчуганов неожиданно наполнил Ивана молодой отцовской радостью.

Мамаши приняли свои чада в заботливые руки прямо с машины, смягчились, благодарили, а малыши что-то взахлеб им пересказывали, чего понять было невозможно, только почувствовать: как здорово!

Два младших Травкина, взявшись рукой каждый за свое седло, терпеливо ждали, когда папка разделается с чужими и вернется к своим.

Наконец взгромоздились на велосипед, поехали.

— Чем кормили? — спросил Иван.

— Пюрэм,— ответил старший Митька.

— Киселем,— сказал младший Колька.

— Есть хотите?

— Ага,— ответили хором.

— Нормально. Магазин будем брать?

— Бу-удем! — завеселели мальчуганы.

— А как? — лукавил Травкин.

— На абор-рдаж! — торжественно воскликнул Митька и крепче вцепился в бока Ивана. Кольке «р» пока не давалось.

В мясо-рыбном отделе от прилавка вился тревожно гудящий хвост. Ближе к прилавку его составляли приземистые старушки с решительными взглядами.

— Кто последний за рыбой? — громко спросил Иван.

— За какой рыбой? — середина хвоста насторожилась.— Тут за мясом.

— А за рыбой где же? — Иван приблизился к ответившей ему женщине.

— А рыба какая? — Любопытство в женщине разрасталось.

— Какая — идемте, посмотрим на витрине.— Иван шагнул в направлении прилавка и поднялся на цыпочки.

Однако старушки стояли плотно.

— Бабуси, можно глянуть?

— А нечего глядеть! — отрезала одна бабуся.— Становись в очередь и стой. Молодые, а наглые.

— Для чего стоять-то? — добродушно отозвался Иван.— Мне надо купить, и домой. Дел много. Стоять мне, милые, некогда.

— Во-во, вам некогда! Мы тут с утра стоим, и ничего, и ты постой.

— В том-то и дело, я не стоять пришел, а купить рыбы.

— Папка, идем.— Митька сзади потянул его за штанину.— Мы не хочем больше есть. Поехали в лес. Там черемша растет, поедим с хлебом. Или консервы купи, вон их сколько много.

— Ждите на улице, я сказал! — прикрикнул Иван.

А полная женщина, заметив мальчугана, а поодаль второго, вдруг прониклась:

— Пропустили бы товарища, он за рыбой какой-то, пусть возьмет.

Люди у прилавка замерли и отвернулись от Травкина.

— В самом деле, человек с детьми, а вы... нехорошо! — укорила полная.

И подействовало. Не глядя на Ивана, расступились молча. Он протиснулся к прилавку, стал ждать, когда освободится продавщица, с удовольствием наблюдая, как изящно и четко работают руки этой худенькой и подвижной женщины. Она была не из тех, что могут нравиться,— слишком, пожалуй, строга, мало женственна, но работала блистательно, собственными отточенными движениями упреждая и движения ближайших покупательниц и даже их мысли и желания.

Продавщица наконец приметила его взгляд, отличный от других, и просигналила тоже взглядом: давай, мол, излагай. Руки тем временем летали, не снижая темпа.

— Красиво, я говорю,— сказал Иван.— Люблю глядеть на профессионалов.

Улыбнулась едва заметно и — ни слова ему.

— Камбалешки бы, свет очей моих,— сказал Иван.— Штук пять.

Руки вмиг отлетели от мяса, будто в недоумении, чуть замерли, исчезли под прилавком и вдруг грохнули о мрамор стола переморожeнный камбалий блок.

— Я помогу? — Иван кивнул на мерзлый блок и, получив согласие, поспешил за прилавок.— На этой стороне баррикады я чувствую себя увереннее. Есть нож покрепче?

— Вот, держи. Да хватит пижонить с этой камбалой. Приходи к восьми, я тебе оставлю.

— Мяса млекопитающих? Спасибо, но когда есть рыба — зачем оно?

— Ты бы их убедил.— Продавщица кивнула на очередь и вновь занялась мясом, на Ивана и не глядела, отчего-то сразу причислив его к своим.

В очереди на миг образовался проем, и в нем явилась гордая физиономия Митьки:

— Папа, мы здесь!

— И мальчишек кормишь этой подошвой? — Продавщица взвесила выбранную Иваном камбалу, назвала цену.— Не поверю. Приходи лучше к восьми, слышишь?

— Недоверие, вот что нас погубит,— сказал Иван грустно.— И отсутствие рекламы...— Он обернулся к очереди и сказал громко: — Женщины, это мясо прежде было млекопитающими! Они тоже рожали детей, кормили их молоком, испытывали боль и боялись смерти. Одумайтесь, разве можно их есть? Берите рыбу, наукой доказано, она не так страдает от боли... Ей н е ч е м так страдать. Она полезнее. И вообще — ешьте поменьше, толстый человек противен. Больше создавайте, думайте, любите! — И ушел.

Пацаны семенили следом, подхватывая с полу рыбины, которые сыпались у Ивана из наспех сделанного свертка.

В пути мальчуганы молчали, а дома Митька спросил:

— Пап, а у рыбы нету мяса?

— Вообще есть,— сказал Иван, обваливая куски рыбы в муке и укладывая в сковородку.— Видишь ли, беда человека в том, что он умеет думать. Думать о других. И жалеть. Мы ведь можем существовать только потому, что едим других живых существ. Растения тоже живые. Не камни же нам грызть... Ну вот, едим — и жалеем. То есть должны жалеть. Чтобы отличаться от волка или... гиппопотама. Некоторые не отличаются.

...Жена явилась без десяти восемь, веселая и голодная. С порога она повела носом, скривилась:

— Боже! Рыба, что ли?

— Рыба.

— Не могу слышать, Ванечка, запри ради бога дверь в кухню! Мяса бы кусочек, страшно есть хочется...— И она, зажав нос, поспешила в комнату.

Иван размышлял недолго. Глянул на часы, накинул пиджак, подхватил на плечо велосипед и через минуту уже мчал в сторону магазина. До восьми оставалось пять минут.

Четверых владельцев собственного клочка земли — еще, правда, не успевших ощутить себя владельцами — Михалыч отыскал без труда.

— Кедр? Чего ради на моем огороде кедр? — был первый ответ-вопрос.

И ни Михалыч, ни его собеседник не обратили сначала внимания, что с первых слов участок безлесной земли человек непроизвольно назвал «мой огород». Потом Михалыч смекнул, как вести разговор, и собеседник его понял.

— Так бы и говорил сразу, что тут на принцип пошло,— с облегчением сказал владелец участка.— Надо так надо. Даже приятно нос утереть соседям, а?

Эту маленькую слабость вполне можно было человеку простить. В обмен на утраченные им клубничные и картофельные грядки. Впрочем, даже и не совсем утраченные, вовремя подумал Михалыч, обретя внезапно самый веский козырь:

— Слушай, кедр ведь редко садят, через метр двадцать примерно. Сажай свою клубнику, что ж земле пропадать. На твой век хватит, а дети, глядишь, урожай орешков уже снимать начнут. В лесхозе вон на семнадцатом году кедры плодоносят кое-где.

В субботу армия новоявленных крестьян-любителей двинулась из города уже с семи часов. Лопаты, кирки, ломы и топоры были у каждого. Шли пешком, ехали на велосипедах, на машинах. Везли доски, листы фанеры, даже небольшие горки кирпича. На пустырь перекочевывало также добро, копимое годами в подвалах и на балконах, отслужившее свой век в чистоте городского дома и, по странному заблуждению горожан, как раз годное теперь там, где человек приобщается в первичному и святому земному труду. Люди шли к земле, чтобы провести там лучшие дни своей жизни, и при этом все лучшие вещи оставляли в городе...

К тому времени, как пустырь запестрел цветной мозаикой машин, закурился дымками прошлогодней сухой травы, появилась другая процессия — короткая и организованная, похожая на праздничную, даже с плакатом: «Нет — картошке, да здравствует тайга!» Плакат висел на борту идущего во главе колонны грузовика, с кузовом, полным бархатистой и сочной кедровой зелени. По углам кузова сидели двое гитаристов, а следом ровными рядами по четверо энергично наворачивали педали велосипедисты.

Иван с мальчуганами спешить не стал — ехал как получится, радуясь весне и благополучному началу дня. Ему все же удалось выпросить саженцев больше обещанного на выделенные просеки. А

для них теперь и не в просеках этих состояла главная задача. Крохотные кедровые рощицы среди огородов казались тем Делом, которое не пройдет бесследно. На юные деревца каждый раз будут глядеть десятки огородников, вечерами и по выходным, и они уже сегодня заставят людей думать. В каком направлении должны пойти эти раздумья, Иван с Педро и Михалычем обсуждали несколько вечеров, привлекая и четвертых «землевладельцев», из которых теперь так и сыпались идеи. Начальные их сомнения сменились забавной ребячьей гордостью: мы-то передовые, а вы — прочие, стало быть,— незрелый и даже отсталый элемент.

Было заготовлено четыре таблички с текстом: «Товарищ! Эта кедровая роща — подарок туристов города всем, кто любит тайгу и хочет сохранить для потомков частицу тишины и дикой природы. Мы приглашаем тебя отдохнуть и подумать: что оставишь внукам ты сам?»

На пустыре уже трудились вовсю, вскапывая свои участки, когда велоколонна разбилась на группы, а несколько человек остались на дороге разгружать машину с саженцами. Поначалу огородники недоумевали, дивились, прекращали даже копать, глядя с завистью, как под заступами туристской армии куски пустыря на глазах превращаются в пашню, а там и в неровные кедровые грядки. Так наказывал Травкин: чтобы обязательно неровные, тогда больше будет похоже на дикий лес.

— Вы чего это, ребята? Зачем?

— Лес — он низачем,— слышалось в ответ.— Он сам по себе. Там не верещат транзисторы, там тихо, чистый воздух, растут грибы и ягоды, и дикие птицы поют. Чем больше леса, тем лучше. Здесь будут жить белки, как в тайге...

Но всякому удивлению свой срок: оно проходит, а дело остается. Спустя два часа четыре участка были засажены и отмечены приметными табличками, на которые никто из огородников уже не глядел. У них работы было невпроворот. Дело одиночки — трудное дело.

А туристы, покончив с участками, отправились на главные посадки — в тайгу.

К концу дня, когда саженцев не осталось, прямо на просеке устроили традиционную туристскую чаевку. Перерыва на обед не было, работали «до упора» и к этому времени высадили больше всех лесхозовских бригад.

Потрескивал, облизывая ведра, веселый костерок, дружно звенели гитары и тренированные голоса. Классическое трио, облагороженное голосом Ольги, мягким и ненавязчивым, быстро заставило притихнуть остальных. Митька и Колька Травкины вместе с племянником Педро Борькой, хорошо зная, что в этом занятии к старшим лучше не приставать, как бы ни хотелось есть, благоразумно и сосредоточенно вертелись поближе к девушкам, готовившим бутерброды с колбасой и сыром. Девушки не устоят, подкинут по кусочку. Проверено не раз!

Тревожно шурша старой листвой, прибежал лесничий вместе с корреспондентом, узнать которого можно было за версту: на груди два фотоаппарата, кожаный пиджак, из кармана торчит блокнот, а на лице выражение дежурного участия и восхищения, свойственное людям только этой профессии.

— Добрый день, ребята,— бодро начал корреспондент, лихорадочно пытаясь угадать, кто же здесь старший, и по этой причине ни к кому конкретно не обращаясь.— Вы, говорят, передовики дня, надо бы написать, как это вам удалось.

Председателя клуба на просеке не было. Значит, придется общаться, подумал Иван с сожалением: больно уж хорошая получается песня.

Песню он, правда, все-таки допел, заметив, что журналиста покуда придержали находчивые девчата. Но как только финальный аккорд протяжно и печально растаял, журналист был тут как тут.

— Скажите, какой девиз вашего клуба?

Песня его не тронула, будто и не слыхал.

Иван задумался ненадолго, поглядел в хитрые глаза Михалыча.

— Где бы ни работать, лишь бы работать! — хором рявкнули девчонки.

— Прекрасно! — обрадовался корреспондент, открыв блокнотик.— Вы, кажется, еще где-то рощу высадили?

— На пустыре,— сказал Иван.— Да не в том дело, это уж позади, что говорить. Вы приходите к нам летом, когда воду с рисовых чеков сбрасывать начнут. Планируем рыбу спасать с полей, вот где можете пригодиться. Писать про нас не обязательно, помогли бы организовать дело.

— Если есть затруднения — что ж, поможем непременно. Мы должны беречь природу, это сегодня очень важная тема!

— Самих бы себя уберегли...— тихо сказал Михалыч.

Глава III

Ветер трепал палатку, подступаясь то с одной, то с другой стороны, но она лишь гудела и барабанно бухала, однако стояла намертво — палатку ставили мастера. Небо было чистым. Синяя бухта отчаянно кидалась в берег волнами и пеной, будто нарочно расходуя ненужные к зиме остатки великой своей силы. Ни о какой лодке, конечно, не могло быть и речи.

Иван, впрочем, лодку не очень и ждал. Первую ночь его крутила боль, заставляя то и дело менять позы. Поутру выполз из палатки, доскрипел до ручейка, умылся и даже развел костерок и чаю заварил — вода в чайнике оставалась с вечера. Все-таки в работе одолевать проклятую спину было как будто легче — расхаживался, распихивал жесткие, как рыцарские латы, границы боли. В какой-то миг показалось даже, что отвоеванные однажды движения остаются в активе. Значит, борьба верна, и прекращать ее нельзя. Стоило ли, в самом деле, подниматься в небо, чтобы после обратиться в ползучего червя!

Пока возился с огнем, пил чай, лежа на боку, стараясь не захлебнуться,— согревался, и немного отпускала стиснутая до тайного звона пружина боли.

Но утро все же было холодное, северный ветер пронизывал даже через обмотанный вокруг пояса толстый шарф. Обращенная к ветру спина начала застывать. Хорошо бы повернуть ее к костру, подумал Иван. Но огонь почти завял, надо подбросить щепок...

Он отыскал топорик, выбрал небольшую сухую коряжку. Злясь на беспомощность свою, стиснул зубы и попробовал замахнуться.

От боли помутилось в глазах, из груди рванулся стон. Когда пришел в себя, увидел сосредоточенную и помятую со сна физиономию Педро.

Педро тыкал мокрой тряпкой в лоб Ивана и бормотал:

— Уже скоро. Она скоро приедет. Скоро будет лодка, и порядок. И мы поедем. Уже вот-вот. Выберемся. Михалыч вон как залетел, и то ничего. Ерунда. В крайнем случае разберу аппарат, свяжу оба велика трубами, и тебя сверху. Похуже бывало.

— Не вытянешь так,— возразил Иван.— Лучше

приспособимся на тележку, она легче. И на буксире. А мой велик брось. В траву запрячь, до весны долежит. Только смажь.

— Да она приедет. Я вот найду цепочку, ветер стихает. Дождемся.

Педро осторожно втащил Ивана в палатку, укутал в спальник и исчез. Наверно, убирает трос, подумал Иван, прячась от боли и холода в неподвижность.

Ивану и самому было тревожно: пригонит девчонка лодку или нет? На болтушку она вроде не похожа, что-то в ней виделось привлекательно-настоящее. Был момент, Иван даже поймал себя на сравнении: могла ли его Ольга поступить вот так же легко, четко и справедливо, без предварительной прокрутки нюансов, без теоретических поисков наилучшего варианта, как это обычно происходит у конструкторов. Конечно, сравнивать глупо. По молодости лет, когда они с Ольгой в первом же походе обратили друг на дружку не в меру пристальное внимание, ее по-мужицки инженерный подход даже к мелочам, так несвойственный женщинам, определил для Ивана счастливо короткий поиск спутницы. Понимание между ними было заложено глубоко заранее волею судьбы, и этой судьбе противостоять не имело смысла. Так и жили — ничего лишнего, неразумного, необъяснимого, конфликты раскладывали на плюсы и минусы, вносили поправки каждый для себя, воспитывали детей в инициативе и разумной строгости. А если и позволяли себе какое безрассудство, оба точно знали, что могут его позволить, потому что и в безрассудстве есть иногда свой большой и счастливый смысл.

Первый же совместный Новый год отправились встречать в тайгу, что не все даже друзья-туристы одобрили: Ольга была уже на солидном месяце, Митька вскоре ожидался на свет. Но ничего, обошлось. И после каждый год таскали пацанов в новогодний лес, в любые морозы. В общем, с женой у Ивана вышла редкая удача, все это знали. Иван тоже знал, и это было очень важно. Женские проблемы, способные привести иного к страданию и самой нелепой дикости, у Ивана времени не отнимали. Другой женщины, так похожей на него характером, все равно существовать не могло, а непохожие его не интересовали.

Педро с женщинами, наоборот, не везло. С легкой руки матери он привык еще в школьные годы считать идеалом свою сестренку, что была на полтора года его младше, пронес эту убежденность через ее неудачное замужество и даже к племяннику Борьке привязался, как с собственному сыну.

Жил Педро один, и в свободные от Борьки и от туристских занятий вечера сочинял дома свои жгучие бродяче-романтические песни, вылущивая мелодии из бесконечных гитарных переборов. Гитары он сооружал сам из деревянных ящиков, подобранных во дворе ближнего магазина, и сломанных штакетин. С некоторых пор городские гитаристы, понимающие в инструменте толк, ждали только его изделий и, получив их в подарок, укладывали свои «Кремоны» подальше — на черный день.

К появлению Люси он был не готов. Девушка поразила его душу, что называется, с лёта, особенно когда ушла так внезапно и решительно.

Два дня Педро молчал, с тревогой поглядывая на обезумевшее море и на Ивана, который, хотя и бодрился, вставать все равно не мог и даже лежа двигался с трудом.

Чтобы как-то убить время, Педро натянул жесткие брезентовые штаны и ползком начал поиск цепочки с медальоном. До вечера изображал из себя гусеницу-землемера, ведомую взад-вперед по склону чьей-то настойчивой математической волей и сомнительной целью. Лишь когда он ненароком откинул бурый дубовый лист, занесенный сюда причудами ветров, и в траве блеснула тонкая вязь золотой цепочки, человеческий голос вновь оживил пустынное побережье.

— Нашел! — Педро бежал сверху, сжимая медальон в руке.— Люди гибнут за металл и за крылья, ты понял, ведущий конструктор?

К исходу второго дня обстановка созрела до полной очевидности: лодки нет, идти или ехать сам Травкин не в силах, но тележка к его транспортировке готова. Пусть она не блещет совершенством и эстетикой, пусть от дельтаплана — а тем более от Голубого Кондора — осталось жалкое воспоминание, зато проделано все в полевых условиях. Это, кто понимает, не шутка.

Торчать здесь далее глупо и для Ивана просто рискованно.

За ночь ветер притих, опали волны. Потеплело, и спалось Ивану впервые за эти дни сносно. Зато кряхтел и мучился Педро: сочинял записку для Люси. Несколько раз он вылезал наружу, раздувал костер, писал что-то в его дрожащем свете на отрывных листках блокнота. Вырывал, кидал в огонь и писал снова. Заснуть ему удалось только под утро.

Часам к десяти Педро выкатился из палатки, протер припухшие глаза и, обшарив взглядом пустынный горизонт, очумело спросил:

— А сколько времени?

Все, кроме скудного чайного набора, было собрано в дорогу. Оставалось снять палатку и свернуть спальники. И по времени пора было двигаться.

Но сам Педро еще не был готов.

— Давай рассудим,— сказал Иван вместо ответа.— Если я прошу спрятать цепочку под камень, значит, я сомневаюсь, что предыдущее обещание насчет лодки может быть выполнено, так?

— Не так. Во-первых, вначале было сказано про цепочку, а про лодку потом. Если будет лодка, цепочку и прятать не надо, отдадим в руки хозяйке.

— Как сказать. Лодку она может организовать, а самой ехать не обязательно. Не станешь же ты отдавать цепочку чужому дяде. Который, кстати, сначала не поехал из-за шторма, а потом решил, что поздно. Или запил.

— Чего ради ему пить?

— Ну, скажем, от одиночества. Или от незаполненности свободного времени общественно полезными делами. Например, сооружением дельтаплана. Или его ремонтом. Я бы тоже запил, просиди мы тут еще день.

— Скоро запьешь. Микстуры,— пообещал Педро, помогая Ивану выбраться из палатки, и выдернул колышки, на которых она держалась.

Палатка увяла, закачалась на стойках, повисла дистрофически.

— У меня, знаешь, двоюродная сестренка тоже плавает,— сказал Иван, не зная, как еще выразить сочувствие товарищу.— Ты бы видел это сокровище! Все они там такие: готовить не умеют, курят. А жен из них не выходит в принципе, потому что полгода в морях среди чужих мужиков — это разве жена?

— Конечно, это совсем не жена. Жена — это нечто совершенно противоположное! — воскликнул Педро.

Палатку он уложил так быстро, как только позволяло отсутствие партнера. В том же темпе разбросал мусор на горючий и негорючий. Один сжег в костре, другой отнес в специальную яму, вырытую в первый же день их стоянки в этом месте.

Велосипед с прицепом на ту сторону мыса Педро пришлось вести в руках. Двигались медленно: Иван при малом даже движении стонал и кривился, хотя был накрепко привязан к тележке.

Когда наконец взобрались на перевал и Иван решил отвлечься, поделившись идеей новой заслонки для камина в горнолыжном домике, Педро вдруг сказал:

— Гитару новую придумал. Революция в гитаростроении! Струны, понимаешь, не на деку надо крепить, а на гриф, обоими концами. А дека — просто резонатор, никакой нагрузки. Тогда ее можно делать тонкой, подбирать под любой тон...

Глава IV

Ольга держала правую руку в тяжелой ладони Ивана, а в левой комкала платочек, влажный от слез.

— Ну что, налетался, да?

— Как сказать. Тебе идет белый халат.

— Хорошо, что ты помнишь, черный цвет мне совсем не идет.

— Разве? Буду знать. Зато я привез малышке имя. Как она, бузит по ночам?

— Да ничего, ты не волнуйся. Тебе книжек принести?

— Давай назовем ее Люськой.

— Где взял?

— Педро не даст соврать — послано свыше.

— Фантазер несчастный.— Ольга снова коснулась платочком глаз.— Люся так Люся... Знала бы — не отпустила.

Иван улыбнулся, вспомнив Люсины слова, так похожие на эти.

— Все вы женщины, как сестры.

— Это разве плохо?

— Ну что ты, хорошо. А где мой брат Дон Педро?

— Где ему быть, с детьми, конечно.

— Я думал — с аппаратом.

— Это у него после обеда. Вечером прибежит... Ваня, а что тебе говорят?

— Молчат пока, до рентгена. И когда рентген — тоже молчат.

Ольга украдкой огляделась, примечая скорбные атрибуты лежачего отделения — утки, судна, банки.

— Ваня... А как тут?..

— Нормально,— ободрил Иван.— В космическом корабле не лучше, а мужики улыбаются, видела в телевизоре?

— А как нянечки? Может, надо...

— Нет, ни к чему.

— Ваня, так все делают, как же иначе... Рубль в день ей дам, подумаешь...

— Еще одно слово, и я встану,— пригрозил Иван, зная, что это самый сильный прием.— Твои «все» хотят быть чистенькими, а я хочу потонуть в дерьме!

— Не кричи!

— Пусть Педро несет бумагу, линейки, ну, все, что надо. Есть идеи. Кстати, идеи пусть тоже несет.

Поместив Ивана в больницу, Педро утром вставил в дверь записку: «До обеда у Травкиных, адрес... после обеда в клубе, вечером в больнице, палата...» — и начал свой нормальный отпускной день с велокросса по торговым точкам. К девяти Ольга получила дневной запас еды, няньку для своего воинства, а сама могла отправиться в больницу.

Педро навестил Ивана вечером. Как и было заказано, он притащил небольшой чертежный прибор, из-за которого выдержал краткий и сокрушительный бой с дежурной медсестрой. С приборами, особенно с чертежными, было «не положено», и Педро сразу сообразил, что выяснять — кем не положено, куда не положено и почему — так же безнадежно, как просить кота Тошку назвать собственное имя.

Педро призвал на помощь все свое обаяние, сунул в карман дежурной медсестры большой апельсин и при внезапном и полном ее молчании распахнул дверь палаты, держа прибор под мышкой.

Чтобы оценить обстановку, ему хватило беглого взгляда.

— Держи.

Педро отдал прибор Ивану и под скомканные благодарности лежачих мужиков — «Был один ходячий, да выписали третьего дня...» — вынес из-под всех кроватей наполненные за день сосуды.

— Как там моя Люська? — спросил Иван, пытаясь избавить друга от мучительного избытка всеобщей благодарности.

— Соперник достойный,— сознался Педро и залез под кровать Ивана, больше похожую на обычную наклонную доску.

— Эй, ты чего там забыл?

— Изучаю. Койка-то не простая, с секретом. Его мы и должны использовать.

— Хочешь приделать крылья? — уныло усмехнулся Иван.— Безнадежно. Подъемной силы не хватит.

— Не скажи.— Педро поднялся и открыл папку с большими листами ватмана.— Все зависит от принципа. Но сначала нужно сладить с достойным соперником Люськой. Пока она не занырнула в мусорное ведро или не уснула под унитазом... Это манежик, Ваня, и ты сам его спроектируешь. Для Люськи. Пока туда-сюда, ей и время подоспеет.

— Разве для этого нужно изучать койку?

— Койку — для другого,— веско сказал Педро.— Я не знаю, сколько тебе предстоит прожить лежа, но знаю, что без кульмана ты долго не проживешь.

Иван закрыл глаза, помолчал.

— Педро,— начал он тихо,— слушай-ка, тебе никогда не говорили...

— Никогда, Ваня,— сознался Педро.

— И не скажут.

— И правильно. Лучше пусть подумают.

Сказать другу «спасибо» Иван так и не сумел. Он открыл глаза, мельком улыбнулся ему и одним взглядом оценил набросок манежика.

— Тут надо попроще, дай-ка карандаш.

И потекли дни.

Недостроенная гитара покоилась в шкафу, брошенный с дневным запасом харчей кот Тошка трагически выл от обжорства и тоски, а его хозяин Педро руководил ротой Травкиных-младших. Следуя твердому принципу этого дома, по которому чем больше детей, тем лучше, он часто зазывал сюда и племянника Борьку, и все вместе принимались за манежик для маленькой, но ретивой Люськи.

Педро соорудил своего рода коечную разновидность кульмана. С его помощью рабочий день лежачего Травкина удалось увеличить до семи часов. А то и больше — пока поднятые руки не затекали.

Такой темп не на шутку встревожил Педро: с доводкой аппарата Иван покончил в два дня, а что дальше?

— Срочно нужны идеи, и в большом количестве,— сказал Педро председателю клуба.— Или одна, но грандиозная. Чтобы много думать. Травкин на простое!

— Значит, нужно спросить у Травкина,— невозмутимо ответил председатель.— До сих пор идеи подавал он.

— Не годится,— возразил Педро, хотя знал, что говорит председатель истинную правду.— Выходит, родной коллектив даже такую малость не может подарить пострадавшему ветерану? Что-то темнишь ты, брат. Давай, собери народ, поговорим.

— Да и темнить незачем.

Председатель клуба чуть покраснел, собираясь с духом. Предстояло высказать Педро нечто такое, что тому никак не понравится, а делать это всегда бывало опасно. Однако лучшего повода не найти, и копилось уже давно. Он отвел Педро в сторонку от бульвара, чтобы не мешать вытекающему из завода потоку людей, и сказал:

— Подавать идеи у нас, ты прав, Педро, хватает мастаков. Можем Ивану подарить, можем и от него услышать. Конца-края не будет. И в дело применять тоже не штука, руки у нас у всех на месте. И совесть тоже, будь спокоен. А вот ты хоть разок сходил бы в спорткомитет, отчитался бы за сезон по разрядникам, по маршрутам. Я бы на тебя и посмотрел.

— На меня можно смотреть с утра до вечера,— сказал Педро.—Но ты прав, Саша, ни одной строки в отчет оттого не прибавится.

— От вас может прибавиться вообще что угодно, кроме самого туризма. То вы лесхоз изображаете на общественных началах, то рисовый совхоз, то строительное управление... Подожди, дай сказать. Ребятам не жалко, они куда угодно готовы. Но ведь шепчутся понемногу: походы-то где? Все лето мотаются с полей на гору и обратно. Ты думаешь, горнолыжный домик построили, так он у нас и останется? Знаю, ты хотел бы вообще туда клуб перенести, да я и сам не против. А в спорткомитете иначе планируют. У них все просто: есть горнолыжная база — приглашают тренера-профессионала, набирают желающих и начинают выдавать разрядников и чемпионов. Это не твои с Михалычем шпендики, от них рекорда не дождешься.

— Тренера вправду вызывают? — насторожился Педро.

— Уже приехал. Будь уверен: полы настелим в доме, покрасим, камин заработает — сам прибежит знакомиться. А потом скажет: извините, товарищи туристы, нам тут тренироваться надо, не мешайте.

— Ты его видел?

— Даже слышал, и сомнений не осталось, что так и будет.

— Что ж молчал?

— А вам до того было? Ты на аэродроме пропадаешь, Михалыч то на стройке, то с дельтапланом возится, Травкин вообще весь в идеях, не притронешься. Вы себе летаете, а с меня спортивную работу спрашивают. Вот поехали летать вдвоем — думаешь, ребятам не хотелось? Можно бы и маршрут организовать попутно, чтоб работа клуба была видна.

— Подожди, Саша. Во-первых, у нас были испытания новой модели аппарата, все прекрасно это знают. Во-вторых, старый аппарат лежит — летайте на здоровье, где хотите.

— Кто хочет, где хочет, когда хочет — это по-твоему, порядок? У нас не стихийная компания, а спортивный клуб. Без Травкина я к полетам никого допустить не могу, он ответственный, и дело, не тебе напоминать, опасное. Могли бы сразу и испытать и полетать на старом с ребятами. И у меня был бы маршрут в отчете. А так мы из-за ваших кедров о туризме позабыли.

— Выходит, Саша, коллектив уже и товарищу помогать разучился, если он в беде?

— Коллектив только и делает, что помогает твоему товарищу, Педро. Но пора и о деле вспомнить, ради которого существует клуб туристов. Организуй вот на ноябрьские лыжный поход на двухтысячную вершину, у нас в плане стоит. Вот тебе идея, разворачивайся, ребята спасибо скажут.

— Почему же во всем, что мы делали до сих пор сверх походов, ребята участвовали с удовольствием?

— Дела-то хорошие, никто и не спорит. Но у ребят, у каждого, сомнения: в поход хочется, туристы же, и от дела вашего уйти стыдно, как бы не показалось, что о своем только удовольствии думают. Нельзя вечно на этом спекулировать, Педро.

— Вот мы и добрались до истины,—с облегчением сказал Педро.— Ты, выходит, считаешь, что наступает момент, когда человеку н а д о п о з в о л и т ь пожить в свое удовольствие, без угрызений совести, да?

— Наверное, так.

— Тогда предлагаю два варианта. Мы сейчас идем в клуб — придется Травкину сегодня обойтись без меня — и задаем один простой вопрос всем, кто собирается: зачем они туда ходят? Это во-первых. А когда скажут, что любят походы, спросим дальше: за что они любят походы? Как ты думаешь, за что?

— Ты сам отвечал на это сто раз. Испытать себя в риске, в крайних ситуациях.

— Отлично, Саша, ты недаром у нас председатель! — порадовался Педро.— Именно так: в риске и в крайних ситуациях. Мы спросим: а что же такое крайняя ситуация? И они ответят так же правильно: это когда у тебя нету сил, не хочется, а надо, и ты делаешь. И вот тут, Саша, они попадут в самую точку, хотя сами того и не поймут. На следующий наш вопрос, какого же черта они ползали в самое походное время по высыхающим рисовым чекам, вылавливали мальков, они скажут: рыбу надо спасать и сохранять, это важное общее дело. Может, и к лучшему, но они чаще всего не понимают, что для них, по сути, нет никакой разницы между походом и ползанием по чекам. Мы с тобой договорились, что крайняя ситуация — это когда не хочется, а надо, и делаешь. И когда сделаешь, получаешь то самое удовлетворение, которое уже в принципе не делится на свое и общественное. Оно выше этого деления. Посему, Саша, завершая наш философский опыт и дорожа временем, давай не пойдем сегодня вместе в клуб и не будем задавать ребятам дурацкие вопросы. Лучше ты подумай, чем я с Михалычем могу помочь по лыжному походу, может, и Травкина подключим. А я дам Ивану задачу похитрее: как удержать в своих руках наш горнолыжный домик? Жалко отдавать, когда столько вложено, а?

— В том-то и дело,— зажегся председатель.— Мы же ребятам твердили: закончим — будете кататься, сколько душе угодно. Многие за все лето даже в тайгу не выбрались, не говоря уже о маршрутах.

— Ты что-то еще хотел Ивану задать?

— Да с орехами кедровыми. Вчера группа вернулась, мы для лесхоза договаривались две тонны заготовить на семена и снаряжение закупить. Поизносилось все. А лесхоз отказывается, говорит — сами набрали достаточно, сдавайте в промхоз.

— Ну и?

— Промхоз-то возьмет, да вдвое дешевле. А мы всю сумму расписали, ничего не вычеркнешь. И собрали меньше двух тонн, народу мало ходило.

— Задачка... Но выход найдем. Кстати, о снаряжении: вот тебе и толчок для всех разговоров со спорткомитетом. Что имеет клуб от них? Ничего. И мы им ничем не обязаны, отчетность пусть сами себе добывают.

...Иван смеялся, морщась при этом, и Педро прижимал его к койке за плечи, чтоб не сильно трясся: двигаться ему запретили совсем. Наконец успокоился, сказал серьезно:

— Если ты это называешь идеями, Педро, твой гениальный кульман, боюсь, так и не пригодится. А я перейду к чтению одного из Дюма, потому что на большее уже не сгожусь. Насчет спорткомитета ты прав, пусть подумают о снаряжении для нас, а потом уж мы подумаем об отчетности для них. Хотя это и противно. Они за наш подвал достаточно премий получили... Дальше — поход на вершину. Славная затейка, сам бы сбегал, вспомнил молодость... Нет, ну как ты мог вообще подумать не пустить на горнолыжную базу горнолыжников?

— Так для себя строили...— растерялся Педро.

— Если клуб начал делать что-то д л я с е б я, разгонять пора,— отрезал Иван.— Для всех, кто хочет! Будем строить еще, пока всем не хватит.

— Красиво говоришь! — обозлился, в свою очередь, Педро.— Будто не знаешь, как это бывает: ты отделываешь, вылизываешь, чтобы чисто было, красиво, удобно, а придут варяги, которым бы только для себя покататься, изгадят все враз. А дрова? А охрана, пожарная безопасность, инвентарь? Это что, мы у них за прислугу будем? Извини, на это я не пойду, как хочешь.

— Зачем крайности, Педро? Хотят— отдайте ключи и всем им объясните. Что электричеством отапливать запрещено, что порядок должен быть идеальный. А там посмотрим. Если ты прав и они испортят дом — отберем на полном основании, по акту.

— Ладно, посмотрим... Ты про поход начал.

— А про поход надо помнить, что это не Казказ и не Тяньшань. Снег у нас рыхлый, нужны охотничьи лыжи с меховой подбивкой у заднего конца. А чтобы мех не стирался о ветки или наст, я обычно заглублял его на миллиметр... И передай, чтоб не вздумали орехи теперь по домам растащить. А то станут в позу, народ гордый. Проследи, пусть все в промхоз снесут.

В общем, проблем, о которых они могли говорить вечера напролет, хватало. И все же Ивану хотелось Дела. Он с тоской поглядывал на стоящий у стенки кульман конструкции Педро и спрашивал:

— Как там Михалыч? Может, что не получается? Посоветовался бы.

Иногда прибегали из КБ. Иван, пресекая разговоры о здоровье и очередных днях рождения, заставлял конструкторов в деталях и с иллюстрациями пересказывать последние работы по новому проекту.

— Вы смотрите, я же могу работать,— говорил на прощание.— Пусть ГИП имеет в виду.

Наконец в больницу явился сам ГИП и заворковал:

— Выручай, дружище, народ на уборке овощей, а у нас план горит. На тебя вся надежда!

Кончился визит тем, что койку неугомонного Травкина перевезли в одну из ординаторских, а на дверях вывесили неслыханный для больницы распорядок дня больного. В нем с указанием часов и минут значились пробуждение, туалет, работа, процедуры, завтрак, работа, обед, процедуры, визиты, ужин и снова работа до отбоя. Никто не знал, какие великие рычаги привел ГИП в действие, чтобы уломать медицину. Но главврач больницы стала ежедневно посещать Травкина, хотя визиты эти, Иван чувствовал, доставляли ей что угодно, кроме удовольствия.

— Вы уж не сердитесь,— оправдывался Иван.— Я бы мог и в палате, да людей жалко. Ни сна им, ни отдыха, а люди пожилые.

— Сами-то в отдыхе будто и не нуждаетесь? — строго заметила главврач.— Толкаете на преступление, учтите! Нарушение режима с ведома главного врача, неслыханно!

Но, к счастью, не мешала: ГИП был человеком в городе влиятельным и цену своим людям знал хорошо.

Когда Михалыч доставил для манежика все заготовки, начали сборку. Шуму и споров тут было не меньше, чем на аэродроме, когда начинают обкатку нового изделия. А записка Дона Педро тем временем все торчала в дверях его пустующей квартиры, и по ту сторону двери, затихая, все реже хрипло рыдал Тошка.

Однажды записка исчезла. А через пятнадцать минут — ровно столько занимает пеший путь от Педро до Травкиных — в прихожей их шумной квартиры раздался настойчивый и нежный звон серебряного колокольчика, отлитого однажды Иваном из старых ложек и подвешенного на пружине у самой двери.

— Педро, открой! — попросила Ольга из комнаты.

Но просить было не нужно. Споткнувшись о стойку манежика, только что установленную, он ее свалил и, холодея от предчувствия, открыл дверь.

— Привет,— улыбнулась Люся, морща носик.— Сюда можно? А ты разве живешь один? И тебе кошку не жалко бросать? А Ваня где, в больнице? Зря вы не дождались, я же вам сказала, будет лодка. Пришлось рассчитываться с ним натурой за зряшное беспокойство.

— То есть как — натурой? — еще больше похолодел Педро, оглядываясь на Ольгу и будто выпрашивая спасения.

— Ну, коньяк купила, пусть зальется.— Люся бросила сумочку на пол, извлекла из кармана куцей курточки два лимона и протянула Ольге вместо знакомства.— Я так и думала, наверно, детишки тут... Люся я. А вы кто?

— Я? Ольга.

— Вы Ивану жена будете?

— А что, не похожа? — Ольга улыбнулась гостеприимно, не без гордости демонстрируя свою полную и счастливую неспособность ревновать.

— Нет, я не к тому,— продолжала Люся, будто не замечая Педро.— Я бы не пустила. Ну, это вот, летать.

Маленькая Люська в комнате принялась скрипеть и хныкать, и Ольга заспешила туда, бросив напоследок:

— Это вам кажется, вот увидите. Тут такая сила... Извините, Люська скандалит.

— Пришла все-таки,— сказал Педро вяло, сжимая плоскогубцами собственный палец.

— Ты с ума сошел, что ли? — Люся выхватила плоскогубцы.— Как дети, честное слово... В общем, ты там написал, я и пришла. Я цепочку как нашла, еще и записку не читала, думаю: а вы ничего ребята. Заботливые и не хамы. Хоть и летаете. Это же надо было, сколько ползать, искать, я представляю! Генка вон выступал, выступал, а про цепочку и не подумал даже... Как Ваня в больнице?

— Ничего. Работает.

— В больнице?

— Ну да. Дома нельзя, процедуры специальные.

— Вы даете!.. Петя, ты там написал... Про квартиру, в общем. Ты не думай, я бы платила. Мож-

но ширму поставить или раскладушку на кухне. Я заплачу! Я в литейке работаю, на кране, денег хватает... В общаге ремонт, выгнали пока. А мне и неохота назад. Выпивают девчонки, что ни вечер, и все про шмотки, все что-то торгуют. А я не хочу. Вот как с лета, с похода того, так и не хочу. А еще вы... Я знаю, вы ведь из туристского клуба? Я давно хотела прийти, да как? Ни с того, ни с сего, что ли: здрасьте, я ваша тетя?

— Почему тетя? Пришла бы как все, чудачка. Мы только рады.

— Петя, я приду. И на горных лыжах хочется. Страшно только... Правда, я скоро уеду, кончу вот курсы — и в моря... Мне до весны только, я буду платить, сколько скажешь...

Голова у Педро кругом пошла от всей этой несусветицы. Более нелепой девицы он, сколько помнил, не встречал. А помнил Педро немало. И более очаровательной не встречал тоже. Все, что она говорила, вынести было невозможно, и остановить он не видел способа. Не затыкать же рот рукой! «Впрочем, почему рукой?» — подумал он. Прижал ее к себе и стал целовать долго, упоительно. Она не отстранялась, но и не отвечала сперва. Руки ее коснулись ненароком его спины, рук, потом легли на плечи легко и покорно.

Он с трудом оторвался от ее губ, восторженно глядел в кошачьи глаза на конопатом лице, ощущая над головой призрак Голубого Кондора.

— Ведьма ты моя! Еще слово про деньги и вместо поцелуя получишь тумак, ясно?

— Ясно,— просто сказала она.

— Пойдем, а то мне надо манеж доделать. Для Люськи.

— Она тоже Люська? Хочу поглядеть.

— Успеешь. Это в честь тебя.

— Правда?

Педро впервые увидел в ее прозрачных глазах живую, пронзительную радость.

— Помоги Ольге в кухне, она объяснит, что делать. Или ты устала?

— Я устала без тебя,— нахально ответила она.

— Чего же не шла?

— Чтобы я так вот и пошла в дом к чужому мужику? Чего захотел! — Люся откровенно возмутилась, а Педро, хохоча, умчался в комнату, где Митька уже занес над своим пальцем угрожающий молоток, наивно рассчитывая попасть в стойку.

В этот вечер в больничной палате Ивана Травкина был праздник. Люся ожесточенно зевала, а двое неутомимых инженеров обсуждали, как лучше организовать туристов в ближайшие выходные на уборку картошки с полей. Когда Люсина голова окончательно опустилась на грудь, внезапно появилась профсоюзная богиня. Она вплыла в палату торжественно-белая, как лайнер, сопровождаемая напряженным ароматом апельсинов, духов «Индийский сандал» и кипучей профсоюзной жизни.

— Какие у нас гости! — искренне обрадовался Иван.

Богиня просияла и зарумянилась.

— Как ты здесь, хулиган несчастный? О семье не думаешь, негодник!

— Зато думаю о родном коллективе. И даже помогаю делом.— Он кивнул на кульман.

— А я к тебе с хорошей новостью, Травкин,— сказала богиня.— Мы наконец пробили путевку на курорт, как раз для таких, как ты. Так что готовься, с врачами я договорилась.

— Все равно не выпустят скоро. Да я и привык,— вяло сказал Травкин.— Без работы меня и тут не оставляют, спасибо ГИПу. Кстати, а где обещанная путевка для Михалыча — для Надеждина из гальваники? Ты мне обещала? Вот он и поедет.

— Травкин, я лицо официальное, и решение месткома окончательное: путевку дать тебе.

Иван поглядел в окно. Там из серого, гнетущего неба медленно и тихо сыпался крупчатый снег. Первый в этом году. Он ложился на землю, накрывая белым своим покоем все, что еще недавно имело цвет, запах, что двигалось и жило.

— Педро, дай ручку и бумагу,— сказал Иван.

Под бдительным взглядом профсоюзной богини он написал: «...От путевки отказываюсь. Требую выделить товарищу Надеждину...»

— Держи.— Он сложил листок и протянул богине.— К тебе не придерутся. И еще есть просьба. Будешь приходить, сделай маленький подарок, для меня бесценный: не проявляй заботы, ладно? Никакой. Ты мне, например, нравишься как женщина, а твоя забота... она просто убивает страсть во мне. Ты вообще-то заботься, только не обо мне...

Чего только с нею, бедняжкой, не случилось в несколько секунд! Гнев, смущение, изумление, раздумье... Нет, всего и не прочесть было в лице. Она молча повернулась и процокала к выходу.

Иван с тревогой глядел ей вслед. Впервые подумалось: а кто дает нам право так вот судить? Можно ли с этакой легкостью разделить единого человека на человеческую добрую искренность и служебное рвение, взвесить, сравнить половинки и вынести приговор? Да если бы и рвение... Кто знает, быть может, для нее — с собственной наверняка изломанной судьбой, до которой никогда и никому нет дела, тем более романтикам-туристам — для нее эта забота о судьбах мероприятий и есть способ чувствовать себя счастливой...

Люся дремала на стуле в сторонке, Педро похохатывал, стараясь не потревожить ее, а Травкин смотрел и смотрел в окно. Ему почему-то совсем не было смешно, хотя Педро смеялся всегда очень заразительно, а забавная походка богини отчетливо стояла перед глазами. Походка женщины, которой нужно так мало, лишь кроха обыденной благодарности за внимание...

Иван смотрел в окно и видел сначала только серое небо. Но потом стал наблюдать за полетом снежинок. Он выбирал одну, и вместе с нею, ощущая за спиной могучие крылья Голубого Кондора, плавно летел вниз, накручивая виражи. Снежинки кружили и кружили, будто никогда и не суждено им пасть на землю белым покрывалом для вечного сна...

— Спит, притомилась,— говорил Педро.— Надо бы, знаешь, приспособить как-то, чтоб лежачего человека на велике везти.

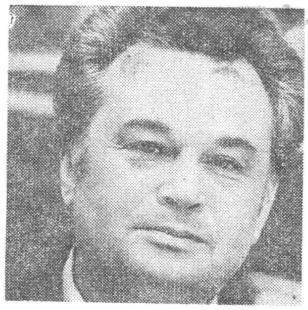
— Хорошо бы,— согласился Иван, не отрывая взгляда от окна.

— Может, специальную тележку? Или лучше раму удлинить. Хорошо, когда она... человек будет рядом.

— Конечно, тогда лучше раму.

— Придется такси брать, спит совсем... Из чего бы ширму поставить в комнате? Хотя — зачем ширма? Наверно, не понадобится...

— Думаю, нет, Педро. Кроме крыла, человеку ничего не понадобится. И знаешь, еще я понял одну штуку. Раньше казалось — сверху все видно куда лучше, чем когда по земле ходишь. Может, я мало лежал? Лежа, оказывается, еще виднее. Все же люди рядом...



ОЛЕГ ШЕСТИНСКИЙ

☆☆☆

Размышляя о пользе Отчизне,
мы поймем ли в негаданный час,
что Отчизне ни смерти, ни жизни
так, впрямую, не нужно от нас!

Об одном лишь мечтает в печали,
видя игры своих сыновей,
чтоб они, возмужав, осознали
цену чести и воли своей.

☆☆☆

Азербайджанские други
запросто, невзначай
братски раскинули руки
и повели меня в рай.
С озером, древом железным,
кликами лебедей
и со свеченьем чудесным
вечнозеленых полей.
Пусть повели хоть на малость,—
на день, а может, на два,
но ведь на сердце осталась
райская синева.
Может быть, мне не хватало
в жизни лишь краски одной,
чтобы восторжествовало
слово, рожденное мной.

В Индии

Здесь лотосы, слоны,
и смотрят, не мигая,
с зеленой вышины
два мудрых попугая.
Павлины, серебро,
дразнящий чад жаровен...
Все просто, но хитро.
Мир явен, но условен.
И удаляясь вспять
в своей судьбе превратной,
я вспоминаю мать
среди страды блокадной.
Там скудный хлеб деля,
натертый долькой лука,
вдруг молвила:— Земля
есть в знойном царстве юга.
Там лотосы, слоны,
и смотрят, не мигая,
с зеленой вышины
два мудрых попугая.
Зачем в смертельный час
иссохшими губами
мать ткала странный сказ
с цветами, голубями!
Фантазию напрячь
старалась безысходно,
чтоб мальчика отвлечь
от пустоты голодной.
И мне в минуты сна
тот край предстал мечтою,
где сплошь — мешки пшена
и варево с лапшою...
Мы выжили. Потом
об Индии забыли.
Вкушали хлеб с вином.
Свой путь земной торили.
Но как-то вдруг опять
смогла мечта присниться.
— Ты бы хотела, мать,
туда, где Ганг струится!..
Там лотосы, слоны,
и смотрят, не мигая,
с зеленой вышины
два мудрых попугая.
Но мать, умом сильна,
лишь улыбнулась сыну...
Как каравай, луна
катилась на равнину.
Давно гранитный крест
над долей материнской...
А я иду окрест
моей землей индийской.
Здесь лотосы, слоны,
и смотрят, не мигая,
с зеленой вышины
два мудрых попугая.
Я говорю — «моей»,
поскольку так ведь близко
все, что от матерей,
от боли материнской.

Сверчки

Жили со мною сверчки
в доме одном.
Были сверчки — трубачи,
были сверчки — скрипачи
в доме одном.
В ноты смотрели сверчки
и надевали очки.

Полночь наступит — шуршат,
к дому летят издали,
выплеснут целый ушат
звуков полдневной земли.

Что за чудесные сны
снились в том доме ночном,—
были, как сказки, красны,
были, как притча, с умом!

Кажется, не со сверчком
ночь проводил в темноте —
с огненно-рыжим конем,
мчащимся к новой мечте.

Грянут лягушки окрест,
пчелы подхватят без слов...
И несравненен оркестр
неутоленных сверчков!

Но, гигиеной кичась,
с газом сдружась выхлопным,
стали сверчков в лютый час
стравливать зельем одним.

Давней ночною порой
скрылись на веки веков...

Красную книгу открой.
Нет ли там наших сверчков!

☆☆☆

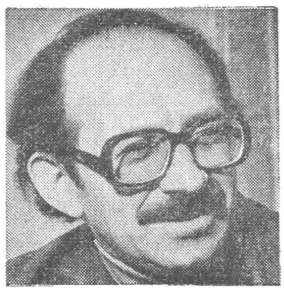
Письма женщин, рожденные в страсти,
я б в огромном музее собрал,
чтобы люди, хотя бы отчасти,
изучили их нежный накал.

Сколько ж стоит неистовство это,
если росчерком поздним легла
беспристрастного времени мета:
«Разлюбила. Ушла. Предала».

Сергею Давыдову

Приезжай, посидим, как бывало,
за широким и добрым столом.
Были други, а вот их не стало,
лишь остались с тобой мы вдвоем.
Мы с тобою всех песен не спели,
не отмыслили, не отцвели...
А друзей уже нет... Неужели!!
Что за дикая прихоть земли!
Что за горькая прихоть природы,
разлучившая нас навсегда
с теми, чьи дорогие заботы
нам светили порой, как звезда!
С жалобою куда нам податься!
Лишь к родителям, но нету их.
Мы ведь дети эвакуаций,
дети голода, дней фронтовых.
Мы еще не умели влюбляться,
песни петь при высоких кострах,
а уже научились прощаться
и годков хоронить впопыхах.
Нынче мальчики в книжках читают
про блокадные времена,
а ведь нас-то те дни догоняют,
догоняет и косит война
тем безжалостным недоеданьем,
той немыслимою простотой
в приобщении к страшным страданьям,
пережитым любимой страной.
Мы с тобою ведь с детством не знались,
нынче мало кто это поймет.
Разве может, не выкинув завязь,
яблоня породить сочный плод!
Ты пойми: есть одно беспокойство,—
спят товарищи в лоне земли,
но сердец их высокие свойства
не куда-то, а к нам перешли:
их надежды, раздумья, заветы,
их презрение к подлецам,
песни их, что остались не спеты,
нежность к родине, отчим полям.
Приезжай, не замкну я ворота,
чтоб без стука вошел в час любой...

И откажемся мы от чего-то
и чего-то намыслим с тобой.



ДАВИД СИМАНОВИЧ

☆☆☆

Утро. Припять. Бабы. Солнце.
Детство проклято войной.
Это все судьбой зовется —
не чужой, моей судьбой.
Эшелоны. Ветры. Лица.
Жизнь в тылу, войне под стать.
Как смогла душа пробиться,
чтоб самой собою стать!
Предвечерье. Предосенний
свет на радость и беду.
Через время я со всеми
рядом — в даль мою иду.

☆☆☆

На земле прожить под сияньем млечным,
как себя пришить к этим далям вечным.
И пылинкой стать Родины отныне —
чтоб не оторвать никакой чужбине.

☆☆☆

А солнце повернуло к лету —
и на незримом рубеже
уже на каплю больше света
и во вселенной и в душе.
Как будто солнечная сила
возносит до своих высот
все, что с душой происходило
и что еще произойдет.

Осень 1945

Блестели рельсы под луной.
А он дремал на третьей полке
и слушал, как в тиши ночной
у полустанка выли волки.
Он их не видел из окна,
хоть знал: совсем не за лесами,
а рядом все еще война
наполнена их голосами.
Тянулся долго эшелон
и вез его в родные дали,
а волки знали свой закон,
все выли и не понимали,
что возвращался он домой
и что в душе, глуша все беды,
играл оркестр духовой
во имя мира и победы



МИХАИЛ АНДРОНОВ

Кружилась ласточка

Кружилась ласточка одна
С залетными стрижами...
А мне припомнилась война
С другими виражами.
Звезда со свастикой, кружась,
Сошлись в воздушном бое.
А рядом Брест горел, дымясь,
В то утро фронтовое.
Был «ястребок» в бою подбит,
Но он, горящей птицей
Мелькнув, таранил «мессершмитт»
Над самою границей.
И оба рухнули, сгорев,
И Брест, взметая знамя,
Рождая ярость, боль и гнев,
Пошел на бой сквозь пламя.
Мне снова вспомнилась война
С крутыми виражами...
А в небе ласточка одна
Кружилась со стрижами.

Поэт

Поэт читал стихи надсадно, глуховато,
И слушал полк Твардовского в лесу.
С проснувшихся полей тянуло прелой мятой,
Кусты роняли свежую росу.
Поэт читал стихи и делал остановки,
Смотрел то вниз, то вверх на облака,
Смотрел, не замечая маскировки,
В бинтах лежала правая рука.
В стихах жила война, звучала боль утраты,
Великий стон истерзанной земли...
И думали о Родине солдаты,
А в хмуром небе плыли журавли.

Война

Война, война...
Я помню все проселки,
Которые я с боем прошагал.
Во мне, война,
Живут твои осколки,
Ношу под сердцем вражеский металл.
Война, война...
Во мне твои раскаты,
И скорбь твоя, и горечь вдовьих слез.
Всегда со мной и дымные закаты
И тишина обугленных берез.

Война, война...
Во мне твои тревоги
И кровь твоя в пожарах и в пыли.
И те бойцы, что на твоей дороге
Упали и подняться не могли.

7-го ноября 1941 года

В наш ноябрьский праздник в столице
Грохотали могучие танки,
И приветствовал нашу пехоту
С Мавзолея суровый Главком.
Через Красную Площадь — к Берлину
Через Красную Площадь — к Победе!
Через Красную Площадь — к Берлину
Шли войска, полк шагал за полком!

Было трудное время, товарищ!
Было страшное время, товарищ!
Много было потерь и трагедий,
Продолжалась большая война.
Через Красную Площадь — и к Фронту!
Через Красную Площадь — к Победе!
Через Красную Площадь — к Берлину
Шла великая наша страна.

Помнит Родина, Армия помнит,
Как холодным ноябрьским утром
По Москве под густым снегопадом
Шли советские наши войска.
Через Красную Площадь — и к Фронту!
Через Красную Площадь — к Победе!
Через Красную Площадь — к Берлину.
И дорога была далека.

С линии огня...

Морской десант громил врага на суше,
И помню я, как с линии огня
Ты сквозь пургу на старой волокуше
Тащила полумертвого меня.

Тащила в тыл к хирургам медсанбата,
Стирая пот с усталого лица,
Тащила, словно собственного брата,
Израненного русского бойца.

Перекур

Шуткой радуя друг друга,
Собрались фронтовики,
И кисет идет по кругу,
Вьются сизые дымки.
Говорок в окопе псковский,
Вологодский и тамбовский.
Сыплет шутки балагур.
Юморок, как воздух, нужен,
С юморком гвардеец дружен.
Перед боем — перекур.



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

Воспоминания об отце, работавшем на фруктовом складе

Это было так давно,
Когда я и собачка моя
За оркестром бежали по городу.

Это было так давно,
Когда деревенские гости
К нам домой приезжали на лошадях.

Это было так давно,
Когда летчики над городом
Еще высовывались из аэропланов.

Это было так давно,
Когда женщины в ведрах таскали
Урожай дождевой воды.

Это было так давно,
Когда саранча
Еще казалась коричневым кузнечиком.

Это было так давно,
Когда в жаровнях осени
Еще лопались жареные каштаны.

И только фруктовые лавки порой,
Только фруктовые лавки
Тобою пахнут, отец мой.

Любитель книг

Любитель книги
Украл книгу у любителя книги.
А ведь в каждой книге любителя книги,
В том числе и в украденной книге,
Говорилось:— Не укради.
Любитель книги,
Укравший книгу у любителя книги,
Разумеется, об этом знал.
Он знакомился с этой истиной в сотнях книг,
В том числе и в книгах,
Не украденных у любителей книг.

И авторы этих замечательных книг
Умели каждый раз упомянутой истине
Придать новый, свежий оттенок,
Чтобы истина не приедалась,

И никто, как любитель книг,
Тот, что украл книгу у любителя книг,
Не умел ценить тонкость
И новизну оттенков,
Которыми владели мастера книг.
Собственно говоря,
Поэтому он и был любителем книг.

Однако, ценя тонкость и новизну оттенков
В изложении этой истины,
Он как-то забыл о самой истине,
Гласящей простое и великое:— Не укради!

Что касается меня
Во всей этой истории,
То я лично интеллигенции
Не собираюсь выдавать индульгенции.

☆☆☆

Бывает: боль твоя наружу
Не может вырваться никак.
И что-то смутно гложет душу,
И на душе тревожный мрак.

Когда во рту больные зубы,
Вот так какой-то защемит,
Гадаешь, поджимая губы,
Не зная сам, какой болит.

Когда ж среди корявых дупел
Болящий зуб, как смутный звук,
Почуял, языком нащупал
Его пульсирующий стук,

Боль не стихает. Но от века
Страшится хаоса душа.
И даже в боли человеку
Определенность хороша.

☆☆☆

Ушедшей женщины тиранство
Превозмоги, забудь, замкнись!
Опустошенное пространство
Упорная заполнит мысль.

Из прожитого, как из глыбы,
Глядится мысль в грядущий день,
Но грустные ее изгибы —
Живой предшественницы тень.

Промчатся годы, и другая,
Другая женщина уже,
Мысль, словно воду, вытесняя,
Располагается в душе.

И смех ее и бедный лепет
Нам озаряет каждый день,
Но красоты духовный трепет —
Той, побежденной мысли, тень.

И лишь поэт, веками маясь,
Марает скорбную тетрадь,
И мысль и женщину пытаясь
В одном пространстве удержать.



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

☆☆☆

Я думал — сокращу тропу,
и резко повернул к болоту,
но вижу — влажную тропу
уже примял тяжелый кто-то.

Быть может, зверь, быть может, лось
пошел, сообразив, левее...
Ну, словом, существо нашлось,
что человека не глупее.

☆☆☆

Вставала из лесу заря,
но я корил себя, терзаясь,
что проворонил глухаря,
пока в тетради делал запись,

пока хотел запечатлеть
какую-то привычку птичью —
внезапно встрепенулась ветвь,
спугнул и упустил добычу...

Что делать! Надо проиграть,
чтоб отыграться в главном деле...
И все ж — будь проклята тетрадь,
опять уведшая от цели!

☆☆☆

Покамест ровесник радеет
о смысле чинов и наград,
над свежими копнами рдеет
вполнеба холодный закат.

Я вырвался из притяженья
снедающих душу забот
и слушаю без напряженья
напев прибывающих вод.

Уже не мечтаю о чуде
любви или дружбы навек —
лишь были бы люди как люди,
а с ними и я человек.

Две чайки кружат над обрывом,
должно быть, в любовном бреду...
Я все же родился счастливым
и сам себе выбрал звезду!

Мирская тщета быстротечна
и сходит, как в мае вода...
Пусть что-то уходит, а нечто
приходит в тебя навсегда...

☆☆☆

Поморский черный крест
на берегу крутом
стоит, грозя окрест
раскольничьим перстом.

Да стая белых птиц
повисла в синеве,
да небо без границ,
да лодка на Двине...

☆☆☆

Покой и тишина...
Слыхать, как талый снег
ползет по берегам,
шурша и осыпаясь,
и как ручей стремит к реке журчащий бег,
и как свистит кулик, с ручьем перекликаясь.

Где каменная падь,
где золотая гарь —
я отложил ружье и к древу прислонился,
и что-то бормочу,
как молодой глухарь,
который надо мной на елке притаился...

☆☆☆

Бормочет черная вода
на перекате под обрывом
о чистом времени, когда
ты был свободным и счастливым.

Проснешься — словно бы кого
по имени окликнул кто-то...
Прислушаешься — никого,
лишь мерный гул водоворота.

Да ветра шум, да сосен стон
то ширится, то угасает,
как будто душ любимых сонм
в ночной стихии обитает,

как птичий крик, как шум огня,
как шелест, что прошел по кущам...
Но что им дела до меня,
им, неизвестно где живущим!

И, отзываясь голосам
иль звону трав заиндевелых,
ты забываешь, где ты сам,
в каких мирах, в каких пределах...

☆☆☆

Я счастлив был в те дни, когда
сливался с трепетом осины,
с дыханьем трав и хрустом льда,
с бесшумным лётом паутины.

И рокот черного ручья
мне заменял людские речи...
Вся жизнь — моя или ничья,
в те дни, уплывшая далече!

ВЛАДИСЛАВ ТИТОВ

ПРОХОДЧИКИ

РОМАН

Журнальный вариант

Глава восьмая

На первый отпал по новому паспорту буровзрывных работ собралось начальство участка. По инженерным расчетам все выходило ладно, но как получится на деле? Не выбьет ли мощный взрыв больше расчетного количества арок, не повредит ли катастрофически кровлю, успеет ли вентиляция за необходимое время проветрить забой, не выбросит ли усиленный заряд породу в закрепленное пространство, на рельсы,— уйма неясных проблем волновала шахтеров, собравшихся в этот поздний час под землей.

Наконец в забое глухо ухнуло, штрек вздрогнул, загустелый воздух качнулся, лязгнули вагонетки, лампа под люком заколебалась, сбивая зыбкие тени, во все сечение выработки, прямо на людей клубами катилось темно-коричневое облако дыма и пыли. Оно двигалось бесшумно и уверенно, и было что-то жутковатое в этой неотвратимости замкнутого пространства. Дутов торопливо расстегивал куртку, последняя пуговица не поддавалась, он рванул ее с силой, дернул из брюк подол исподней рубахи, закрыл рот и нос.

Облако сгущалось у кровли, лениво закручивалось в тягучую спираль. Свет коногонок тонул в ней, как в вате. У люка она сошлась со свежей струей, вытянулась в ленту, ускорила бег и с шорохом юркнула в люк.

Нижняя часть облака протекла под вагонетками, настигла проходчиков, шибанула в нос вонючим смрадом. Плотников достал платок, закрыл им нос, Кошкарев и Михеичев молча отплевывались. Дым постепенно рассеивался, шахтная вентиляция работала исправно. «С этой стороны осечки нет,— подумал Плотников, чуть повеселел, но ненадолго, самое главное было впереди, там, в забое.— Грохнет арок восемь — пиши пропало. Мефистофель с потрохами съест».

Иван Емельянович потужил, что нет Мащенко, мается бедняга в больнице, и без его поддержки ему, Плотникову, плохо. Лава хоть и перекрыла план почти вдвое и дела идут там против ожидания без осложнений, но сидит занозой вот этот штрек. Плотников спрятал платок, коротко скомандовал:

— Пошли, ребята!

«Будь что будет».

Михеичев шагнул вперед, заторопился. По штреку еще полз вонючий дым, но с каждым шагом зловоние уменьшалось. Надувшиеся вентиляционные трубы на всю мощь качали свежий воздух. Бригадира догнал Федот Изотович Чернышев, с другой стороны торопливо топал Семаков. Иван Дутов никак не мог на ходу заправить рубашку, соскакивали брюки.

Они подошли к забою и как по команде остановились.

— Колй тебя в дых! — удивленно чертыхнулся Федот Изотович.

— Дак...— Михеичев запнулся.— Дак это же...— Ему не хватало воздуха.

— Арки-то на месте стоят,— равнодушно сказал Гаврила, подошел, похлопал по ним ладонью.— А куда им деться?

Рисунки П. Караченцова.

Окончание. Начало см. в №№ 8—9 за 1982 г.

— Дак это же поразительно! — Михеичев вздохнул полной грудью, отчего все лицо его растянулось в улыбке, будто после пробежки по морозцу он стал под горячий душ, а Гаврила провел ему теплой мочалкой по спине.

Ровным бугром, словно аккуратно ссыпанным из самосвала, лежала, дымясь, порода. В забое, почти точно по сечению, зияла черная дыра и в свете коногонок виделась намного длинней той, привычной, прежней. На кровле не было ни одной трещины.

Семаков улыбнулся, хотел что-то сказать, но слово вертелось около губ, и он никак не мог с ним совладать, чтобы превратить в членораздельные звуки и выпустить наружу. Иван Емельянович деловито тер лоб платком, размазывая по нему ровный слой грязи.

— Рекорд сам в руки прет! — воскликнул Игнатов, с силой ударив Михеичева по плечу.— Как думаешь, Васильевич?

— Поживем — увидим.

В одну из смен в забое скоростного штрека получился небольшой затор. Не сходился с графиком цикл проходческих операций. Очередная смена была вынуждена доделывать хвосты предыдущего звена. Это занимало хоть и мало времени, но проходчики выбивались из ритма, и подготовительные операции для следующего цикла непроизводительно отнимали время.

Бригадир нашел выход. Рассек две смены на три. Вклинил в работу двух звеньев третье полузвено, которое и явилось связующим в графике проходки и должно было ликвидировать этот хвост, это бельмо на глазу. Выбор пал на Виктора и Вадима.

Они пришли в забой, сняли самоспасатели, отстегнули фляжки с газированной водой и положили все это на подножку породопогрузочной машины. Витька хотел было отогнать ее подальше от забоя, но тут же передумал. «Когда будем ставить арку, с машины удобнее загонять верхняк. Пусть стоит».

Забой был тщательно очищен от породы, рельсы наращены, и слева, в полуметре от последней арки, темнела ямка для следующей стойки.

«Не теряли ребята времени даром». Тропинин хозяйским глазом окинул место предстоящей работы и остался доволен. На всякий случай обстукал кровлю клеваком — потолок звенел монолитом. «Интересно, сколько тут тонн? А если до самой поверхности?»

Он вдруг представил себе луг, тот, что был за балкой, большой, просторный, и маленькие, будто карликовые, ромашки на нем. Витька даже удивился. Та яркая безбрежность на поверхности никак не совмещалась с сырым, холодным мраком штрека, и он тщетно пытался найти что-то общее, что, на его взгляд, должно было соединить, протянуть хоть какую-нибудь ниточку от бурлящей на-гора́ жизни к той, какая давно отшумела и потухла.

Он подумал, что весной надо непременно сходить на луг вместе с Ларисой и нарвать большой букет тех маленьких ромашек. «Лариса...»

Яркость дня там, над его головой, налилась ослепительной радугой. Вот она бежит по зеленой траве, и огромное солнце, заполнившее все пространство, играет в складках ее платья, путается лучами в черных волосах, отражается в глазах, и все вокруг звенит каким-то тревожащим душу, сладко-пьянящим звоном.

«Витя, ты любишь меня?»

Трелями уходят к солнцу птицы, наклоняется земля, и Витька бежит под горку, никак не может остановиться и чувствует, что сейчас подпрыгнет и полетит.

«Витя, я люблю тебя. Слышишь, люблю!»

На прошлой неделе Витька впервые поцеловал ее.

«Зачем ты, Витя?» — дрогнувшим голосом сказала она.

«Я люблю тебя, Лариса! Очень люблю! Я не могу жить без тебя, милая моя».— Он опять приник к ее губам, она обняла его за шею и всем телом подалась к нему.

С неба сыпался снег, за углом мерцал далекий фонарь, почти рядом скрипнули чьи-то шаги, но то был иной, чуждый им мир, неощущаемый и невоспринимаемый.

«Лариса, ты любишь меня? Скажи, любишь?»

Она опустила голову и еле заметно кивнула.

«Нет, ты скажи: люблю».

«Люблю»,— прошептала она.

«Еще, еще, еще!» — горячо просил Витька, целуя ее лицо.

«Никакой совести нет у этой молодежи»,— скрипуче проворчал женский голос.

«Сама молодой не была, что ли? — урезонил мужской голос.— Забыла, как это делается. Давай напомню!»

Мужчина гикнул, попытался обнять закутанную в шаль спутницу, но та грубо оттолкнула его.

«Иди, старый черт! Завидно стало?»

Витька взял Ларису за руку, и, вздымая снег, они побежали. У школы Лариса остановилась. Витька отдышался, подхватил ее на руки и закружил.

«Хочешь, я на весь поселок прокричу, что люблю тебя?»

«Витя, я верю».

...Около забоя с кровли тоненькой струйкой сбегала вода. Тропинин поплевал на руки и взял топор. Острие хищно сверкнуло в луче света, он с удовольствием тронул лезвие пальцем. «Точно! Бриться можно».

— Вадик, смени коронки, я обрублю опору.

— Слушай, Витька...— испуганным голосом проговорил Гайворонский.— У нас нет запасных рельсов.

— Зачем они нам?

— Нам-то они не нужны, а как следующая смена работать будет? Машина до забоя ковшом не достанет.

— Как нет? Почему нет? — Тропинин все понял и опустил руки.

— Очень просто! Выдвижные, видишь, на пределе, а новых ни одного. Забыли доставить. Ребята без этих железяк смену ухлопают.

— Ты что, обалдел?!

— Да ты вон куда посмотри! — разозлился Вадим, кидая луч света в сторону.— Пустой след от рельсов остался. Нет, я этого так не оставлю! — Вадим метнулся вдоль забоя, подскочил к Витьке.— Что ты стоишь, как истукан! Нет, этого оставлять так нельзя. Сплошное вредительство! Я к Кулькову... Все, точка, иду звонить! Ох, я ему сейчас речь скажу! Ох, какую я ему речь скажу!

— Кульков не обязан доставлять нам рельсы.— Витька поник.

— Как так «не обязан»? А «Прожектор» для чего создавал? Это его прямая обязанность — следить за своевременной доставкой материалов! А он что?.. Баклуши бьет!

— Да замолчи ты, балаболка! — Виктор что-то соображал.— Пока туда-сюда будем мотаться, смена закончится. За час-два рельсы теперь сам архангел не доставит. Самим надо что-то предпринимать, и немедленно!

— Может, домну с прокатным станом соорудим и это... сами...— Вадим делал непонятные жесты руками.

— Топор ты мастак отыскать, а где раздобыть пару рельсов, шариков не хватает?

— Давай, мыслитель, изобретай лисапет, я побегу к телефону!

Задыхаясь от злобы, оскользаясь на мокрых шпалах и кляня комсомольского секретаря на чем свет стоит, Вадим бежал к телефонному аппарату, расположенному метрах в десяти от погрузочного люка. Не переводя дыхания, рванул из зажимов трубку, дунул в нее, грохнул кулаком по рычагу.

— Соединяю,— пропела телефонистка.

Вадиму показалось, что она издевается над ним, умышленно медленно перетыкает штепсели и нарочно растягивает слова.

«Куда ей спешить. Тепло, светло и не капает над головой!»

— Василий Иванович? — спросил Вадим.

— Да-а-а-а, слушаю-ю-ю-у...

«И этот прохвост дремлет в кресле!»

— Так вот, разлюбезный! — Мысли вдруг покинули его голову. Парень стиснул трубку, как горло хорька.— Я немедленно выезжаю на-гора́ и набью тебе...— Он переложил трубку к другому уху.

— Кто говорит? — властно гукнуло около уха.

— Какого хрена «Прожектор» спит?

— Какой «Прожектор»? Кто у телефона?

— Ты что думаешь, ППМ—это лисапет и может обойтись без рельсов? — Дыхание у Вадима восстановилось, он взял себя в руки. «Скажи спасибо трубке, а то я бы тебя приласкал».

— Вы толком объяснить можете?

— Толком говорит Гайворонский. Мы спустились в забой, а для следующей смены нет рельсов.

— Она еще не наступила. И какое тебе дело до этого?

Вадим снова ощутил приступ злости и опять переложил трубку.

— ...три дрына!..

— Что, что?

— Рекорд лопнет!

— Может, ты, Гайворонский, предполагаешь, что я спущусь в шахту и поднесу вам рельсы?

— Тебя сюда не пустят. Зачем «Прожектор» создавали? — Он внезапно почувствовал, что напрасно горячится, зря бежал, звонил, тратил время и трепал нервы.

— «Прожектористы» безответственно подходят к комсомольским поручениям. Мы обсудим их на заседании бюро. Кто возглавляет «Прожектор»?

— Козьма Прутков.

Трубка помолчала.

— Несолидно, Гайворонский... Положение сложилось серьезное, а ты шутками забавляешься. Не по-комсомольски это. Ты думаешь, что у меня только и забот — ваш штрек? Ошибаешься.

— Я буду звонить главному инженеру!

— Звони. Это по адресу.

— Я доложу Егору Петровичу!

— Гайворонский... Послушай, Гайворонский! Ты недопонимаешь...

— Я сейчас в ЦК позвоню!

Телефон, как голодный волк, клацнул зажимами. Вадим повернулся, чтобы идти в забой, но остановился и прислушался. Навстречу шел Виктор. Молча приблизился к телефону, вытянул трубку.

— Диспетчера мне. Максим? Говорит Тропинин с Первого Запада. Нам не доставили рельсы. Не подскажешь, где они сейчас находятся? Ясно. Понятно. Спасибо.

Витька повернулся к Вадиму.

— Коза с рельсами стоит на плитах, у бремсберга. Айда!

— Мы не успеем обурить забой.

— Толку мало, если и успеем.

— Семаков где? — заупрямился Вадим.— Это его дело.

— Может, поищешь? Вадик, не тяни резину. Мы бездарно теряем время.

Они бежали по темным лабиринтам горных выработок, чертыхаясь и кляня тех, кто по долгу службы обязан был обеспечить их всеми необходимыми материалами. Но так уж повелось, что обязательно о чем-нибудь забудут, упустят из виду мелочь, а от нее по цепной реакции пойдут неувязки и разнобои, которые закончатся срывом графика проходки.

Случалось это постоянно. Ребята не хотели мириться с таким положением дел, но слишком много звеньев тесно переплеталось между собой в сложном хозяйстве шахты. Постоянно хромала дисциплина, не хватало знающих дело шахтеров, заедала текучесть кадров, когда люди метались с одного участка на другой, с шахты на шахту в поисках заработка покрупней, и поди отрегулируй все это, если один месяц лава качает уголь, как прорва, потом наткнется на сброс пласта или иное геологическое нарушение и забуксует, затопчется на месте, оборвется угольный поток, лопнет план, упадут заработки, и, если это надолго, попробуй удержать на участке любителей жирных получек.

...Коза с рельсами стояла на плитах, в самом конце длиннющего состава с арками, шпалами, шлангами, вентиляционными трубами, крепежными тумбами, инертной пылью, вагонетками, набитыми разнообразными материалами, необходимыми для работы под землей. Рядом рельсовые пути были заставлены вагонами с породой, углем, изношенным и вышедшим из строя оборудованием — всем тем, что ожидало своей очереди для выезда на-гора́. Меж вагонеток по свободным путям сновал электровоз, бубнил в колокол, сотрясая воздух, бил по буферам. Наверное, одному машинисту был понятен этот беспорядочный порядок, этот винегрет хаотически разбросанных составов и отдельных вагонеток.

— Тю-ю-у...— Вадим присвистнул.— Тут к концу смены не вызволишь нашу козу.

— Слушай, друг, помоги.— Витька подступил к плитовому.— Подцепи козу с рельсами на Первый Запад. Пропадаем.

— Все пропадают или пропадут без нас,— равнодушно ответил немолодой, с помятым лицом шахтер.

— По-человечески прошу, а...— умолял Витька.

— Все люди—человеки. Всем нужно побыстрее. А у меня свой порядок. Всему свой черед.— Плитовой цеплял к канату партию вагонеток с гидравлическими стойками для комплекса.— Их небось тоже ждут не дождутся.

— Друг, эти стойки везут в нашу лаву. Они будут ни к чему, если мы штрек запорем.

— Запорете — ответите. Стоек не будет, уголька не станет. Без его, родимого, денюжек никто не заплатит. Вразумел? — Шахтер дал сигнал к отправлению, трос напрягся, и состав, вильнув последним вагоном, скрылся вверху, в черной пропасти бремсберга.

— Чего с ним рассусоливать, едри те три дрына! — вмешался Гайворонский.— Пошли!

— Ну-ну... Погорячитесь трошки, легче станет,— невозмутимо бросил плитовой.

— Да пойми ты!..— сокрушался Витька.

Его резко дернул за рукав Вадим.

— Айда к машинисту! Подкатим под плиты козу, никуда этот Аист не денется!

Плитовой своей длинной шеей, высокой каской на голове и далеко вперед оттопыренным глазком коногонки действительно напоминал аиста.

Машинист электровоза оказался сговорчивым парнем. Ловко маневрируя по подъездным путям, он подобрался к злополучной козе сзади, с маху подцепил ее и, гремя уложенными в ней рельсами, поволок к плитам. Растолкал состав порожняка, приткнул груз к очередной партии.

— Самовольничаешь, Коля,— ровным голосом сказал Аист.— Саня Когут шутки не обожает.

— Доложишь?

— Как знать...

— Свои люди, сочтемся,— ответил Николай.— Ребята рекорд делают.

— Бутылка с них.— Помятое лицо Аиста сморщилось еще больше.

— Канистру хочешь? — съязвил Вадим.

Вверх по ходку бежать было трудней. Мешали часто поставленные вентиляционные двери с двойными створами. Проходчики оскользались, вслед им оглушительно хлопали регулирующие заслоны.

Вадим отстал, ртом хватал воздух, Витька пер впереди, как лось, его согнутая спина удалялась все больше.

«Зачем нам эти скачки с препятствиями? — разозлился Вадим.— Делали бы свое дело... Энтузиасты!»

Пот ручьями тек по позвоночнику, мокрым кольцом опоясывал живот.

«Добегу до штрека и упаду. Гори оно все синим огнем!»

Тропинин замедлил бег, подождал Гайворонского.

— Устал?

— Иди ты!.. Нужно мне очень раздувать свои легкие! — капризно отозвался Вадим.

— Осталось совсем немножко,— успокоил Витька.

— До самой пенсии беготни хватит.

— На то и родились.

Коза с рельсами уже стояла на приемной площадке штрека. Витька мотнул вокруг себя лучом света, электровоза поблизости не было. Он должен стоять где-то здесь. По бремсбергу качали порожняк, а раз так — значит, машинист обязан подогнать его сюда.

— Не мельтешись...— обреченно сказал Вадим и сел на рельсы.— Банки с заряженными аккумуляторами стоят на плитах. Сам видел. Если мы и отыщем электровоз, он без батарей. Подождем. Аккумуляторы скоро поднимут. Около них машинист вертелся. Мы его на две партии опередили.

— Опупел! — вспылил Витька.— Для того мотались туда-сюда, чтобы сидеть и спокойно ждать.

— Что предлагаешь, Кулибин?

— Сами покатим.

— Рехнулся парень,— спокойно произнес Вадим, потом вскочил, зашумел, замахал руками.— Я тебе не тягловый скот! Я тебе не тяни-толкай африканский! Я...

— Вадик.— Витька дотронулся до его плеча.— Неужели и тебя уговаривать надо?

— Ты мне на сознательность не дави! Кулькова иди агитируй!

— У Кулькова другие обязанности.

— У нас у всех одна цель — уголь! Если бы этот болтун поменьше лозунгов кричал, а побольше делом занимался, то нам не пришлось бы по шахте гонять... Зачем «Прожектор» создавали? Зачем болтологией три часа занимались? Отвечай, зачем?

— Можно подумать, что ты ни разу в жизни не ошибался.— Витька старался успокоить Вадима.

— Ошибался. Часто ошибался, но оттого, что не знал, не из-за лени и наплевательского отношения к делу. Вспомни, и в ПТУ Кульков таким же был.— Вадим было успокоился, потом вскочил, загорелся.— Снять его к чертовой бабушке — и делу конец! Пусть в шахте повкалывает, тогда, может, поймет разницу между словом и делом.

— Его дело и есть слово.

— Вот, вот! Вася со школьной скамьи привык к этому. Сказал — и думает, что дело сделано. Его уже не интересует, кем и как оно будет сделано. Иной раз мне кажется, что в комсомол его приняли сразу секретарем.— Вадим умолк, сел, опять вскочил, накинулся на Витьку.— Ну, чего расселся! Вручную так вручную, в душу ее мать, тяни-толкай на Занзибаре!

Подталкиваемая сзади коза с рельсами шла туго, спотыкалась на стыках, потом покатилась легче, загремела, как пустая бочка. Вадим с гиком подпрыгнул, плюхнулся поверх рельсов; недолго думая, за ним последовал Витька, и, дурашливо улюлюкая, друзья помчались по темному штреку.

Около разминовки козу пришлось притормозить. Перевели стрелки, с грохотом миновали состав вагонов под лавой и, разогнавшись, лихо подкатили к забою, клацнув по буферам погрузочной машины. Рельсы были доставлены на место. Очередная смена не потеряет драгоценных минут.

Тропинин посветил на часы, потрогал рукой бур и, убедившись, что все в порядке, нажал кнопку пускателя. Тонко завыл мотор, ввинчиваясь в твердь, закрутилась штанга.

— Другой бы улицей прошел,
Тебя не встретил, не нашел,—

вполголоса запел Виктор, и в мутном луче света шахтерской коногонки явилось милое лицо Ларисы, он улыбнулся ей, подмигнул.— Все будет хорошо, Ларонька! — И с силой надавил на ручку подачи.

— Благословляю ту случайность
И благодарен ей навек.

Колонка ревела, Витькин голос вибрировал, звуки отрывались от губ и летели к забою, навивались на штангу и то пропадали вместе с ней в камне, то возвращались из глубины и, дрожа, входили в него.

...Он стоит около ее дома, под ногами, как сочное яблоко в крепких зубах, хрустит снег, мороз щиплет в носу, на первом этаже, сотрясая заиндевелое окно, отчаянным ритмом бьется радиола, а на втором ярким светом горит самое дорогое в мире окно. Сейчас скрипнет дверь, и выйдет она.

«Ты давно ждешь?»

«Нет, нет. Одно мгновение и целую вечность. Хочешь в кино?»

«А ты?..»

«А ты?..»

«Давай погуляем. Такой вечер! Зима скоро кончится».

«Ты ждешь весну?»

«Весной мне почему-то бывает грустно. А тебе, Вить?»

«Мне нравится осень».

«Каждую весну я чего-то жду».

«Осенью спокойно на душе, как будто уже чего-то достиг».

«Весна будет прекрасна! Теперь мне от нее ничего не нужно, кроме цветов и теплого солнышка».

«Без солнышка в шахте тоскливо. А теперь вдвойне».

«Почему?»

«Рядом с солнышком ты».

«Завидно?»

«Нет, скучно. Иной раз мне становится страшно».

«Отчего?»

«Что жизнь так прекрасна! На земле есть ты и солнце. Солнце и ты. А вдруг что-то перестанет светить. Выеду на-гора́, а там темно».

«Я люблю тебя, милый».

Он ощущает, как вздрагивают ее губы, теплые пальцы нежно теребят на затылке волосы, краешком глаза видит ее чуть подкрашенные голубизной закрытые веки.

На шее тонко бьется жилка. Как она беззащитна! Витька губами ловит ее, ласкает, жалеет, оберегает от непонятной опасности. И сыплет, сыплет последний снег, глазеют ядреные звезды, Большая Медведица услужливо кренит ковш, будто задумала зачерпнуть им спящую Землю.

...Бур вьется ровно, и кажется, что ему не будет конца. Вадим торопится, нервничает, его колонка то, захлебываясь, урчит, то срывается на отчаянный визг. Крошится и течет порода, шумит струя свежего воздуха, в перекрещивающихся лучах двух коногонок гудит неутихающим гулом штрек.

Проходчики заканчивали бурить последние шпуры, когда пришла основная смена. Первым в забое появился Дутов, минуту помолчал, прилаживая глазок светильника к каске, шваркнул к затяжкам банку самоспасателя, подскочил к Витьке.

— Чем занимались, громовержцы?

— Делом занимались,— спокойно ответил тот.

— Оно и видно! Пять бурок не смогли прокрутить, работяги! Надейся на таких...

— Пацанва желторотая,— приласкал Кошкарев.— Вам не в шахте работать, а воробьев по улице гонять!

— Что теперь прикажете делать? — распалялся Иван.— Баб на помощь звать?

Вадим рванул ручку подачи, щелкнул выключателем, подкатил к Дутову.

— Чего орешь, как продавщица за прилавком?

— А ты думал, за такие успехи я целовать тебя брошусь?

— Мне твои поцелуи, как петуху самокрутка!..

Витька добурил шпур, дернул штангу, та со звоном шмякнулась о почву.

— Не шумите, забой обурен.

— Колонки демонтировать дядя за вас будет? — не унимался Дутов.

— Дядя за вас, между прочим...

— Помолчи! — цыкнул на Вадима Виктор.

Подошел Чернышев. С высоты своего роста, почти из-под самой кровли, посветил на притихшие колонковые сверла.

— Не горячитесь, не на базаре... По телефону сейчас звонил диспетчер. Спрашивал о козе с рельсами. В чем дело?

— Ни в чем! — Витька почему-то обиделся.— Вон она, ваша коза!

— Так электровоз стоит на заезде без банок.

— Она сама на крылышках сюда прилетела! — съязвил Вадим, для пущей важности хотел ругнуться, но великодушно пожалел непонятливых сменщиков.

Шахтеры мигом повернулись к козе, ощупали ее лучами света, помолчали.

— Ваня, живо убирай колонки,— скомандовал Чернышев.— Это — минутное дело.— Повернулся к ребятам.— Идите на-гора́, идите, ребятки.— Погладил Витьку по спине, слегка подтолкнул.— Идите...

В шахтерской бане было тесно и душно. Только что выехала смена Восточного и Западного крыльев. Черные, как сам уголь, шахтеры, сидели голыми на лавках, курили, устало переговаривались. В предбанник валил пар, смешиваясь с табачным дымом, витал под потолком, хлопали двери, тугими струями шуршала вода. Из бани выходили помывшиеся горняки, распаренные, чистенькие, с ободками вокруг ресниц, и казались квелыми, как новорожденные дети, среди чумазых, черных дьяволов.

— Эх ты, дьявол! Нам бы вагончиков десять, и ажур! — сокрушался сидящий рядом с Вадимом голый черный человек с худым, впалым животом и крепкими, бугристыми бицепсами.

— Первый Запад все резервы съедает,— уныло откликнулся его сосед, выпустив изо рта, как из паровозной трубы, густое облако дыма.

— Рекорд...— безрадостно протянул другой, с шикарной татуировкой во всю волосатую грудь.

— А по мне, так...— Тот сплюнул черной слюной и скрылся за дверью в душевую.

— Начальству видней,— все так же уныло сказал сам себе его напарник и тоже исчез в душевой.

Витька молча курил и будто не слышал разговора.

— Тоже мне...— проворчал Вадим.— Деятели... Только и забот, что собственная шкура.

— Пошли, потрешь мне спину.— Витькин голос звучал печально.

Они терли друг другу спины так, будто намеревались содрать всю кожу. Горячие струи приятно секли тело, по полу бежали темно-серые шапки пены. Вадим набирал шайку воды и, крякая, нежился в горячем водопаде. Витька старательно тер мылом глаза, отмывал с ресниц черноту, которая была ему не очень к лицу.

Душ парни любили, мылись подолгу, с удовольствием ощущая, как вместе с грязью уходит усталость и под густо намыленной кожей упруго играют мышцы. Распарившись, с красными, кроличьими глазами выскочили в предбанник.

Оделись, вышли на улицу, морозная стынь обожгла лицо, глаза ослепило яркое, но еще холодное солнце. Дорога к поселку блестела наледью, скользила под ногами. Предвкушая плотный обед и голубоглазую улыбку рыжей Иринки, Вадим повеселел, вырвался вперед, летел, как на коньках по льду.

«Мальчишка, совсем как мальчишка,— осуждающе думал Витька, потом не выдержал, разбежался, плюхнулся на дорогу и, поглаживая набитую шишку, тихо засмеялся.— А Лариса... Как хорошо, что ты есть у меня! Вот пацан, голову свернет».

— Вадик, осторожней!

«Где она сейчас, что делает?»

В наледи сияло солнце, в груди замирало сердце.

«Лариса, я здесь, я на земле, я рядом с тобой!» Колкий ветер донес запах кухни. С алюминиевым половником в руках перед глазами замельтешила Иринка, и где-то возле нее неприятным пятном маячил Максим, ее поклонник. У раздатчицы на носике выступил пот; в проворных пальцах с розовыми ноготками ловко вертятся миски, тарелки...

Вадим нерешительно скользнул по дороге, замедлил шаг. От кухни исходил запах борща. Солнце закрыла белесая пелена. Свет лился ровной немигающей лавиной, мир был так широк и светел, что не вмещался в видимое пространство, смыкался с небом, уходил ввысь, растворяя в себе само солнце. Где-то за бескрайними пределами этого мира собиралась с силой весна. Скоро она постучит в эту белесую оболочку, как желторотый цыпленок, проклюнется первая травка и властно заполнит всю землю зеленым буйством.

Скорее бы...

К запаху борща присоединился аромат жареной картошки. Из столовой в облаке пара вывалилась группа парней.

— У киевлян уже семь ничьих, они в этом сезоне, тю-тю, пролетят! — пулеметом строчил Жора Пойда.

— Нынче кубок у нас, это точно! «Шахтер» такого шанса не упустит,— заверил Гриша Ефимов, но как-то не очень твердо.

— Первый Запад рванул. Вот тебе и комплекс.

— Плотников именинником ходит, красный галстук подцепил, как флаг на копре.

— Давно пора переходить на новую технику, а то кричим: революция, революция,— а в забоях сохой пашем. Цоб-цобе!

— Отчего-то Иришка сегодня, как лампочка, светится?

— А ты не слышал?

— Нет.

— Завтра в загс идет.

— С Максимом?

— С кем еще, не со мной же...

— А хотел бы?

— Спрашивай...

Шахтеры загоготали.

Вадим уже ничего не слышал. С ним кто-то поздоровался, он не ответил, шагнул к двери, но открывать раздумал, потоптался на месте, повернул назад. Запахи исчезли, аппетит пропал. Подошел Виктор.

— Ты куда?

— Проветрюсь...

— А еда?..

— Луком воняет. Подгорело что-то. С детства не переношу горелый лук.— Вадим вымучивал улыбку.

Из столовой вышли еще несколько человек. Делились сигаретами, чиркали зажигалками.

— Спешите, мальчики, Иришка сегодня блины с повидлом затеяла! — Павло, взрывник, совал руку Витьке, потом Вадиму.— В магазин пиво чешское забросили. Вам брать?

— Ящик! — решительно сказал Вадим.

— Есть! — услужливо козырнул Павло и подмигнул.

Вадим шагнул прочь от ненавистной столовки. Его настиг Виктор.

— Голодовку объявил?

— Ага.— Вадим кривил лицо, пытаясь улыбнуться.— Слышал? Пиво зарубежное...

— Перестань! Ты его терпеть не можешь.

— Кто, я? Да я с детства...

— А ну, не дури! Пошли есть.

— Я не хочу.

Вадиму было невыносимо жаль себя. «Ну ладно, ну что же теперь... Вы живите, радуйтесь на здоровье, а что я? Такая уж у меня судьба-злодейка, такая участь — вечные муки и сплошные несчастья, я привык к ним, я все перенесу, лишь бы всем вам было хорошо».

— Ты иди поешь, Вить...— ровным голосом сказал он, грустно улыбнулся и на расслабленных ногах двинулся к общежитию.

Белесая пелена сползла к горизонту, край солнечного диска блеснул острой бритвой, громким треском ломалась под ногами наледь, на голых тополях хрипло каркали вороны.

«Так даже лучше,— подумал Вадим.— Теперь я свободный человек».

Он представил, как пройдет мимо Иринки с тарелкой сосисок в руках и даже не посмотрит, не поднимет на нее взгляда, не промолвит ни единого слова. Ему захотелось вернуться и медленно продемонстрировать свою каменную холодность, но что-то удерживало парня от этого шага.

«Уйду в солдаты или на БАМ махну».

Дальние края не очень манили. Витьки рядом не было, и роль страдающего старца уже не подходила. Вадим глубоко вздохнул, достал сигареты, закурил, затянулся дымом, и в голове его, как итог всего этого суматошного дня, отчетливо высветилось: «Женюсь на Маринке, всем назло!»

На дверях общежития висела афиша: «Демонстрируется фильм «Вооружен и очень опасен».

«Схожу»,— решил Вадим.

В оконной раме блеснул луч солнца, хорошо поставленным басом гаркнул магнитофон, скрипнула форточка, испустив еще один луч, голос умолк, прямо под ноги плюхнулась стайка воробьев, взлохмаченные птицы затеяли кутерьму, зачирикали, и во всем этом Гайворонский увидел какой-то смысл...

Глава девятая

Расчетный отдел бурлил избытком новостей. Эту бурю подняла жена Дутова — Вера, сообщив подружкам о том, что будто бы Мащенко уходит на пенсию, а директором шахты назначается Станислав Александрович. И только одного человека не взволновала эта новость. Далека была в этом мире Лариса от дел общественных. Она невидящими глазами смотрела в окно и рисовала грядущие вечера и в них Виктора, такого сильного и нежного, его губы, теплые ладони, его голос, шепчущий самые желанные слова. На дороге к шахте одиноко маячила человеческая фигура, и Лариса подумала, что, может быть, это идет Витя. Хоть на один миг взглянуть в глаза друг другу, одно слово услышать. Девушка присмотрелась и тут же отмела сладкую мысль. Во-первых, он отдыхает после ночной, во-вторых, куда же он один, без Вадима...

Они вошли без стука, замерли у дверей. Борис сидел за столом, понурив голову, и плакал.

— Боря...— вырвалось у Витьки, он шагнул вперед, но, смутившись, остановился.— Что с тобой?

— Читай.

Борис взял со стола телеграмму, протянул ее Виктору. Вадим подбежал к ним.

Скачущими вверх-вниз словами в телеграмме сообщалось:

«Не приходя сознание больнице скончалась Ольга».

— Боря, ну... ты это...— Вадим разводил руками.— Ты... крепись...

— Я всегда чувствовал: нашу семью преследует какой-то рок,— сказал Борис и закрыл лицо руками.

— Крепись...— Витька придвинулся к нему вплотную, положил руку на плечо.— Слов тут не найти. Что ни скажешь, все не то. Не всякий огонь водой зальешь. Успокойся, Боря.

Борис, уставившись в пол неподвижным взглядом, молчал. Вадим, шевеля губами, читал телеграмму, словно никак не мог добраться до ее смысла.

— Может, врут? Разыгрывают?..— сказал наконец.

— С такими делами не шутят,— ответил Витька.

— Три дня назад надо было ехать.— Борис устало поднялся, подошел к окну.— Думал, обойдется. Не обошлось. Никогда не прощу себе этого.

— Она болела? — спросил Виктор.

— Автомобильная катастрофа. Дочь трех лет осталась. И никого, кроме меня...

— Тебе нужно сейчас же ехать. Чего ты медлишь? — Вадим загорячился, зашагал по комнате.— Билет взял?

— Денег туда-назад не хватает и в шахтной кассе нет. Только от бухгалтера вернулся.

— Как не хватает? Ты же хорошо зарабатываешь...— Вадим, удивленный, остановился посреди комнаты.

— Половину зарплаты отсылал сестре. Неделю назад купил костюм. И вот...

Витька молча посмотрел на Вадима.

— Сберкасса открыта? — спросил тот.

— Должна.

Вадим нырнул в дверь. Шахтеры помолчали. Кто-то заглянул в комнату, но войти не вошел, постеснялся. В коридоре монотонно и не зло спорили, просто так — доказывали друг другу какую-то пустячную истину, и чередующиеся голоса не очень настаивали на своей правоте, журчали, как заведенные, но не совсем исправные моторы. За стеной похрапывал аккордеон, срывался на лихой мотив «Цыганочки», но сноровки в пальцах у музыканта явно не хватало, и перебористое вступление к танцу не получалось. Аккордеонист был упрям и каждый раз, наткнувшись, как на стенку, на непослушную ноту, начинал все сначала.

— Ты извини нас, Борь...— опустив голову, сказал Витька.— Мы неправильно понимали твое отношение к деньгам.

— Оля росла без отца и матери...— Борис побарабанил пальцами по столу.— Когда я учился, она помогала, чем могла.

— Что же теперь с племянницей?

— Ума не приложу.— Он горестно помотал головой.— Отец ее принудительно лечится от алкоголизма. Да разве ему можно доверить Настю?

— А где его родители?

— Они вряд ли подозревают о существовании внучки. Я их ни разу не видел, даже не знаю, где живут. В Казахстане, что ли...

Они вновь умолкли. Виктор смутно чувствовал свою вину перед Борисом. В чем она заключалась, было непонятно, но разговаривать с ним становилось трудно.

Борис сидел, ссутулившись, и Виктор заметил, что на голове его, особенно на висках, небольшими пучками серебрится седина. Раньше он этого не замечал. От глаз струились тонкие морщинки, нос заострился. Витька увидел уголки опущенных губ, хотел представить Бориса улыбающимся и не смог.

В распахнутом пальто, с мокрым от пота лицом, вбежал Вадим. Молча прошел к столу, положил перед Борисом пачку денег.

— Бери.

— Что это?

— Четыре сотни хватит?

— Не возьму.

— Так любил сестру, что в последний путь проводить не хочешь? — Вадим говорил строго, будто по-учительски отчитывал нерадивого ученика.

— Не могу я...

— Можешь, должен, обязан...— Гайворонский смягчился.— Они мне ни к чему. Дурь нашла, мотоцикл хотел купить. Сам знаешь: зачем он мне? Шею свернуть.

Борис молча качал головой.

— Упрашивать, что ли, тебя? Будут — отдашь.

— Спасибо.— Борис сгреб деньги, не считая, сунул в карман.

— Вот еще что... Тут я встретил...— Вадим помедлил, словно ему было неприятно произносить слова.— Диспетчера... Максима Антонова... И уговорил, попросил подбросить тебя на его «Жигуленке» в город, к аэропорту. Он согласился.

— Спасибо, Вадик. Я мигом соберусь. Документы только возьму.

Друзья вышли проводить Бориса.

На улице шел снег. Крупные хлопья медленно порхали в воздухе, но, приближаясь к земле, тяжелели, ускоряли бег и плюхались в лужи дождевыми каплями. Выглянуло солнце, и все пространство вверху сверкнуло ослепительной, шевелящейся белизной. Воробьи с обочин попрятались, ребята пробивались сквозь снег, как через густые заросли белого камыша.

Снегопад так же быстро прекратился, как и начался. Подул ветер, поселок потемнел, с севера, от террикона шахты пять-бис, двигалась темная, с серыми пятнами туча. Ветер был сырым и колким, сосульки на крышах вытянулись, капель притихла.

Навстречу бежал Жора Пойда, хотел остановиться, что-то рассказать, вероятно, очередную футбольную новость, но, увидев хмурые лица ребят, пробежал мимо.

Возвращались в общежитие не спеша, молчали. Из головы не выходил Борис с грустным виноватым лицом, и то, как он осторожно, словно боясь повредить чужую машину, дергал за ручку «Жигулей» и не мог открыть дверь, а рядом стояли они и тоже смущенно улыбались, и было непонятно, почему и он и они чувствуют себя виноватыми друг перед другом. Борис наконец открыл дверцу, повернулся к ребятам, пожал обоим руки. Вадим вскинул кулак: «Держись!»

Ребят обогнал Геннадий Петраков, пыхнул сигаретой, замаячила впереди его длинная фигура. Обернулся, оскалившись, приподнял шапку. «Мое вам, с кисточкой!»

Виктор кивнул головой, Вадим молча отвернулся. Подходя к общежитию, Виктор остановился.

— Что теперь с Настей будет?

— Если бы я знал...— ответил Вадим.

— Детские дома есть...

— Борис на это не пойдет.

— А что делать? — вновь спросил Витька.

— Настя у Борьки единственная родственница... Нет, нельзя ее в детдом.

За углом общежития они нос к носу столкнулись с Маринкой. Та на ходу застегивала шубу, была чем-то возбуждена. Очевидно, встреча с комендантшей не привела к взаимному пониманию. Мягко говоря, Дарья Степановна не очень одобряла визиты девушек в мужское общежитие.

— Салют, мальчики! Как Борис?

— Ты с кем поцапалась?

Вадим погладил ее по раскрасневшейся щеке. Маринка ляпнула его по руке.

— Ох, и мегера у вас комендантша! Как вы только уживаетесь с ней под одной крышей!

— Борис поехал хоронить сестру.

— Как?..— У девушки округлились глаза.

— Что там... на шахте? — спросил Витька, чтобы не молчать и отвлечь Марину.

— Тебе привет от Ларисы.— Она попыталась улыбнуться.

— Спасибо,— поблагодарил Витька и покраснел.

— Ой, мальчики, вы же, наверное, ничего не знаете! Там такой шум, такой гам, там такое творится, побесились все!

— Фистов чего-нибудь предсказал? — остановил ее Вадим.

— Да нет же! Мащенко сняли, а вместо...

— Знаем,— лениво бросил Вадим.

— И что?..— Марина обиделась.

— Да ничего.— Вадим нахохлился, тронул двумя пальцами шапку, сдвинув ее набекрень.— Нас это не очень волнует. Мащенко, Геращенко, хоть Макар Фистов — нам до лампочки! Наше дело — уголь рубать!

— Ох, держите меня! Если бы ты, Ваденька, родился на сто лет раньше, ты вырос бы каким-нибудь анархистом.

— А что ты в этом плохого узрела? Пулеметные ленты крест-накрест, на боку пистоль, и никакой власти. Полная свобода!

— Вить, скажи хоть ты ему...— Марина собралась уходить.

— Зайди к нам, чайку сообразим,— остановил Вадим.

— Ты что?..— Девушка испуганно замахала руками.— Она меня живьем съест, ваша Степановна.

— Это точно! — смеясь, подтвердил Вадим.

— Между прочим, в клубе сегодня танцы.— Марина кинула быстрый взгляд на Вадима.

— Мы до конца недели в основном под землей танцуем.— Вадим указал пальцем себе под ноги.

— Ох, проходчики-рекордисты! — Она кокетливо рассмеялась и, помахав рукой, убежала.

В комнате Виктор, не раздеваясь, сел на стул, задумался. Вадим сбросил пальто, открыл шкаф, но, осененный какой-то мыслью, замер.

— Слушай, Вить... А если Борис привезет Настю сюда, в общежитие?

— Так ей кашу манную, пеленки, распашонки всякие...

— Какие пеленки, какие распашонки! Девчонке три года. Поставим вот тут еще одну кровать, устроим Настю в детский садик и по очереди будем ухаживать за ней. Один отведет в садик, другой заберет... Игрушек накупим...

— Это идея! — Виктор поднялся, начал торопливо раздеваться.

— Попросим Михеичева: пусть определит нас в разные смены, так, чтобы кто-то всегда был дома.— Вадим быстро шагал по комнате, убеждая и себя и Витьку.

— Разрешат ли? — усомнился Виктор.

— Что разрешат?

— Девчонке жить в мужском общежитии?

— Она же дите... сирота... звери, что ли, вокруг... Уговорим, пойдем к Куль...— Вадим запнулся.— К Клокову пойдем. Попросим, потребуем!

— Борис может оставить ее там...— Витька вопросительно смотрел на Вадима.

— Дадим телеграмму.

— На деревню дедушке будем телеграфировать? Где адрес?

— Ты что? В отделе кадров наверняка есть, а нет, так я и без того знаю, видел письмо у Бориса.

— Тогда гони гроши, пойду давать телеграмму...

Глава десятая

Бригада Михеичева сдержала слово — рекорд проходки откаточного штрека был сделан. Прозвучали многочисленные речи, тосты, поздравления, но когда вопрос стал об оплате труда шахтеров, свое веское слово сказал главный бухгалтер.

Для выплаты заработной платы одному участку не хватало фондов всей шахты. Летели к чертовой бабушке и закупка новой техники, на которую уже успел разгореться аппетит, и строительство механического цеха, и многое другое, что требовало капитальных вложений.

Спасительную соломинку подбросил бухгалтер. В забурлившей мутной воде за нее и уцепился новый директор Станислав Александрович. Решено было не выдавать шахтерам премиальных. Будучи начальником Первого Западного участка, Плотников возражал, но через несколько дней, заняв должность главного инженера, возражать перестал.

У шахтеров проблема премий возникла сразу. Свои права и обязанности они знали туго, терять заработанного никто не хотел. Начались споры. Их удалось потушить обещаниями рассмотреть вопрос в конце квартала. И вот он наступил, этот конец...

Клоков сидел у себя в кабинете, листал бумаги, и из головы у него не выходила предстоящая встреча с руководством шахткома, дирекцией и представителями бригады проходчиков. Неуютно себя чувствовал партийный секретарь.

В кабинет осторожно протиснулся Кульков.

— Присаживайся,— пригласил Клоков.

— Тут такое дело, Егор Петрович,— заговорил тот.— Организовали мы секцию бокса...

— Знаю. Хорошее мероприятие затеяли. Тренируются ребята?

Василий покраснел и опустил глаза.

— Да разве с ними сваришь кашу...

— Как понимать? — отрывисто спросил Клоков.

— Тренера у нас хорошего нет,— виноватым голосом начал оправдываться Василий.

— Кто все-таки тренер-то?

— Малахов. Расхвастался, что у него второй разряд по боксу...— Кульков открыто смотрел в глаза Егору Петровичу, искал сочувствия.— А на деле оказалось, перчатки как следует зашнуровать не умеет. Песенки петь только мастак. Ну и пошло в секции... кто во что горазд.— Сочувствия в глазах Клокова он не увидел, вновь покраснел и уставился взглядом в стол.— Соберут компанию... пьяную... двое на ринге, а остальные ставки делают...— Василий говорил с остановками, будто преодолевал препятствия, все время на что-то натыкаясь.

— Какие ставки? — не понял Клоков.

— Денежные... как на скачках...

— Расскажи подробнее, что-то я ничего не пойму.

— Чего не понимать? Кто рубль на Вадима, а кто на Жору. Проигравшие идут в буфет... покупают водку... пьют... и сами на ринг лезут...

— Пьют в спортивном зале?

— Да.

— Сам видел?

— Нет. Докладывали.

— Понятно...— с расстановкой протянул Егор Петрович.

— Я вот что предлагаю... Шахматно-шашечную...— залепетал Кульков.

— На боксерские принадлежности сколько денег ухлопали? — Клоков резко ударил ладонью по столу.

— Мы школе все продадим. Я уже говорил... они...

Клоков встал, медленно прошелся по кабинету, успокаивая самого себя. Не ко времени этот разговор с комсомольским секретарем. Вот и не сдержался, по столу саданул. Нельзя...

— Так ведь и в шашки можно на ставки играть,— остановившись, сказал Егор Петрович.— А, Василий? Еще удобнее, без шума, без драки. Ты как думаешь?

Кульков понял, что поддержки он у секретаря не получит, скорее наоборот — не миновать очередной взбучки, и окончательно скис. На вопрос Клокова ему нечего было ответить.

— Ты, я вижу, шахтерский поселок в Монте-Карло намерен превратить. Иди. На следующей неделе собери бюро и меня не забудь пригласить.

Потупив голову, Кульков вышел.

Зазвонил телефон. Клоков поспешно поднял трубку, приложил к уху. По лицу секретаря было видно: говорили что-то приятное. Егор Петрович все время поддакивал и довольно улыбался.

В окно рекой тек свет, низко, почти над самым терриконом, мощным ревом зашелся самолет, сверкнул длинным рядом иллюминаторов и мгновенно пропал.

В кабинет быстрыми шагами вошли Станислав Александрович, Плотников, Михеичев и председатель шахткома Николай Овчаренко, тощий, высокий шахтер, совсем лысый, с огромными, как лопухи, ушами. Клоков встал, поздоровался с каждым за руку, пригласил сесть. Директор резко, со скрипом выдвинул стул, повернул его спинкой к столу, сел, положил поверх спинки скрещенные руки и уткнулся подбородком.

Михеичев долго гладил себя по голове, прилизывал коротенький чубчик от макушки ко лбу, будто готовился к какому-то священнодействию. Потом осторожно присел на краешек стула, предварительно смахнув с него невидимые пылинки.

Овчаренко коротко покашливал и каждый раз дергал себя двумя пальцами за ухо. Обстановка складывалась нервная. Кому-то нужно было начинать разговор, но пока все молчали. Хозяин кабинета достал ручку, щелкнул, хотел что-то записать, но тут же передумал, клацнул шариком еще раз и долго возился за пазухой, пряча ручку в карман.

— Поговорить, к примеру, необходимо,— выдавил из себя председатель шахткома, и уши у него сначала поползли вверх, потом опустились, потянулись вперед, в сторону окаменевшего директора.— К примеру, вот Петр Васильевич, он законы знает. Но зачем, к примеру, сор из избы выносить? — Уши успокоились, приняли обычное, оттопыренное положение.— Есть и над нами начальство, но мы и сами... к примеру...

— В этой бригаде шахтеры или крохоборы?! — резко выкрикнул директор.

Овчаренко вздрогнул и умолк. Михеичев погладил себя по голове, встал.

— Дак мы не милостыню просим.— Голос прозвучал негромко, но твердо.

— Я спрашиваю, вы советские шахтеры или шабашники? — Станислав Александрович неотрывно смотрел на бригадира.

— Да, мы советские шахтеры! — так же твердо ответил тот, но директорского взгляда не выдержал, отвел глаза.

— Тогда должны понимать, что шахта попала в финансовый кризис, что временно у нас нет на счету денег, что для выплаты зарплаты мы берем ссуду! — Директор встал и, приподняв за спинку стул, грохнул им об пол.

— Бригада дала рекорд, и ей нет дела до того, как вы хозяйствуете.— Михеичев осторожно переставил свой стул с места на место.— Ребята из кожи...

— Ах, вы из кожи лезете, а мы не умеем хозяйствовать! — От злости у Станислава Александровича перехватило дыхание, лицо, бледное от постоянного недосыпания и бесконечных прокуренных заседаний, заострилось.

Овчаренко ерзнул на стуле и, кашлянув, подергал себя за ухо. Клоков и Плотников слушали перебранку, не поднимая головы.

— Бремсберг на Западе кто завалил? — понизив голос, вкрадчиво спросил директор.

Михеичев пожал плечами: мол, во всяком случае, не я и не моя бригада.

— Не знаешь? А его восстановление в какую копеечку влетело, тоже не знаешь? А аккордно-премиальные я получил?

— Но...

— Помолчи, я не все сказал.

— Я тоже не все сказал! — Бригадир повысил голос.— Во-первых, не кричите. Я не выгоду для себя ищу, а представляю здесь бригаду проходчиков, а во-вторых, шахта — это не ваша вотчина, а наше предприятие... наше... И мы не хотим, чтобы нас надували... за нос водили...

Директор криво ухмыльнулся, сел, помолчал.

— Вы думаете, рекорд — это только ваша заслуга? — ровным голосом спросил он.

— Мы этого не думаем,— тихо ответил бригадир.

— Тогда, может, задумывались о том, что полшахты работало на вас. Мы вот, руководство, не давали им работать в полную силу. А почему? Не вашего ума дело? Объясню. Порожняк в первую очередь шел кому? Вам. Крепь новейшую в чей забой везли? В ваш. Трубы, рельсы, шпалы, новая ППМ с неба упали? В результате всего этого зарплата на других участках снизилась до минимума. Другим шахтерам деньги не нужны? А?

— В таком случае, может, не нужно было затевать рекордную проходку? — в тон ему спросил Михеичев.

— Это вы зря, Петр Васильевич.— Клоков покатал по столу карандаш.— Грамотный проходчик... Вы же понимаете, по старинке работать нельзя. Внедрение новой техники — процесс не простой.

— Но концы с концами сводить нужно. Помогать — помогали, верно, однако ж никто, кроме нас, не решился рекорд-то взять. Так ведь? А Станислав Александрович тут столько сложностей наговорил, невольно думаешь: может, овчинка выделки не стоила?

— Жизнь без сложностей не бывает...— Секретарь отбросил карандаш, и тот, стуча, покатился по столу.

— Только не надо эти сложности пытаться разрешать за счет рабочего класса. Вы руководите шахтой, я — бригадой.— Михеичев адресовался к директору.— С вас комбинат требует порядка, с меня — бригада. Я говорил, что, если сделаем рекорд, будет премия. Кем я теперь оказался в глазах шахтеров? Треплом? Может, вы думаете, что простому бригадиришке авторитет не нужен? Ошибаетесь. Вы мой авторитет подорвали, но ведь и себе мало что приобрели. Наоборот. Крохоборами нас обзываете... Вы хоть раз пришли в бригаду, поговорили с людьми? Так, мол, и так, черти полосатые, в финансах прорыв. Да совсем не в деньгах дело, хоть и нужны они каждому. Не в коммунизме еще живем. Но ведь идем к нему, строим его. Или это только на словах? Я уверен, что если бы с тем же Дутовым поговорили по душам, он бы хоть и рванул рубаху на груди, но ситуацию учел бы и о деньгах печься не стал. Писульки, подписи не организовывал бы. Потому как понятие имеем.

— Вот и надо понимать без лишних слов. К тому же нормы выработки были старыми, несколько заниженными.— Плотников старался не глядеть на бригадира.— Отдел нормирования пересматривает их. Организация труда улучшается, техника растет, не может же производительность топтаться на месте.

— Но она должна стимулироваться чем-то. Больше сделал — больше получай.

— Да, но можно брать уголь врубмашиной, а можно — механизированным комплексом. Разница есть? — Иван Емельянович как бы извинялся.

— Мы-то работали по тем расценкам и нормам, которые сейчас существуют.

— Вам по ним заплатили,— буркнул директор.— А они занижены. Этим компенсируется премия.

— А совесть чем компенсировать? — тихо спросил бригадир.— Мне лично премия не нужна. Как мне в глаза ребятам смотреть? Их у меня полбригады,

мальчишек. Мы скоро уйдем, а им наше дело продолжать.

— Зачем же воспитывать алчность? — вновь, словно оправдываясь, вставил Плотников.

— Путевки им, к примеру, выдаем почти даром, больничные стопроцентно оплачиваем.— Овчаренко развел руками: «Ну, что еще?».

— Вы заслуги нашего строя не относите на свой счет. Мы знаем и о квартирной плате и о медицинском обслуживании, не из-за границы приехали. Знаем о своих обязанностях и стараемся честно их исполнять. Такой же честности требуем по отношению к себе.— Михеичев посмотрел на Плотникова, тот избегал открытого взгляда.

— Нас всех веревочкой связывает одна обязанность — давать стране уголь. Как можно больше, с наименьшими затратами.— Директор сказал это вяло, будто был не уверен в правоте произнесенных слов, а может, устал доказывать ее.

— Кое-кто из шахтеров предлагал отдать премию в Фонд мира. А теперь заупрямились, наблюдая за поведением начальства.— Михеичев опустил голову и шмыгнул носом.

— Обиделись? — спросил директор.

— Да, обиделись,— подтвердил бригадир.

— Ну и зря,— вставая, сказал Клоков.

Он молча прошелся по кабинету, остановился у окна. Неуютно чувствовал себя секретарь, неприятный разговор состоялся. Директор, как задиристый, но не очень умелый боксер, был загнан в угол несколькими точными ударами соперника. В этом углу оказался и он, Клоков. Даже в более глубоком, чем директор.

«При Мащенко такого конфуза не случилось бы»,— хмурясь, подумал Егор Петрович.

Мысль пришла сама собой, хотя было непонятно, как, каким образом удалось бы выкрутиться из этого сложного положения бывшему директору. Может быть, он просто не допустил бы его? Скорее всего, использовал бы все свои связи в финансовых кругах, в комбинате, нажал бы на все педали, как сам любил выражаться, и разорвал бы этот круг.

Арсентий Георгиевич умел это делать. Новая метла хочет чисто мести, но веников выбирать не умеет, а неровности на полу от чрезмерного усердия не видит.

«Резковат Станислав Александрович. Сколько говорил с ним на эту тему... Разве переделаешь? И сам я хорош гусь! Надо было с людьми поговорить».

Секретарь попытался оправдать себя перед самим собой, сослаться на незнание тонкостей финансовой политики шахты, на суету, сопровождающую смену руководства, но причины оказались малоубедительными и облегчения не наступило.

«Прав, во всем прав бригадир. Черт возьми! Как он точно подметил: при коммунизме еще не живем, но строим его».

Клоков повернулся от окна, сбоку посмотрел на Петра Васильевича, несмело примостившегося на самом краешке стула и напоминающего скромного студента перед сердитым профессором, представил его на рабочем месте, в забое, огромного, порывистого, с крепкими, жилистыми руками и уверенными движениями человека, привычного к тяжелому шахтерскому труду, к работе, которую умеет делать и делает всю жизнь; а вот теперь по их руководящей милости он вынужден сидеть тут, говорить о деньгах, которые никогда не составляли суть его бытия. И что-то неприязненное и к новому директору и к Плотникову шевельнулось в груди у Егора Петровича.

Он перевел взгляд на Овчаренко, на его раскрасневшиеся лопушиные уши.

«Тоже мне, защитник прав шахтеров. Чего лебезишь, кого боишься? «К примеру...» К примеру, по заднице нас всех выпороть нужно, чтоб жгло...»

Плотникову было нехорошо. О премиях он разглагольствовал больше всех. Видел, какого труда, упорства потребовала скоростная проходка штрека от бригады Михеичева. Проходчики работали, как одержимые, не считаясь ни с чем, почти без выходных, не успевая просушить спецовки от едкого, вперемешку с породной пылью пота. Не нужно было кого-либо понукать или уговаривать, шахтеры рвались вперед, работали азартно, и Плотников чувствовал себя иной раз лишним в забое. Дело шло само собой, без его начальственного вмешательства.

Нет, сполна заработали его орлы и почет с уважением и премию!

Иван Емельянович вспомнил, как его, уже в ранге главного инженера, битый час уговаривал главбух не подписывать документы на премии, найти изъян; потом подпрягся начальник отдела нормирования — и он не устоял, сдался. Сам себя убеждал, что делает это ради интересов всей шахты. И слова, которые он только что говорил Петру Васильевичу, были не его, а все тех же главбуха и начальника отдела нормирования. Теперь только стыд за собственное малодушие был его личным.

Подумалось, что, наверное, чем выше должность, тем больше уступок нужно делать, мотивируя все какими-то высшими соображениями. А власть посаженного в это кресло человека не что иное, как призрачный мираж, который держит в плену иллюзий и расплывается тут же, соприкоснувшись с действительностью. Он может все и ничего. Дело в обстоятельствах и в том, как они повернутся. Своей остается совесть. Но и ее надо укрощать, как строптивую лошадь на поворотах, иначе вылетишь из седла.

А Мефистофель подтолкнет.

Его, Плотникова, директор почти открыто считает не доросшим до столь высокой должности, которую много лет успешно занимал сам. Вот и в вопросе о премии директор не советовался, не просил, а повелевал. Тут бы и восстать главному, высказать откровенно свое мнение, показать, что и он что-то значит в новой должности, но опять помешала робость перед всесильностью Мефистофеля, не хотелось портить отношений сразу же.

«Продолжаться так дальше не может». Плотников сжал губы.

— К чему мы пришли? Что будем решать? — Секретарь сел, сунул руку за пазуху, отыскивая там свой паркеровский шарик, будто намереваясь немедленно записать найденное решение.

— От чего отъехали, к тому приехали. Денег в кассе нет! — Директор вызывающе посмотрел на Клокова.

— Меня направила сюда бригада. Что ответить ей? — Михеичев спрашивал у всех, но смотрел на директора.

— Что хочешь,— бросил тот.

— Провести, к примеру, разъяснительную работу...— начал Овчаренко.

— Приходи и проводи, милости просим! — Михеичев резко поднялся и пошел к выходу.

Его не остановили.

Петр Васильевич грузно протопал по ступенькам, медленно побрел к раздевалке. До начала смены оставалось свободное время, он подумал было о

том, что надо бы сходить в механические мастерские, заточить коронки для сверл, но внутри кто-то другой безразлично махнул рукой: «Пропади оно все пропадом!»

В раздевалке было чисто, прибрано и пусто. Новая смена еще не пришла, а старая не выехала. Михеичев подошел к своему шкафчику для чистой одежды, постоял, потряс в руке ключ, открывать не стал и сел на лавку.

За перегородкой шуршала вода, в бане кто-то мылся, фыркая и громко отплевываясь. Встречаться с кем бы то ни было не хотелось, бригадир встал, вышел на улицу.

«Что хочешь, то и говори!» Я бы тебе сказал!»

И опять погасил вспыхнувшую было злость.

Над шахтой собирался дождь. Низкие серые тучи, чуть ли не цепляясь за верхушку копра, темнели и разбухали. Ветер дул свежий, но не холодный, остро пахло оттаявшей землей, соками пробуждающихся деревьев.

По шахтному двору скакали тощие скворцы. Михеичев залюбовался ими, сначала в недоумении — что они ищут тут? — потом понял и улыбнулся. Конечно же, не пищу, откуда ей здесь взяться, жилище строят птицы, готовят дом для будущего потомства, вот и разыскивают подходящий материал.

Над домами сверкнула молния, сломавшимся деревом хряснул гром, стена дождя отсекла от поселка сначала школу, потом поползла вдоль центральной улицы, захватывая все больше и больше домов, наконец, закрыла его весь густой пеленой и, ускоряя бег, ползла к шахте, поглощая метр за метром пространство, грозя отрезать от остального мира и почерневший терриkон и вытянувшиеся к тучам копры, всю шахту. Еще раз ударил гром, теперь уже раскатисто и мощно, испугав вспорхнувших скворцов, крупные капли дождя шлепнулись в пыль, земля задымилась, стала рябой.

Михеичев снял шляпу, подставил голову дождю. Вода потекла по волосам, капнула за воротник, он подставил лицо, ставшее сразу мокрым, и, будто смахивая усталость, медленным движением отер его. Прохладный ручеек скользнул по позвоночнику, Петр Васильевич по-ребячьи взбрыкнул и наутек пустился в раздевалку.

Дутов и Вадим были уже там, снимали с себя насквозь промокшую одежду. Чуть в сторонке стоял Виктор и никак не мог стянуть прилипшую к спине майку. В дверь пулями влетали шахтеры, брызгались, отряхивая с одежды воду, одни бранили ненастную погоду, другие хвалили ее.

— Ох и шпарит, чертяка!

— Не мог десяток минут подождать, пока бы мы в погреб юркнули. Потом хоть с каменьями...

— Каменьев тебе в погребе хватит! — пообещал Дутов.

Около шкафов со спецовками он подошел к Михеичеву.

— Был?

— Был.— Петр Васильевич пристраивал каску, на Ивана старался не смотреть.

— Яс-с-с-сно...— поджав губы, сказал тот и отошел.

— Ничего тебе не «яс-с-сно»! — Бригадир рассердился.

— Впереди целая смена. Поговорим,— угрожающе кинул Дутов.

По штреку проходчики шли молча. Гайворонский с Тропининым догадывались, что между бригадиром и Дутовым пробежала неопределенного цвета кошка, и теперь каждый про себя гадал, к чему это приведет. А те выжидали подходящего момента, чтобы возобновить начатый на поверхности разговор.

Дутову не терпелось выплеснуть свою обиду на несправедливость. И дело тут было вовсе не в деньгах, не в премии, а в предательстве их кровных интересов со стороны начальства. Так ведь можно поступить в любом вопросе. Нехорошо становилось на душе. Будто не шахтер он, и каждый волен поступать с ним, как захочет. Так думал он сам и хотел убедить в этом всю бригаду. Премии им не видать, как своих ушей. Это Иван почувствовал сразу, едва взглянув на бригадира.

Как горькая редька, надоели Дутову издевательские вопросики поселковых пустобрехов, преследующих проходчиков на каждом шагу с поздравлениями по поводу покупок на премию самых фантастических вещей, вроде яхты на Средиземном море, дачи в Ялте или сверхсовременного автомобиля. В долгу Иван не оставался — не таков человек, но выходить из дому на люди иной раз не хотелось.

Михеичев шагал впереди, словно спешил скрыться от своих коллег, убежать от этого неприятного разговора. Дутов пытался настичь его. Под лавой, около доверху загруженного углем состава, суетился машинист электровоза. В самой середине поезда лопнула сцепка, и шахтер сложными маневрами пытался выкатить вышедшую из строя вагонетку на разминовку.

— Что сказал Мефистофель? — Дутов вырвал из каски глазок коногонки, стрельнул лучом света вдоль штрека, потряс им, будто длинным упругим дрыном.

— В кассе нет денег.— Михеичев тоже выдернул глазок, крест-накрест стеганул по дутовскому лучу. «Не петушись. Мне не легче!»

— Во всем нашем социалистическом государстве исчезла валюта? — Иван нажал на слово «социалистическом», ударил лучом света в лицо Петру Васильевичу.

— Ерунду говоришь.

— А что, братцы,— вмешался Вадим.— Давайте права качать!

— Дурак! — обернувшись, сказал Михеичев.—Против кого выступать собрался? Против меня? За то, что вовремя не догадался отказаться от этой премии? Потому что стыдно людям в глаза смотреть.

— За что мы жилы рвали? — выплеснул Иван.

— За то, чтобы завтра...— хмурясь, начал Витька..

— Помолчи, малец.

— А я не хочу молчать! — Тропинин задиристо приблизился к Дутову.— Ты сколько денег получил? Без премии? Одной зарплаты?

— Почти в три раза больше, чем обычно,— ответил Михеичев за примолкнувшего Дутова.

— А ведь правда, братцы! — удивился Вадим.— Я такую пачку денег впервые в жизни в руках держал!

— И в последний...— огрызнулся Дутов.— Лиха беда начало. Сегодня премию украли, завтра расценки срежут.

— Как ты не поймешь, Ваня...— Голос Петра Васильевича прозвучал мягко, почти ласково.— У других-то шахтеров, на других участках, и семьи есть и дети...

— У меня мои вот тут сидят! — Дутов постучал себе по шее.

— Лава механизированный комплекс осваивает,— включился Виктор.— И не только наша. Вся шахта помогает нам в ущерб другим бригадам. А для чего? Для того чтобы завтра и в свои лавы затянуть комплексы.— Витька говорил Дутову, но убеждал самого себя.— И с меньшими сложностями и потерями, чем у нас.

— Мы уже достаточно потеряли.— Иван переходил на насмешливо-издевательский тон.

— Техническая революция в шахту прет, а ты ей подножки!..— Бузы не получалось, Вадим принимал сторону Витьки, который всегда и во всем оказывался прав.

Они подходили к своему забою. Вереница вагонеток, загруженных породой в предыдущую смену, была подцеплена к порожняку, и расстояние от последнего вагона до забоя хоть и выглядело солидно, но Михеичева не очень устраивало. Метров десять — пятнадцать еще вырвать бы совсем не помешало. Пока все идет хорошо, а случись какой-нибудь затор в забое штрека — лава сядет на плечи. К графику скоростной проходки привыкли, не считали это чем-то выдающимся, воспринимали, как трудное, но необходимое дело, штрек подвигался вперед, не снижая темпов. Колонковые сверла заменили буровыми станками, работа пошла еще быстрее, шпуры пробуривались с большей скоростью. Только крепление кровли, укладку шпал и наращивание рельсов теперь уже двухколейной дороги по-прежнему приходилось делать вручную, тратя уйму времени и физического труда. Как раз этим злопротивным делом и предстояло заняться проходчикам.

Слева от ППМ поблескивала горка новеньких костылей, неподалеку аккуратно уложенным штабелем высились развинченные детали арок. Вместо привычных деревянных шпал у правых затяжек грузно серели железобетонные брусья. Это тоже было новшеством в их проходческой практике, и, как всякое новое, вызывало подозрительный интерес.

Вадим подошел, пощупал ладонью влажный бетон, попробовал на вес. Брус был тяжелым. Он отпустил его, брус увесисто шмякнулся о такую же штуку. Парень вытер руки, покачал головой: «Ничего себе, дура! Пупок развяжется».

Михеичев слышал о том, что в шахту опустили новые шпалы, и теперь с любопытством разглядывал их.

Спор как-то сам собой затих, и только Дутов громко сопел, резкими движениями сбрасывал самоспасатель, фляжку и кидал их рядом с арками. Намерился снять спецовку и уже высвободил одну руку, но передумал и вновь накинул, застегнул пуговицы.

Петр Васильевич осмотрел кровлю, вид нависших серых глыб ему чем-то не понравился, он взял клевак, постучал по изломам породы и, успокоившись, распределил работу. Гайворонский с Дутовым должны были наращивать рельсы, а сам бригадир вместе с Тропининым принялся за арки. Крепление выработки он считал делом наиважнейшим и потому операцию эту всегда производил сам, призывая на помощь самого сообразительного и старательного напарника.

Всю оставшуюся злость Дутов обрушил теперь на неподатливые, увесистые шпалы. Работал он ловко, залихватски кляня и того, кто придумал эти «чушки», и тех, кому пришла в голову сумасбродная мысль опустить их в шахту, и Вадима за то, что взопрел, то и дело вытирает пот,— всех и вся.

Первая же канавка под шпалу оказалась мелкой, ее долго пришлось обхаживать клеваками, пока железобетонная «дура» не легла в нее надежно и удобно. Иван и сам взмок, как скаковая лошадь, скинул робу, потом футбольную майку, поблескивал еще чистой спиной. К концу смены она покроется пылью, обильно смочится потом, измажется дегтем, и Петру Васильевичу придется немало потрудиться, помогая смыть въевшуюся в поры черноту.

Вадим работал молча, не тратил силы на ненужные разговоры. Пот застилал ему глаза, но в голове с приятной ленцой текли мысли о том, что наконец-то на этой неделе у них с Витькой все вечера свободны и можно будет сходить на танцы, в кино, поблукать с гитарой по поселку, поиграть с Настенькой. Воспоминание о Насте освежило душу Вадима, будто в этой сырой, удушливой атмосфере штрека повеяло чистым, прохладным ветерком.

Из-под клевака густо сыпала порода, а перед глазами у Вадима была лукаво улыбающаяся мордашка Насти, в ушах тоненько звенел ее голосок.

«Вадик, а почему снег летит вниз, а не вверх? Вадик, а почему ты Вадик, а дядя Витя — дядя Витя?»

«Настенька, мы же договорились с тобой, что никакие мы не дяди, просто Витя, Вадик, Боря. Ты наша младшая сестренка».

Девчушка хлопает глазенками, ничего не может понять.

«А Даша кто?»

«Дарью Степановну ты можешь называть тетей Дашей».

«А почему?»

Вадим вспомнил о непрекращающейся войне между комендантшей и их комнатой, нахмурил лоб.

Вторая канавка под шпалу опять получилась неудачной. Дутов клокотал, как вода в лопнувшей трубе. Подошел было Виктор, хотел помочь, но, услышав нечленораздельную брань, невольно попятился и принялся за свои арки. Вадим поддел шпалу ломом, крутанул в сторону, и та со скрипом села на место. Дутов крякнул и поблагодарил напарника лихой тарабарщиной.

Вадим словно заразился буйством Дутова, работал зло, и мысли в голове были отрывистые и решительные.

«Ишь, чего захотела, старая! Девчонку к себе забрать! То мы ее не так одеваем, то не тем кормим. Фигу ты получишь, а не Настеньку!»

Злился Вадим искренне. Девчушка вошла в их комнату каким-то инородным, неуклюжим существом, вроде интересной, но стесняющей привычный быт игрушкой. А через некоторое время наполнила жизнь новым, доселе неизвестным содержанием.

Заботы об этом маленьком, потешном человечке стали общими для всех троих, еще больше сблизили ребят. Каждый старался, как мог. В комнате появились куклы, медвежата, разноцветные книжки, в специально купленных вазах и тарелочках — конфеты, вопреки запретам Дарьи Степановны. «Дитю шоколад...»

В один из дней Вадим привел Настеньку домой, забрав ее из детского сада. Расстегнул шубку, снял сапожки, смеясь, потер раскрасневшиеся с мороза щеки. Витька сидел за столом и загадочно улыбался. Потом подошел, взял Настю на руки, что-то шепнул на ушко. По тому, как блеснули ее глазенки, Вадим понял, что Витька приготовил сюрприз.

Настасья росла большой модницей, и плеснувший в глаза разноцветьем красок сарафан привел ее в восторг. Она соскочила с рук, затанцевала на месте, приложила к груди обновку, прыгнула к Витьке, обвила его шею ручонками.

«Витя, Витя, ты Дед Мороз — волшебник?!»

Зависть острыми коготками царапнула Вадима за сердце. Никогда такого не случалось с ним раньше.

На другой день он обшарил все местные магазины, но ничего подходящего для Насти так и не нашел. Зато через неделю, вернувшись из города,

Вадим возложил к ногам Настасьи сияющее люрексом платье.

«Это мне?» — ахнула изумленная девчушка, а потом неутешно плакала, размазывая по личику крупные слезы. Наряд оказался настолько большим, что она утонула в нем, как в бездонном мешке.

«Перешьем!» — утешил Виктор, неизвестно к кому обращаясь. Утешение в равной мере нужно было обоим — и Вадиму и Насте.

...Рельсы на новые шпалы ложились ровно, будто влипали в вязкий клей. Иван немного поостыл, надоело браниться в одиночку.

Они заканчивали настилку рельсового пути, но крепление штрека подвигалось туго. Арки не хотели прилегать к боковинам и к кровле, стыки топорщились, стяжки приходилось загонять молотом. Михеичев нервничал, то и дело поглядывал на кровлю, словно нюхом чувствовал опасность. Чем-то не нравилась она старому шахтеру. Не внушала доверия. У Витьки из рук выскользнул ключ, больно ударил по колену. И в этот миг левая арка пронзительно взвизгнула, потом зашлась каким-то неестественным храпом, металл дрогнул под многотонной тяжестью и сразу сдался, будто размягчился. осел, завиваясь в спираль. Угластый валун медленно, как-то нехотя шевельнулся и, хрустя боками, пополз вниз на головы проходчикам. Вадим выронил клевак и отскочил назад.

— Витька, берегись!

Валун тяжко ухнул на спину породопогрузочной машины, и та сначала качнулась, лязгнула, потом както присела и со страшным металлическим хряском пропала в клубах пыли.

— Витька!..

Вадима била дрожь, и он, не в силах унять ее, тянул руки, пытался не то закрыть ими глаза, не то сдавить рот. В густой пыли пропал Дутов.

— Витя, Дутов, Витя!

— Тя-тя-тя...— отозвалось в глубине штрека, и Вадим увидел, скорее почувствовал, как вокруг него, справа и слева, извиваясь змеями, с металлическим воем зашевелились арки.

— Витька!

Из черного провала кровли, круша металл и закрывая собой все пространство штрека, прямо на него ползла чудовищно большая глыба породы. Гайворонский рванулся с места, но свет на каске погас, и непроглядная темень обволокла его.

«Конец»,— спокойно подумал он, словно речь шла о другом человеке.

Но в следующий миг Вадим вспомнил Витьку и то страшное, что случилось, и все в нем вспыхнуло, запротестовало, он вновь попытался бежать, но не мог шевельнуться, будто схватил его кто-то громадными лапами и держал. Он только слышал, как совсем рядом, в вязкой темноте, все приближаясь, тяжко ухают глыбы породы и так жутко скрежещет металл о камень, что на голове у него зашевелились волосы.

— Витя, ты жив?

Послышался тихий стон.

— Кто там? — Гайворонский ощупью двинулся на звук голоса.

— Беги к телефону,— простонал Дутов.

— Где ты? Говори громче.

— Звони на-гора́.

Вадим наткнулся на Дутова, потрогал его ноги, руки — вроде невредимы. Лапнул ладонью по лицу и отпрянул.

— Звони...— шептал Иван.

— Сейчас, сейчас,— торопился Вадим, оттаскивая обвисшее тело Дутова глубже в штрек, подальше от разъяренного камня.

Он разодрал на себе рубаху, вырвал целый бок, стал бинтовать голову Ивана. Кровь шла из раны выше лба, Вадим никак не мог закрепить на ней повязку. Дутов, скрипя зубами, стонал и все просил его скорее бежать к телефону, сообщить о случившемся на-гора́.

Рядом с ними и дальше в забое все еще падала порода, гулко била по почве, рельсам, отскакивала в штрек. Со всех сторон визжала крепь, и казалось, что подземелье превратилось в разъяренного хищника, готового поглотить в свое непроглядное чрево все на свете.

Вадим забинтовал голову Дутову, подхватил его под руки, оттянул еще дальше, куда не долетала порода.

— Беги, Вадик...

Он поискал около себя каску, не нашел, поднялся и в сплошной темноте двинулся к телефону. «Что же это такое? Неужели их накрыло?»

Гайворонский добежал до погрузочного люка. Возле реле сидел Петраков.

— Гена, беда...

— У тебя кровь на щеке.

— Скорее, Гена! Вытяни Дутова. Витьку с бригадиром накрыло.

Тот вскочил, поправил коногонку, побежал к забою.

Вадим вырвал из защелок трубку телефона, прокричал в микрофон:

— В Первом Западе обвал! Горноспасателей...

На-гора́, над шахтным копром, сияло яркое полуденное солнце.

Глава одиннадцатая

Пожалуй, это была самая кошмарная ночь в его жизни. Он смутно помнил, как вновь бежал к забою, сдирая ногти, пытался разобрать завал, кричал, звал Витьку, как потом штрек заполнили незнакомые люди с ранцами кислородных аппаратов за плечами, и его силой уволокли к стволу, где он краем уха услышал фразу: «Из завалов такого порядка мало кто выходит»...

Не помнил он также, как и с кем шел в общежитие, как, не раздеваясь, упал в кровать, мгновенно уснул. Но через некоторое время проснулся, и ужас случившегося теперь с ясным сознанием охватил его.

За окном шел дождь, в комнате висела такая тишина, что он отчетливо слышал, как размеренно сопит Борис, как гулко и медленно бьется его собственное сердце. Вадим смотрит в темный потолок, и на душе у него становится так тяжко, что не хочется ни о чем думать, он злится на темную ночь, дождь, на то, что должен наступить день и надо будет принять реальность жизни такой, какая она есть.

«Витя, неужели тебя уже нет в живых?»

Еще никогда Вадим не испытывал такого пугающего, такого гнетущего одиночества. Он хочет забыться, уснуть с тайной надеждой на то, что, проснувшись, увидит все не так, как есть, все изменится, и рядом с ним опять будет Витька.

Гайворонский резко вскочил с постели, выбежал в коридор. Кутаясь в халат, вышла Дарья Степановна. Вадим поднял трубку телефона, лихорадочно набирал номер шахты.

— Не надо, Вадик,— остановила его комендант-

ша.— Я только что звонила...— Она опустила голову, и он понял, что ничего утешительного нет.— Всех лучших проходчиков собрали. Бог даст, откопают. Спи иди, тебе в первую смену.

Он прошел в комнату, лег, будто заснул, потом сел на край кровати, подумал о том, что через несколько часов надо спускаться в шахту, пройти по штреку к завалу. И Вадим вдруг представил себе это и содрогнулся. «Там кровь, она брызнула из-под камней и залила все...»

Страх от пережитого до него еще не дошел. Он только подбирался к нему, подступал медленно, но настойчиво.

Проснулся Борис. Приблизился к кроватке Насти, поправил одеяло.

— За все на этом свете человек должен платить.— Борис стоял у окна и словно говорил с кем-то, притаившимся там, в темноте.— За уголь, за сталь, за все блага и несуразности жизни. И самое нелепое — это смерть в расцвете лет.

«Да, действительно, что может быть нелепее? — подумал Вадим.— Зачем мы вообще явились на эту землю? Любить, работать, ненавидеть, переживать, мучиться? Нет, Витька жив, жив, жив! Иначе зачем все?» Гайворонский вдруг понял, что если он увидит кровь на боковых зашивках или на породе, которую будут разбирать, то не выдержит, убежит из забоя и уже никогда не сможет спуститься в шахту. И в поселке и в этом общежитии ему не жить. Смерти Вадим не боялся. Он просто не думал о ней. «Через час надо вставать. Зайду в нарядную, потом в раздевалку... Переоденусь... Нет! Нет, в той куртке работать мне нельзя, она обрызгана кровью. Ее нужно заменить...»

Он сидел на кровати, упершись локтями в колени, опустив голову на ладони. Еще ничего не решив, страшась самой мысли, что нужно принимать решение, он обзывал себя трусом, предателем и не стыдился этих определений, словно инстинктивно строил баррикаду, за которой хотел укрыться. А из-за укрытия доносилось: «Там кровь, весь забой окровавлен. Но надо же...»

Он уловил смысл этого «надо» и не мог сдвинуться с места.

Потом заставил себя протянуть руку, нашел на спинке кровати брюки и медленно поднялся. Парень был почти в прострации и, если и делал какие-то движения, то только потому, что шаг за шагом неохотно, но неукоснительно подчинялся этому «надо». Надо встать, и он вставал, надо надеть брюки, и он надевал, надо умыться, и он шел к умывальнику.

Всем его существом управляло теперь это непонятное, но властное «надо». Оно толкало вперед, он сопротивлялся, но двигался, явственно ощущая, что за этим пока маленьким «надо» стоит огромное и пугающее: надо сесть в клеть, спуститься в шахту и пройти в родной и такой страшный теперь забой.

Порой он начинал торопиться: «Скорее, скорее на помощь!» — но надежда на спасение друга была так мала, а вероятность увидеть раздавленное чудовищным грузом тело так велика, что сердце стыло и страх парализовал волю.

Вадим был уже убежден, что его куртка обильно залита кровью. Он видел ее цвет, ощущал запах и тошнотворное кружение в голове. Парень отчаянно пытался избавиться от этих видений, но они становились только ярче. Вадим больно ущипнул сам себя за ногу, начал спешно одеваться. Хотел подождать Бориса, но передумал, выбежал на улицу.

Дождь затих, по небу мчались рваные клочья туч. На восточном краю поселка, за ставком, край неба алел, вот-вот должно было взойти солнце. Чирикали проснувшиеся воробьи, в деревьях, под балконами, тенькали синицы. В некоторых окнах горел свет, реденькая цепочка людей протянулась к столовой. Поселок пробуждался, нехотя сбрасывал покров ночи, будто многопалубный корабль выплывал из тумана.

Есть Вадиму не хотелось. Но, поразмыслив о том, что на пустой желудок много не наработаешь, завернул к знакомой двери. В зале было тихо, в разных углах парами и в одиночку сидели шахтеры, сонно жевали еду, на кухне гремели тарелки, стучали стаканы, тихо переговаривались повара. Завтрак он ел без аппетита, лишь бы наполнить желудок, накопить силы. Сосиски обжигали рот, и он глотал их, не разжевывая, чувствуя, как они припекают внутри, согревают тело. Вскоре, однако, у Вадима появилось такое отвращение к пище, что он перестал глотать и, уставившись пустым взглядом в тарелку, решил, что все кончилось, что и эта столовая, и пища, и лениво жующие люди за синими столиками, и бросившее кровавый свет в окно взошедшее солнце — все это не реальность, не настоящая жизнь, а какая-то подделка.

По дороге на шахту его догнал Борис. Несколько шагов шли молча.

— Борь, а что если действительно Витьку?..— Вадим не договорил, потому что предательски дрогнул голос, и, унимая эту дрожь, он достал сигареты, чиркнул спичкой и вместе с дымом выдохнул: — Я не знаю, как жить тогда. Куда деть себя?

— Мы не мальчики. Ко всему надо быть готовым.

— Только не к этому. Витька мне больше чем брат. В моей жизни это будет первая потеря...

Когда они вошли в нарядную своего участка, за столом, уставленным многочисленными телефонами, уронив голову на руки, дремал Плотников. С правой стороны белела раскрытая тетрадь, густо исписанная докладами с места завала. Записи походили на сводки тяжелого, но пока безрезультатного боя. Координационный центр по ликвидации аварии работал четко, всю ночь напролет около телефонов дежурил кто-то из высшего руководства.

Вслед за ребятами в нарядную вошли Чернышев и Игнатов. Плотников приподнял голову.

— О чем же меня просил Клоков?..— Иван Емельянович потер виски.— Ах да... Спецовку Гайворонскому надо заменить и разбитую коногонку.

— Мне? — переспросил Вадим и сжался. «Секретарь видел... Она вся в крови».

— Вот, вот,— подтвердил Плотников.— Вся новая амуниция в ламповой.

— А старая? — спросил Вадим.

— Выброси.— Игнатов недоуменно посмотрел на него.— Жалко, что ли?

«Точно. Спецовка вся в крови».

В дверь ввалился Митин. Поздоровался за руку со всеми подряд, сел на лавку рядом с Борисом. Луч света ударил ему в лицо, он отвернулся.

— Что слышно? — спросил Матвей и опустил голову, будто заранее знал, что на хорошие вести надеяться не приходится.

— Зубами грызем.— Сергей Сергеевич листал журнал, отмечая что-то карандашом.— Откуда он взялся такой? По крепости колчедану не уступит. Бур не берет, пики ломаются, а взрывчатку, сами понимаете, применить нельзя.

Задребезжал телефон. Игнатов схватил одну трубку, потом другую, отозвалась только третья. Звонила Галина Ивановна Михеичева. Очевидно, плакала — Сергей Сергеевич долго успокаивал ее, говорил, что надежда не потеряна, работают горноспасатели, им помогают лучшие горняки шахты, вот



сейчас в нарядной сидят проходчики из бригады мужа, его друзья, они сделают все возможное и невозможное, чтобы скорее разобрать завал.

Он начал перечислять всех поименно, потом перешел на трудности аварийных работ, понял, что этого говорить не следует, умолк, слушая шахтерскую жену, как за спасительную соломинку, уцепился за случай на шахте «Никанор»: мол, там шахтеры сидели в завале пять суток и, слава богу, выжили, здравствуют по сей день.

Утешения начальника ВТБ, вероятно, мало действовали на женщину. Он мучительно морщил лицо, отыскивая нужные слова, не находил их, пытался в чем-то оправдаться, но и оправдания не получалось; Игнатов выглядел виноватым и жалким. Наконец закончил разговор, с некоторым облегчением положил трубку и долго смотрел на нее.

«Что сказать? Чем утешить?»

Проходчики вышли из нарядной, направились в раздевалку. Впереди, размахивая длинными руками, шествовал Чернышев, за ним Борис и, закрывая от Вадима широкой спиной весь проход, медведем покачивался Матвей Митин. Шаги гулко отдавались в пустом коридоре, перерезанном в нескольких местах густыми снопами солнечного света.

«А там мрак...» — подумал Вадим.

Перед его глазами опять встала раздавленная машина и за ней жуткое видение, которое он гнал от себя и от которого не мог избавиться. Оно наплывало большим красным пятном, в нем просматривались контуры человеческого тела, зыбкие, неясные. Вадим встряхивал головой, будто ему являлось отражение в воде, и он, боясь его четкости, взбалтывал поверхность. Подкашивались ноги, кружилась голова, красное пятно то сгущалось, то редело.



Из противоположного конца коридора вынырнул Семаков, прямо в чем был в шахте, с зажженной коногонкой на каске, быстро двигался навстречу. Вслед ему выглянула банщица, хотела было остановить — по этой части комбината ходить в спецовках не разрешалось,— но только покачала головой.

На вопросы проходчиков мастер безнадежно махнул рукой, грязным кулаком по-мальчишески потер нос. Митин разозлился:

— Совсем малый говорить отвык!

Вадим нес новую спецовку под мышкой, штанина от брюк выпала, волочилась по полу, он зацепился за нее, споткнулся, аккумулятор вывалился из рук, стукнулся об пол.

«Там мрак...»

Кровавое пятно застилало глаза, все мышцы в теле потеряли упругость, грудь опустела, и только больно давило в голове, у самых висков. Вадима непреодолимо потянуло сесть на пол, прямо здесь, посреди коридора, закрыться руками и обо всем забыть.

Подошел Борис, помог собрать вещи. Новенькая каска отсвечивала молочной белизной, Дербенев вставил в нее такой же новенький глазок, щелкнул переключателем.

— Что твой лазер! — Отдал Вадиму.— Дай ключ от спецовки.

— Зачем?

— Принесу сапоги.

«И Борька все знает. Не хочет, чтобы я увидел кровь».

— Не надо, я сам.— «Увижу кровь — в шахту не пойду».

— Как хочешь,— молвил Борис.

Шахтеры разделись, повесили одежду в шкафы. Голяком прошли через баню в помещение для спецовок. Около своего ящика раздевался только что выехавший из шахты Максим Антонов. Вадим кинулся к нему.

— Что там, Макс?

— Стук слышали.

— Из завала? — Глаза Вадима вспыхнули, он напрягся, будто в его теле выпрямилась какая-то доселе дремавшая пружина.— Сам слышал? — Он тряс Максима за плечо.

— Будто тихо поскреблись...— уклончиво ответил Антонов.

— Они живы! Я знал!..— вскрикнул Вадим и побежал к своему ящику за сапогами.

Заспешил неповоротливый Митин, Федот Изотович прыгал на тощей, волосатой ноге, никак не мог попасть в штанину другой, такой же длинной и жилистой. Вдев обе руки в рукава, Борис одним махом, через голову, накинул робу, цапнул коногонку, рывком застегнул ремень.

У Гайворонского дрожали руки, ключ не попадал в скважину маленького висячего замка. Потеряв терпение, сдернул с пояса аккумулятор, кованым краем саданул по запору. Замок тоненько звякнул, переломанная дужка затенькала по кафельному полу. Из шкафа вывалился резиновый сапог, другой, как нарочно, запутался в грязной спецовке.

«Скорее! Он жив!»

Разорванная до плеча роба была мокрой. Вадим откинул ее подальше, из брюк высвободил сапог. Портянки невесть куда запропастились. Искать не хватало ни времени, ни терпения. Он сунул голые ноги в мокрые, холодные сапоги, застегиваясь на ходу, побежал к клети.

«Скорее! Витька жив!»

Вслед бегущим шахтерам что-то кричала банщица, они не слышали, подчиняясь одному-единственному:

«Скорее! В клеть! В шахту! Они живы!»

В середине ствола, когда клеть падала вниз, Вадим вспомнил о своей спецовке, поднял руки к свету, расставил пальцы. Следов крови на них не было. «Дурак!» — мысленно ругнул себя и тщательно вытер с ладоней породную грязь.

Теперь он не чувствовал страха, ночные кошмары забылись, в глазах мелькал Витька, живой, зовущий на помощь, вместо скрежета из завала чудился слабый звук.

В рудничном дворе по спецовкам шахтеров ударила струя воздуха, брызнула водой. Двор был пуст. Вадим вырвался вперед, почти бежал.

Обрушенный забой штрека напоминал летку огромного растревоженного улья. С кайлами, молотками, ломами в завале кишели люди, с какой-то неутолимой яростью набрасывались на угластую породную глыбу, закрывшую собою все сечение штрека. Вместе и вразнобой вскидывались руки, из-под стальных инструментов брызгали куски породы, мохнатыми снопами сыпались искры. Казалось, горняки обезумели в своем неистовстве, и не было на свете силы, способной остановить их. В этой кутерьме извивающихся тел, в блеске стали, в оскале перекошенных лиц виделось что-то жутковатое, будто люди эти были обречены, и, чтобы избавиться от этой страшной обреченности, они должны сделать нечто, что заведомо выше их человеческих сил.

Парень с рассеченной щекой пытался что-то сказать своему соседу, но голос покрывали вскрики шахтеров, треск отбойных молотков, злое фырканье компрессоров, вой вентиляторов. Горноспасатель — им оказался парень со шрамом — отложил молоток, метнулся к аппарату, жадно припал к загубнику с кислородом. Его молоток тут же подобрал сосед, налег на него всем телом.

От левой стороны валуна под напором ломов и молотков откололи увесистый кусок породы. Его с остервенелым удовлетворением выпихивали из забоя, упираясь руками, ногами, взмокшими спинами. Полутонная громадина нехотя ворочалась, оставляя в почве глубокие вмятины. Горноспасатель отложил загубник, махнул шахтерам рукой: «Хватит, оставьте породу там, где есть».

Люди отпрянули от валуна, вновь набросились на забой.

Не выдержал Гаврила Кошкарев. Кинул лом, трусцой побежал к кислородному аппарату. Из-под каски с висков широкими полосами сбегал пот, капал с кончика носа и подбородка, Гаврила не вытирался, пот тек на робу, оставляя на ней грязные, распухшие от пыли бороздки.

Глотнув живительный воздух, Кошкарев с новой силой ринулся на забой. Плечом к плечу стоял Гриша Ефимов, орудовал отбойным молотком. Замысел Гаврилы был прост: срубить наискосок самый низ валуна, а там должен обнаружиться клеваж, по которому легче скалывать породу. Григорий понял это без слов, отчаянно помогал.

Теперь и с правой стороны удалось отколоть внушительный кусок породы, его подваживали ломами, катили прочь от завала.

Работающий в паре с горноспасателем шахтер подтянул к молотку запас шланга, решительно полез вверх, в самый купол обвала. Как заправский скалолаз, примостился на выступе, секанул верхушку валуна. Брызнули куски породы, дробью ударили по каскам работающих внизу. Поняв всю опасность своей затеи, забойщик спрыгнул сверху, короткими очередями принялся обхаживать нижнюю кромку.

Если в голове Вадима раньше теснились какие-то надежды и сомнения, то сейчас они исчезли, все его существо полностью захватил этот фантастический ритм работы, этот озлобленный до жестокости к самим себе бой шахтеров с камнем.

Митин натянул рукавицы, как-то по-звериному гикнул, подскочил к Ефимову, отнял отбойный молоток.

— На-гора́, иди отдыхать — смена!..— Он вытолкал его из забоя, ни секунды не мешкая, ткнул молотком раз, другой, входя в азарт и давая волю своей силе.

Гайворонский шагнул к Кошкареву, потянул из его рук лом. Тот, не сопротивляясь, выпустил, грязной рукавицей отер лицо.

— Клеваж...

Вадим понятливо закивал головой.

— Стук слышали?

— Показалось...

— Не ошиблись?

— Показалось.— Сгорбившись, Гаврила пошел от забоя.

Как ни странно, но у Вадима это сообщение уже не вызывало в душе никакой реакции. Ярко освещенный перекрестьем лучей завал, хоть и выглядел зловеще, но не был страшен. Наоборот, вид крошащейся породы, отчаянная какофония рубящих, скалывающих инструментов в руках осатаневших в своем упорстве шахтеров вселяли уверенность в том, что это ненавистное чудище, эта неприступная скала будет растерта в порошок, сметена с дороги и там, за ее холодной спиной, они встретят живыми и невредимыми своих друзей.

А если нет такой надежды, тогда зачем все это?

Нагревшийся лом припекал Вадиму руки, он пере-

хватил его повыше, но металл и там был горячим. Скосив глаза, он увидел, что Митин отстегивает флягу, которую забыл снять перед работой, и тонкой струйкой воды поливает рукавицы, фонтанчиком брызгает на раскаленную пику. Вытянув, заменил ее новой.

Чихнул компрессор и, словно взорвавшись, умолк. Обвисли шланги, затих треск отбойных молотков.

— Перегрелся. Живо другой!

В наступившей тишине осипший голос Плотникова прозвучал, как с того света, из какого-то иного, непонятного мира. В уши Вадима ворвался грохот обвала, и та машина, то пятно вспыхнули в глазах, и не понять, где и когда это было. Будто бы здесь, но только в кромешной тьме, а может, и вовсе приснилось. Если тут, то неужели от Витьки его отделяют всего несколько метров? Тогда почему он молчит?

— Емельяныч, пики, как спички, летят! — выкрикнул Чернышев.

— Потерпите минутку, сейчас доставят со спецзакалкой.

Заработал сменный компрессор. Змеями зашевелились шланги, дружным залпом лупанули отбойные молотки. Ночные химеры ушли от Вадима, его вновь захватил ритм работы, жгло нетерпение: скорее, скорее!

Никогда в жизни, ни к кому и ни к чему Вадим не испытывал такой ярой ненависти, как к этой породной громаде. Он готов был вцепиться в нее ногтями, грызть зубами, по-звериному выть и визжать, если бы это хоть на секунду, хоть на миллиметр приблизило к цели.

Однако мозг его работал четко и ясно. Ураганом проносились догадки, складывались планы, как скорее вызволить Тропинина и Михеичева из завала.

«Нет, дело не в клеваже. Низ у этой чушки подрубить нужно, и как можно глубже...»

Осененный, он остановился, дернул Митина за плечо:

— Матвеич, низ глубже вырубить и опрокинуть ее! — Он кричал, жестикулировал, показывая, как надо сделать, и Матвей тут же понял его мысль, на миг замер, потом встрепенулся, замахал руками, созывая шахтеров.

— Рубите низ! — И Вадиму: — Объясни Плотникову. Нужен канат, два электровоза, стальной бурав. Завинтить бурав сверху и потянуть. Живо!

Телефонные провода вынесли на-гора́ категорический приказ главного инженера:

«Тросы, канаты, каленые пики, легированные бурава — в шахту! Немедленно!»

Глава двенадцатая

Темнота казалась густой и вязкой, как смола. Она давила на глаза, и чем шире раскрывались веки, тем ощутимее была тяжесть. Тишина делала мрак еще гуще. От нее тонко звенело в ушах, но этот звук скорее исходил изнутри, будто сами перепонки и нервы исторгали волны наружу в надежде встретить там хоть слабый шелест жизни. Но звуки не могли уйти, вязли в черной смоле, вплотную окутавшей тело.

Контуры пространства не определялись, потерялось время, реальность всего сущего пропала, настоящими были только глухая тишина и непроглядный мрак. Они каким-то образом переплелись и будто бы не могли существовать друг без друга, создали свой зловещий союз, изгнав из него все признаки живого. Но и этого было мало. В гробовое безмолвие тек холод. Он набирал свою игольчатую силу, наполнял пространство стылой сыростью. Стынь казалась живой и даже слегка шевелилась, от ее прикосновения пупырилось тело, но эта холодная жизнь пришла сюда, чтобы разрастись и утвердиться, убив другую, теплую и беззащитную.

А через несколько часов начал давать о себе знать еще более грозный союзник подземелья — нехватка кислорода. Раздувались ноздри, губы инстинктивно хватали немотную черноту, сжимались легкие, заставляя учащенно биться сердце.

Из безмолвия послышался шорох, будто трение темноты о холодные камни. Тропинин прислушался, но сознание опять замутилось, отяжелевшее, чужое тело куда-то провалилось и поплыло. Он порывался закричать и не мог. Тело ломала и скручивала непонятная сила, от нее кружилась голова, подступала тошнота, резкой болью прострелило всю правую сторону, короткой искрой вспыхнуло четкое сознание, но только для того, чтобы ощутить эту боль и потом опять погаснуть в тошнотворном кручении.

Шорох послышался вновь. Виктор попытался напрячься, в правой ноге кольнуло, и боль тут же утихла, осталось тупое зудение. Звук не повторился. Зуд подбирался к позвоночнику, полз выше, и по мере этого продвижения, сознание гасло, словно зуд был ядовитой змеей, а мозг, защищаясь, отступал, покидая тело.

Где он и что с ним случилось, Тропинин не мог пока определить. Ниточкой возвращения к реальности был шорох, но не понять, зачем он, этот единственный живой звук здесь, что означает и существует ли он вообще, может, чудится в кошмарном сне, ничего не обозначая? Тогда зачем сон?

Проблески сознания стали являться чаще, но их замутненные короткие мгновения наполнялись болью, а любые попытки пошевелиться усиливали боль.

«Где Вадим? Где все?»

Позвоночник сделался полой трубой, в которую заливали кипящую жидкость. Жжение уже достигло шеи, плеснулось в голову, но мысль удержалась стойко, как камень, зависший над пропастью на стальном, дрожащем тросе.

«Где ребята? Почему я лежу?»

Мелькнули Дутов, Вадим, Михеичев с аркой в руке и то, как неожиданно поползла вниз кровля, будто падало черное небо, и он инстинктивно уперся в нее руками, надеясь удержать, хотел крикнуть, позвать на помощь, но не успел — исполинская сила оглушила его, шваркнула к забою. Тропинин попытался вспомнить что-то еще, очень важное, но в памяти стояла темная, немая пустота.

— Вадик, дядь Петь...— позвал Виктор.

Свой голос он еле расслышал, на мгновение замер, повторил еще, стараясь позвать громче, звук застревал в горле, казался чужим, непослушным и не шел дальше губ. И от боли и от злости на свою немощь Виктор застонал, попытался перевернуться на бок и не смог. Ноги были туго прищемлены. Он приподнял правую руку, потом левую, ощупал грудь, голову, без радости и без огорчения отметил, что все будто бы цело.

«Где каска? Куда она делась, черт побери?»

— Ребята!

Тропинин вытянул руку — в полуметре над его головой, снижаясь к ногам, висела холодная и противно осклизлая породина. С левой стороны, почти упираясь в его бок, выступали два тупорылых валуна. Вправо, насколько хватало вытянутой руки, была пустота.

— Ребята...

Завал молчал, и он понял, что остался один в этом каменном мешке, с придавленными ногами, а его друзья — и Вадик, и Михеичев, и Дутов — или уже мертвы и находятся под обвалом, где-то в нескольких сантиметрах от него, или... Если есть на свете чудо — живы и, наверное, пытаются откопать его.

«Почему ничего не слышно? Отчего такая тишина?»

Мелькнула мысль о том, что повисшая над самым лбом глыба может осесть, ведь ничего не стоит скользнуть ей на несколько сантиметров вниз и...

С омерзением Тропинин провел рукой по скользкой поверхности породы, и движение это не означало ни мольбу о пощаде — ее он от камня не ждал, ни проверку надежности — в его предательстве он был уверен, но это мелькнувшее «и», не успев вызвать страха, требовало объяснения. Он не стал искать ответа, чем-то острым нестерпимо давило в спину, выше пояса. Первая же попытка освободиться жгучей болью отдалась в ноги.

«Все. Пора уже явиться и этому гнусному старику. Иди. Шубин, чего медлишь, сволочь!»

Тропинин опустил руки и расслабился. В груди шевельнулась обида. «Как глупо...»

Он хватал ртом воздух, ощущал его сухое трение по горлу, но легкие были пусты, хотя и раздувались до боли в ребрах. Ему удалось завести руку за спину и вытянуть оттуда колющий предмет. Им оказалась смятая каска с вдребезги разбитым глазком коногонки. Лежать стало удобнее, жжение в позвоночнике немного утихло.

Из пустоты донесся слабый звук: то ли сорвался осколок породы, то ли шлепнулся сгусток воды. Виктор повернул голову, собрав все силы, позвал:

— Дядь Петь...

Зов вышел слабым, канул в щель, не издав ответного эха. Словно вовсе и не было его.

«Один остался, один...» — толчками билось в виски, болючими волнами приливало к ногам.

Никаких чувств, кроме зла за свою одинокую беспомощность, Тропинин пока не испытывал. Не было даже страха. И казалось, что будь он здесь не один, уйди от него эта незатихающая боль, усиливающаяся при каждом ударе сердца, да вдохнуть бы на полную грудь свежего воздуха, то, считай, ничего страшного с ним не произошло.

Случалось ему слышать об обвалах и взрывах газа метана и о других бедах суровой подземной стихии. Шахтеры хоть и считали эти явления не очень желательными, но все же возможными,— такова их профессия. Но все эти беды происходили в других местах, с другими людьми, а их это минет, по крайней мере произойдет не сегодня и не завтра.

И Тропинин еще не осознал себя в положении именно того, с кем это «где-то» случилось, и тем более не в отдаленном будущем, а именно сейчас, сегодня, сию минуту. Его «я» не постигло беды, не слилось с ней в одно целое. И на какой-то миг, когда смятая каска перестала давить в позвоночник, он вспомнил Ларису и потужил, что намеченное свидание не состоится, а предстояло о многом поговорить, но и это сожаление было мгновенным...

Больше всего пугало одиночество и не совсем четкие мысли о том, что друзья его, возможно, остались в завале. Хотя в это тоже не верилось.

От неосторожного движения ногами в позвоночник плеснуло раскаленным свинцом, обдало мозг, и Тропинин вновь на несколько минут потерял сознание.

Очнулся он резко, как от внезапного выстрела над ухом. Ему послышалось, что его кто-то зовет. Осторожно прочистил пальцами уши, правой рукой пошарил в пустоте. Завал молчал. От непроглядного мрака глаза лезли из орбит в бессмысленной и бесполезной попытке рассмотреть что-то, в ушах стоял отдающий болью во всем теле стук сердца и хрип легких, сухой и шершавый.

«Как в могиле,— подумал Виктор и с удивлением, на какое был способен, отметил: — А может, действительно, существует тот свет и загробная жизнь, и он уже там, в том мире, иначе чем объяснить темноту, немоту и сырой игольчатый холод?»

Но реальной была боль в ногах.

«Раздавило кости...» — обреченно решил он, и эта мысль не испугала его, а только разозлила.

Нелепо вот так валяться, не в силах что-либо предпринять!

«Какой там Шубин, какая загробная жизнь...»

Виктор еще раз ощупал голову, провел рукой по сухим и, как показалось, горячим губам. Хотелось пить. Тело мерзло сверху, а внутри, от ног до позвоночника, горел жар. Он коснулся породы, осклизлость не показалась мерзкой, парень опустил руку и сухим языком лизнул ее.

«Так и подохнуть можно».

В сердце, будто пропоров спецовку и кожу, кольнуло длинной цыганской иглой.

— Ребята...

«Неужеяи кости вдребезги?»

Виктор закрыл глаза, и перед его мысленным взором неуклюже запрыгал на костылях бедно одетый человек. Спина его жалко горбилась, дрожали руки, и пустая штанина моталась то взад, то вперед, цеплялась за грубый неотесанный костыль и обвивалась вокруг него. За первым инвалидом появился второй, третий с такими же черными подпорками под мышками...

Тропинин открыл глаза, видение исчезло, он успокоил себя: «Глупости...»

Но стоило смежить веки, как безногий человек появлялся вновь, и Виктор без всякой связи со своим теперешним положением, зло отгонял его, повторяя: «Глупости, глупости...»

— Есть кто живой?

Голос был тихим, хриплым, но Витька сразу узнал его, обрадовался, как спасению, и потянулся навстречу, в пустоту, откуда исходил этот зов, а тело прошило током от головы до ног, и, теряя сознание, он застонал:

— Я... дядь Петь... я...

Беспамятство продолжалось недолго. Виктор очнулся с надеждой, что теперь все образуется, если рядом с ним живой Петр Васильевич. Вдвоем они непременно что-то придумают, высвободятся из этого каменного плена.

— Живой я, дядь Петь...

«Черт, почему так тихо говорю!»

— Есть кто живой, откликнитесь! — донеслось из завала.

— Жив я... мне ноги...— пожаловался Виктор, и в его тихом голосе дрогнули плаксивые нотки.

— Откликнитесь, я ничего не вижу и не слышу!

Михеичев заскрипел зубами, послышался скрежет породы — очевидно, он переворачивался на другой бок или пытался приподняться.

— Я не могу крикнуть громче.

Тропинин шарил вокруг себя руками, надеясь отыскать камень и постучать им, но как назло там, куда мог дотянуться, не было ни единого осколка. Ладонь нащупала смятую каску. Он схватил ее, что было сил застучал, заскреб по почве.

— Я здесь, я жив...— Выронил каску, прислушался.

— Откликнитесь! — взывал Михеичев.— Я ничего не слышу!

Тропинин задыхался. Последние силы покидали его. Петр Васильевич находился где-то метрах в двух, от силы в трех, но почему не слышит? Ведь его-то отлично слышно. Виктор вновь поднял каску, переложил ее в левую руку, стукнул по тупорылому валуну, упирающемуся в бок. Звук показался слабым, он нащупал острый слом на каске, поскреб им по породе.

— Витя, Вадик, вы живы? Отзовитесь.

— Жив я, дядь Петь. Слышишь, жив.

— Хоть кто-нибудь отзовитесь!..

Михеичев бил камнем по камню, стук получался отчетливым и резким, далеко не уходил, метался от стенки к стенке в узком каменном мешке, будто шмель, попавший в бутылку. После оглушающей тишины этот звук резал уши, а по его короткому метанию от камня к камню Виктор понял, что щель, где они оказались и которая пока хранила им жизнь, невообразимо мала. И по этому энергичному стуку и по силе михеичевского голоса он догадался, что бригадир ранен не сильно, только что-то произошло со слухом.

«К чему теперь эти позывные?»

Каска сама упала из уставшей кисти, Тропинин прикрыл глаза, и в поплывшем розовом тумане мелькнул безногий инвалид, потом скрылся, его место заняла Лариса.

На взгорке, около балки, голубыми свечками плеснулись подснежники. Она бежала по лугу, в черных, облегающих икры сапожках, большие коричневые каблуки увязали в оттаявшей земле, но бег от этого не казался тяжелым, наоборот, девушка как бы летела по воздуху, а луг, и земля, и цветы цеплялись за ее мелькающие ноги, не хотели отпускать.

В полях стояла тишина, зеленеющие дали сливались с безоблачным небом и подчеркивали безмятежный покой природы. От терриконов шел пар, закрывал их белесой вуалью, и они казались призрачными, как таинственные острова в далеких мечтах или детских сказках...

Весенний луг погас, в завале настойчиво и монотонно бил породой по породе Михеичев. Тропинину показалось, что монолит над ним дрогнул, он прислушался, но из-за стука бригадира никаких других звуков не уловил. Рукой пощупал кровлю над головой, она находилась в прежнем положении.

«Держись, сволочь, иначе мне каюк».

Виктор потер плиту ладонью, смочил лоб. Он уже был уверен, что у него поднялась температура.

— Все...— отрешенно сказал Петр Васильевич, и Виктор услышал, как из его рук выпал камень.— Один остался. Накрыло Виктора.

— Дядь Петь, пожалуйста... услышь меня...

Тропинина опять обволакивало холодным туманом, который ни на каплю не остужал разгорающийся внутри жар. Парень куда-то проваливался — то в омерзительную стужу, от которой сводило судорогой руки, ледяные иголки прокалывали кожу, то в огнедышащее пекло, в котором он медленно горел, ощущая, как в голову и в ноги частыми толчками плескается раскаленная кровь.

Надежду на то, что его услышит Михеичев, он потерял и теперь напрягал слух, боясь пропустить его слова — пусть даже не смысл сказанного, а сам звук голоса. Обмороки стали чаще, он, как утопающий, то выныривал, возвращаясь к жизни, то тонул в густом, холодном мраке.

— Господи, как же ты там, Галинка? Неужто похоронила? Дак я жив, Галя. Ты не плачь раньше времени. Родная моя...— Он с силой потянул в себя воздух, очевидно, попытался вздохнуть, послышался сухой храп.— А на что надеяться? Придавит.

— Нет! — сказал Тропинин.— Нет, нет! — с натугой повторил еще, надеясь, что сознание покинет его и тогда не будет страшно.

— Если не догадаются придержать глыбу сверху, она скользнет по забою.— Зашуршала роба. Михеичев ощупывал вокруг себя пространство.— Так и есть...— Голос был ровным, и слова прозвучали, как приговор.

«Нет!» — вновь намерился возразить Виктор.

— Я не хочу умирать,— с расстановкой, почти по буквам, произнес он, но это бригадирское «так и есть» стояло в ушах, и было от него страшно, а сознание держалось стойко.

— Ну, вот, Петя-петушок...— тем же спокойным голосом проговорил Михеичев.— Видно, пришла пора подбивать бабки...

— Нас откопают! Спасут! — запротестовал Тропинин и вновь куда-то провалился, в глазах блеснуло могучее солнце, усыпанный подснежниками луг, но Ларисы не было, он стал звать ее, явился Вадим, злой, перемазанный углем, в заношенной робе.

«Где молотки? Я спрашиваю, где никелированные молотки?»

«Зачем они тебе, Вадик?»

«Издеваешься... Мы сделали рекорд! А в каком виде народу покажемся? Если на-гора не будет молотков, звоню в ЦК. Я Кулькова в шашлык превращу! Я его в штыб измельчу!»

Клеть снарядом вынеслась из ствола, по глазам шахтеров резанул солнечный свет, и тут же грянул оркестр. Гайворонский плечом оттер Дутова, за руку потянул Витьку.

«Давай вперед!»

Нестройными шеренгами замерли пионеры, с красными галстуками поверх зимней одежды, вразнобой пискнули «ура», их тут же заглушила медь труб, под ноги рекордсменам упали живые цветы...

Этому видению что-то помешало. Сцепив зубы, он застонал и неожиданно заметил, что воздуха в завале стало больше. Потянул ртом, носом, дышалось легче. Справа, там где был Михеичев, застучали камни, послышался шорох.

«Конец,— решил Тропинин.— Плита оседает».

Он поднял руки вверх, будто готовился удержать породу, боль в ногах пропала, в голове закрутились обрывочные видения, потом враз все остановилось, как колесо, наскочившее на стенку, сухое горло сдавил спазм, и в груди стало совсем пусто. Но кровля держалась, а шорох усиливался. Так трется спецовка ползущего по земле шахтера. Да, к нему ползли.

— Петя! — вскрикнул Виктор.— Дядь Петь!

Шорох затих, человеческая ладонь короткими шлепками ощупывала камни. Михеичев поскреб ногтями кровлю, ударил кулаком по земле, и Виктору показалось, что бригадир совсем рядом — так отчетливо были слышны эти негромкие звуки: протяни руку, и коснешься Петра Васильевича.

— Контузило... Отчего не вижу? — Михеичев щелкнул на коногонке переключателем, вращал его вкруговую, и тот хрустел пружиной фиксатора, но нить накаливания не зажигалась.

«А если повреждена взрывозащитная оболочка? Искра... А здесь, может, газ...»

Виктор захолодел, эту опасность будто бы почувствовал и бригадир, перестал хрустеть переключателем.

— В могиле свет не нужен... Эх, Валерка, Валерка... Мать бы ты пожалел.

— Ползи же! Я рядом,— прохрипел Тропинин.

Сознание опять мутилось, вот уже мелькнул Вадим, зазвенел голос Настеньки, сверкнул солнечный луч — Витька даже сжал веки.

Стук отбойных молотков послышался явственно, монолит вздрагивал, и эти далекие, частые удары, и ознобное подрагивание породы возвращали Тропинина к действительности...

Нет, реальность есть луч солнца, Лариса, а этот мир и звуки молотков с той стороны завала — нелепый сон, который пришел от избытка радости, и он сейчас пройдет.

В полуметре от него заскребся Михеичев. Виктор слышал его тяжелое, с присвистом дыхание, но протянуть руку навстречу боялся, потому что в закрытых глазах короткими вспышками мелькало солнце, он напрягал слух — сейчас раздастся трель жаворонка, закукует кукушка, но вместо этого жестко терлась о камни роба бригадира, все приближаясь, а видения одно за другим пропадали в темноте.

И вот уже холод, темень и острая боль в ногах подступили вплотную. Совсем рядом, почти над его головой, прошлепала ладонь Михеичева и заметалась, как рука матери на лбу больного ребенка. Сейчас она опустится вниз и наткнется на Витькино тело.

— Стучат,— без всяких оттенков в голосе сказал Михеичев.— Отбойными молотками орудуют. Что толку? Палкой по железу...

Тропинин закрылся руками, со страхом думая, что через мгновение тяжелая рука бригадира лапнет его по лицу — и все, и конец... Реальность происшедшего неопровержимо подтвердится.

Ему стало страшно. Он сжался, но бригадирская ладонь опускалась правее, натолкнулась на его, Витькину, каску, судорожно вцепилась в нее.

— Чья? Чья каска? — со страхом спросил Михеичев.— Чья? — Рука поползла вперед, вот-вот дотянется до Виктора, и тот вздрогнул, но она остановилась. Петр Васильевич тоже чего-то испугался, вероятно, подумал, что может наткнуться на труп.

— Я здесь, дядь Петь. Я живой. Мне ноги придавило.

— Рядом Виктор был. Каюк парню! — проговорил бригадир и отодвинул каску в сторону.— Да что же это, господи!

— Пощупайте мои ноги, что с ними...— в полубреду умолял парень.

Боль становилась нестерпимой, и он ждал, что сейчас потеряет сознание, хотел этого и не мог решить, протянуть ему руку навстречу Михеичеву или подождать.

Оглохший бригадир пугал его. Виктор и сам не знал, чего он боится. Казалось, будто не добряк Михеичев лежит плашмя, лицом вниз, в нескольких сантиметрах от него, ожидает своей смерти, а человек из иного мира. Помочь ничем не сможет, только увеличит страх...

— Пить, хочу пить...

Тропинин вытянул руку, хватал пальцами пустоту, до головы Петра Васильевича недоставало считанных миллиметров, он чувствовал это по исходящему живому теплу, почти касался его волос, но дотянуться не мог.

Поскакали провалы сознания, он звал Вадима, Бориса, пробежала плачущая Настенька, Виктор было начал успокаивать ее, девчушка капризничала, явилась Лариса, что-то стала говорить, слова относило в сторону ветром, не разобрать их, а рядом отчетливо прозвучало:

— Молотком ткнут, корж переломится и... точка. Галина и слепого и глухого не покинула бы. Прости, милая, не убивайся шибко. Знать, судьба...

— Ноги... Петр Васильевич, ноги...

— Валера, не забывай мать. Одни вы теперь. В Сочи обещал свозить...— Михеичев всхлипнул и тут же одернул себя.— Что слезы? Не мотыльком прошел по жизни...— Но голос дрожал той ровной дрожью, что приходит не от жалости к самому себе, к своей судьбине, а от бессилия что-либо сделать.

«Я лежу головой к забою, он — боком. Корж разрежет меня пополам».— Мысль прошла отчетливо, а за ней поплыли какие-то обрывки.— «На свадьбу приглашу всю бригаду. Почему ты плачешь, Настенька?»

По дороге от шахты к поселку, на черной рычажной коляске, шибко орудуя руками, катил инвалид. Похожая на скалу туча летела вслед за ним и вот-вот должна была упасть ему на голову. От скалы отваливались коржи, высекали искры, с треском бились об асфальт. На туче сидел Михеичев и громко выкрикивал:

«Берегись, берегись!».

В весеннем лесу куковала кукушка. Витька начал считать, а птица человеческим голосом спросила:

«Сколько хочешь прожить?»

«Без тебя знаю!» — рассердился парень.

На верхушке террикона в развевающейся фате стояла Лариса.

«Останусь без ног».

Рваные клочья дыма собрались в кучу, и из нее эти слова прозвучали отчетливо, даже громко, как выстрел из ружья.

«А Лариса?..»

— Пить...— застонал Виктор и почувствовал, как его руку цапнули и потянули к себе теплые, осклизлые пальцы.— Мне больно, не надо...

— Виктор, это ты? Ты жив? — Михеичев тряс его за руку, липкой ладонью лапнул по лицу.

— Ноги... мне больно.

— Жив, голубчик ты мой! Скажи что-нибудь!

Каждое прикосновение бригадира отзывалось болью в позвоночнике. Виктор слабо оттолкнул его.

— Сынок, жив...— Петр Васильевич торопливо ощупывал Виктора.— Руки целы, голова, грудь не помяты. Отзовись, Витя! — Рука потянулась к губам, будто просила звука, умоляла издать его, чтобы убедиться, что шахтер жив и может говорить.— Одно слово, сынок. Громче.

— Мне ноги придавило,— шепнул Тропинин, и Михеичев почувствовал, как шевельнулись губы, но звука не услышал и требовал повторить:

— Одно слово, сынок, громче.

— Не трогайте меня...

И это шевеление губ уловил пальцами бригадир, но требовал говорить еще и еще, теребил Витькины губы, жаждал услышать звук, живой голос.

— Ты говоришь громко или тихо? Я ничего не слышу. Ты слышишь меня? Что с тобой?

— Придавило...— Виктор отвернул голову, избавляясь от Михеичевых пальцев.

— Ты слышишь меня? Пошевели пальцами.

Тропинин нашел его руку, слабо сдавил.

— Да, да, я чувствую,— заспешил бригадир.— Куда ранен, сынок? — Его руки ощупью поползли по Виктору, достигли колен, наткнулись там на породную глыбу. Парень вздрогнул и вскрикнул от пронзительной боли.

— Не трогайте меня!..

Тело скрутилось в спираль, и Виктор опять почувствовал, как падает в бездонную яму, теперь головой вниз, медленно, с плавными разворотами вокруг позвоночника.

Гомон грачей, клекот скворцов... жаворонок...

— Витя, очнись, очнись, сынок!..— Скользкая, судорожная рука трясла его за подбородок, ощупывала губы.

— Пропали мы, дядь Петь...

— Ты слышишь меня? Чую, слышишь. Вот и хорошо! Вот и молодец!

Виктор отвел его руку. Изнутри, от самого позвоночника, начинала бить ознобная дрожь. Мелкая, противная. Холода он не ощущал, наоборот, внутри все горело, и не понять, отчего она приключилась, эта проклятая трясучка. Темь казалась еще плотнее, но глаза держать закрытыми было невмоготу: сыпались черные искры.

Петр Васильевич снял с себя куртку, заботливо укутывал его тело, вплоть до подбородка.

— Не надо...— слабо противился Виктор, но Михеичев подсовывал ее под бока, приговаривал: — Сейчас станет теплее. Потерпи, сынок. Это ничего, это пройдет.

— Без ног я остался, батя.— Тропинин помолчал, стиснул зубы, они не унимались — стучали.

— Это от потери крови.— Бригадир, наверное, хотел только подумать, но сказал вслух, тихо, почти шепотом.— Надо бы перевязать, а как? — Он рассуждал сам с собой, забыв, что не слышит он, а не Виктор.— Нас отроют, Витя. Вот увидишь! Ты не волнуйся. Там сейчас всю шахту на ноги поставили. Через час-другой извлекут.

— Ты же сам говорил, что ткнут молотком и...

— Наверняка, работа кипит вовсю. Не было еще такого случая, чтобы шахтер шахтера в беде оставил.

— Не надо, батя...— Тропинин сам не знал, откуда и почему пришло к нему это «батя», но по-другому называть Петра Васильевича уже не мог.— Конец пришел, батя.

— Пупы надорвут, но откопают!

Михеичев пощупал Витькин лоб, быстро убрал руку, помолчал, и по этой торопливости Виктор понял, что батя с уверенностью обнаружил температуру.

На бригадирской руке тикали часы, Тропинин нащупал их, потянул к себе. Петр Васильевич догадался о намерении парня, отстегнул браслет, подал в руки. Виктор поднес их к глазам и тут же разочарованно вернул. Циферблат не светился. Или там вообще не было фосфора, или его съела эта кромешная темнота.

— Сколько прошло времени? — Михеичев дергал за руку.— Пальцами покажи, пальцами.— Он совал ему свои пальцы, просил: — Отсчитай, сколько?

Виктор сжал его ладонь, отпустил, потом кончиками ногтей поскреб — мол, ничего не видно. Бригадир понял сигнал.

— Ты что-нибудь видишь вокруг себя? А, Витя?

— Нет,— ответил тот и покачал ладонью из стороны в сторону.

— Дак, может, и у меня зрение не попортилось? Может, и я вижу, только нечего смотреть?

— Все одно,— сказал Виктор и убрал от Петра Васильевича свою руку.

— Дак, когда бомбой присыпало, два месяца не видел и не слышал.

— Ты, батя, жизнь прожил. Большую жизнь!..— Тропинин хотел что-то добавить, но слов не нашел, они каким-то образом перемешались, и стало от этого горько и тоскливо.— Что говорить? — спросил он самого себя и, чувствуя, что эти рассуждения ведут в безысходность, а сердце будто подпаливают факелом, прогнал все мысли, подумав под конец: «Солнце бы хоть еще разок увидеть... на восходе...»

И мысли вновь костром вспыхнули в его голове, и залить его нечем, и само желание погасить пропало...

Михеичев издавал какие-то звуки, будто чиркал камнем по металлу.

— Только бы не нарушить стрелки,— сказал бригадир и Виктор догадался, что Петр Васильевич пытается открыть крышку часов и на ощупь определить время.

— Больше суток в гробу лежим,— процедил Виктор, брезгливо выговаривая «в гробу», но этот нажим на слова не погасил тоски, только в сознании еле заметной спасительной соломинкой возникло: «Меньше, за сутки проголодался бы...»

Он ощупал впавший живот, есть совсем не хотелось, нестерпимо захотелось пить. Казалось, все тело от придавленных ног до кончиков волос изнуряет жажда, от нее мутится в голове, захлестывает страх. Неужели это будет тянуться бесконечно?

На часах хрустнуло стекло, Михеичев раздавил его камнем, выбирал с циферблата осколки.

— Без десяти семь,— гукнул Петр Васильевич и отбросил часы.— Завал разберут часов за десять — двенадцать. Скоро нас вызволят, Витя. Ты слышишь? Мы еще поживем, мы еще повоюем...

— Замолчи, батя. Кого-нибудь утешь...

— У самоварчика посидим...— Михеичев сдерживал себя, но голос вибрировал, бригадир начинал подкашливать и сморкаться.— Редко вы ко мне домой наведывались. Дак, оно и понятно... Дело молодое. А надо, Витя, и стариков не забывать. Жизнь, она одна. Всякого много в ней...

— Ляг вдоль забоя, батя. Может, спасешься. Что же ты, старый, не понимаешь, что ли!..

Частой пулеметной дробью били отбойные молотки. И если бы эти звуки мог слышать Михеичев, то, наверное, сравнил бы со стрельбой пулеметного взвода, засевшего где-то рядом, за глухой стеной и выпускающего непрерывные очереди. Породе будто передался Витькин озноб, она мелко и зловеще дрожала. Воздуха под обвалом стало больше, скорее всего, в монолите образовались трещины, и он просачивался через них.

Боль в ногах прекратилась, они только тупо ныли, как замерзшие, и казались не своими.

Пить. Хоть одну каплю воды на сухой потрескавшийся язык!

Тропинину наяву мерещился сверкающий водой ставок, что раскинулся за шахтерским поселком, взмылись ввысь над зеркальной гладью трамплины для прыжков, он раскидывает руки, парит в воздухе и, кувыркнувшись, плюхается в воду. Летят брызги, а он уже ощущает прохладное давление глубины, выныривает и, отфыркиваясь, плывет на середину... Переворачивается на спину, раскинув руки, долго смотрит в небо.

Боже мой! Сколько вокруг воды! Она во рту, в ушах, в носу!..

— Стучат, Витя! — вскрикнул Петр Васильевич.— Рукой чую, молотки работают. Совсем близко.— Он зашуршал робой, Виктор и понял и почувствовал, что бригадир разворачивается плашмя к забою и прижимается к нему спиной.— Я же говорил, нас не оставят, спасут.

С левой от Виктора стороны что-то с треском ухнуло, вздрогнула почва, на минуту умолкла пулеметная трескотня. Со свободной стороны обвала кто-то отчетливо простукивал морзянкой по валуну.

— Батя, стучи в ответ! Стучи, батя! Нас зовут. Они будут осторожнее...— Виктор дотянулся до головы Михеичева, потрепал его за волосы.— Стучи, батя! Найди камень, стучи!

— Чую, Витя, чую. Они совсем близко.— Петр Васильевич не двигался с места.

Тропинин что было сил дернул за волосы, вырвал клок, забил ладонью по почве.

— Стучи, батя. Они будут осторожнее. Только стучи.

— Тебе тоже надо лечь вдоль забоя. Я понимаю. Ты сможешь вырвать ноги? — Михеичев подполз к нему, поправил куртку, склонил голову к уху, горячо зашептал: — Витя, сынок, попробуй, хочешь, я помогу?

Молотки били вверху, к их ударам примешивался скрежет по породе какого-то инструмента.

— Уйди, я сам.

— Надо, Витя.— Он ласково гладил его по голове.

— Уйди.

Виктор оттолкнул его руку, сжав зубы, дернул ноги. Острая боль прожгла позвоночник, теряя сознание, он слабо попросил:

— Помоги, батя...

— Жизнь спасай... есть шанс... вдоль забоя...— сбивчиво умолял Петр Васильевич

Черная яма была глубокой, и Виктор то стремительно падал в нее, то зависал, цепляясь ногами за острые крючья. Летели красные хлопья снега, перемешивались с черным угольным штыбом, а со дна пропасти поднимались гулкие удары барабанов, и их бой перерастал в тихие звуки какой-то скорбной мелодии.

Тропинин очнулся, застонал, к его губам припали пальцы Михеичева, требовали ответа.

— Я помогу, Витя.

— Уйди.

С левой стороны вновь раздался треск, будто сломалось сухое дерево, но молотки на этот раз не умолкли, стучали почти у самых Витькиных ног. Шахтер собрался с силами, решив, что сейчас он сделает еще одну попытку и во что бы то ни стало вырвет ноги. Пусть даже часть их останется там.

«Только бы не потерять сознание!»

— Кажется, они подрывают почву.— Бригадир шарил около себя рукой, прислушивался на ощупь.

— Зачем подрывку? — не понял Виктор.

Он весь напрягся, уперся руками и что было сил дернул ноги. Сознание замутилось, но не ушло. Тропинин рванулся еще раз, вытянувшееся тело уперлось головой в забой, колени не сгибались.

— Помоги! — крикнул Виктор бригадиру.

Терялся рассудок, иссякали силы.

— Да, они делают подрывку, чтобы опрокинуть валун от забоя.— Михеичев как-то странно хмыкнул, не то засмеялся, не то заплакал и, шмыгнув носом, договорил: — Это наше спасение! Не двигайся, Витя. Потерпи малость. Теперь нужно не к забою жаться, а отползать от него.

Виктор не слышал Михеичева. Еще раз дернулся и, окончательно теряя сознание, резко перевернулся на бок, перекручивая ноги. Петр Васильевич развернул его на спину, тряс за плечи.

— Витя, очнись! Ты чуешь, воздух хлынул.

Небольшой корж, скользнув по забою, шлепнулся рядом с бригадиром, тот вздрогнул и посмотрел вверх. В образовавшуюся щель пробивался свет. Михеичев протер глаза, полоска света медленно расширялась.

— Дак вижу!..

Увидел он и то, что в просвет полетели куски породы и, еще сам окончательно не сообразив, что надо делать, сдернул с Тропинина куртку и, защитив ею голову, телом своим закрыл его.

Первым в расступившийся завал спрыгнул Гайворонский. Он был страшен в своем отчаянии и решимости. Измазанное лицо перекосилось, из ссадин на руках сочилась кровь.

Михеичев, скрючившись, лежал животом на Витькиной голове, а тот мертвой хваткой обнимал бригадира за спину. Рядом с разорванным сапогом Витьки Вадим увидел темное пятно крови.

— Витька! — Он вскрикнул отчаянно, с надрывным звоном в голосе, и все те, кто еще не успел опуститься в завал, замерли наверху валуна, нацелив фонари на лежавших внизу шахтеров.

Вадим стянул Михеичева, упав на колени, ощупывал Виктора.

— Витя, ты жив? — Боясь пошевелить друга, он только с опаской гладил его по щекам и повторял: — Ты жив?

Михеичев поднялся на ноги, его качнуло, и он, чтобы не упасть, прислонился к забою плечом.

— Я ничего не слышу.— Шахтер закрывал лицо руками.— Не светите так ярко... ослепну...

— Воды,— тихо попросил Виктор.

— Витя... родной мой... Витька...— Вадим целовал его щеки, на Витькин лоб капали слезы, а он бессмысленно повторял: — Витька... родной мой...

На поверхности пробило десять часов. Стоял погожий весенний день.

Глава тринадцатая

Верилось и не верилось Ларисе, что Виктор попал в беду. Казалось, что это какое-то недоразумение, чья-то злая шутка, пройдет время, все образуется, он явится к ней живым и невредимым. «А если?..» Щемило в груди, опускались руки, и думать о том, что стоит за этим «если», не хотелось. «Не мог там поосторожней...» Иногда появлялась жалость, но какая-то расплывчатая — жалко было и Витьку и саму себя,— потом она перерастала в досаду. «Зачем это случилось, почему?!» Слезы теплыми струйками бежали по щекам. От них сделалось еще обиднее, подступила тоска, весь мир и вся жизнь стали неласковыми, а себя она чувствовала самым несчастным человеком.

За окном, по улице, громко сигналя, промчалась машина. Лариса встрепенулась, прошла в ванную комнату, тщательно умылась. Вот-вот должны были прийти родители.

Ее встречи с Виктором они не одобряли, но и не запрещали. Она-то знала, что кроется за этой видимой нейтральностью. Не дай бог, застанут свое единственное чадо, свое ненаглядное сокровище плачущим. Мать тут же присоединится к ней, начнутся уже опротивевшие взрослой девушке сюсюканья и под их аккомпанемент дотошные расспросы, а все закончится длинными нравоучениями, которые энергично поддержит отец.

Лариса включила свет, в растерянности остановилась посреди комнаты. «Что говорила Марина? Сказала, что все может быть».

Условным сигналом в дверь позвонили родители. Она вздрогнула, но к двери, как обычно, не побежала. Подошла к зеркалу, потерла слегка припухшее, заплаканное лицо.

— Почему не открываешь? — начала мать.

— Я спала.

— Ты заболела? — Мать выронила на пол сумки, принялась ощупывать лоб дочери.— Говорила же, надевай кофточку!

— Пройдет,— безразлично бросила дочь.

— Какие новости на шахте? — Отец знал о случившемся, но предпочел начать издалека.

Лариса молчала.

— Говорят, авария произошла?

— Вам-то какое дело! — Она плюхнулась на тахту и зарезала.

— Доченька... неужели Виктор...— охнула мать.

— Да, да, да! — Лариса истерически била ладонью по матрацу.

— Я знала, я чувствовала, я тебя предупреждала...—Мать забегала по комнате, не зная, за что взяться, что предпринять, что сказать.— Но он, слава богу, тебе еще не муж.— Она остановилась, развела руками.— Чего же зря расстраиваться. Что... насмерть?..

— Отстаньте! Я ничего не знаю.

— Сколько раз повторяла: ну, зачем тебе эти шахтеры! Ты красивая, добрая, умная, к чему тебе жить в постоянной тревоге? Не зла ведь желаем. Вот отец твой... Всю жизнь простым завхозом прожил, и славу богу...— Мать успокаивалась.

— Помолчи, мама,— простонала Лариса.

— Молчу, доченька, молчу...

Впервые за много лет Лариса плохо спала. Ночью к ее постели несколько раз подходила мать. Ухом склонялась к лицу, прислушивалась. Дочь притворялась спящей. Порой появлялось желание прильнуть к матери, поплакать у нее на груди: «Мамочка, я люблю его».

А утром у входа в административный корпус Катерина Кошкарева со всей беспощадной откровенностью сообщила Ларисе:

— Обезножел Витька. Всю жизнь на колясочке теперь, если бог даст оклемается.

В глазах у девушки помутилось, она повернулась и побежала домой. Мельтешили трава, дорога, люди, а в голове билось: «Без ног...»

...Тропинин очнулся в больничной палате. Стоял резкий запах какого-то лекарства, его тошнило. В левом углу белела пустая разобранная кровать, на тумбочке, рядом с ним, высились объемистые пузыри с разноцветной жидкостью. Около койки, прикрепленная к высокой никелированной стойке, висела колба с бурой жидкостью. От колбы тянулись шланги, схваченные посредине защепкой с винтом, ниже по стеклянной трубочке жидкость медленными каплями падала в другой шланг, ведущий к его правой руке.

Стояла тишина, он был один. Палату рассекал надвое широкий солнечный луч.

Тропинин ощупал руку и ужаснулся. Она была перебинтована и накрепко к чему-то привязана. Он слабо пошевелил ею, боли не ощущалось. «Это же кровь вливают».

Тошнота муторным клубком покатилась к горлу. «Зачем кровь? Разве я умираю?»

В палату вошла женщина в белом халате с трубкой фонендоскопа на шее. Виктор уставился на нее испуганными глазами, кивнул на колбу.

— Зачем это?

Женщина приветливо улыбнулась, подкрутила что-то у прищепки, капли крови участились.

— Вы потеряли немножко крови. Надо восполнить. Вас не знобит?

— Что с остальными? Там был Гайворонский, нас четверо...

— Все живы-здоровы. Бригадир ваш лежит в соседней палате, думаем, что все обойдется, слух восстановится.

— Мои ноги?..— Больной попытался приподняться, мешала привязанная рука.

— Успокойтесь.— Врач освободила руку.— В забытьи вы могли поранить иглой вену.

— Почему вену? Мне отдавило ноги.

— Не волнуйтесь. Это вредно. Все образуется.— Врач осторожно стягивала с его ног покрывало.

— Что образуется? — Он с издевкой, одними губами улыбнулся. «Ребенка нашли, я все знаю».— Резать будете? — В голосе прозвучала обреченность.

Врач молча осматривала ноги.

— Я вас спрашиваю! — Тропинин повысил голос.

В палату вошли двое мужчин в белых халатах и шапочках, один — с марлевой повязкой на лице.

«Вот и все. Отрежут».

Виктор отвернул от них голову. Не хотелось говорить, спрашивать, слушать. Рос протест против людей в белых халатах, будто по их вине он оказался здесь больным и неподвижным, и они что хотят, то и делают с ним. Что им его ноги? Раз попал сюда, будут резать, колоть, бинтовать...

«Сейчас начнут уговаривать, успокаивать».

Жизнь входила в какую-то другую колею, зависящую от чужих людей.

— Это все? — Врач без повязки кивнул на колбу.

— К сожалению...— ответила женщина и, помолчав, добавила: — Редкая группа.

— Вторая? — спросил тот же человек.

— Хуже. Третья.

— Угораздило же тебя, парень, родиться с такой группой крови!

— Нужен донор,— снимая повязку, вступил в разговор высокий, худой доктор.

Тон был властный, и Виктор решил, что он здесь начальник. Тем временем высокий бесцеремонно взял Витькину левую руку, начал щупать пульс. От этой грубости Тропинин осмелел. Взглянул врачу в глаза, тот посмотрел на часы:

— Так что с донором?

— Звоним на шахту. В первой смене нет. Ждем вторую.

— Ноги когда мне резать будете? — потребовал ответа Тропинин.

— Ах, ноги... Посмотрим, посмотрим...

— Я спрашиваю, когда? — с надрывом повторил больной.

— Подыщем донора, сделаем рентгеновский снимок, тогда будем говорить конкретно.

Второй врач шагнул к двери.

...Клоков откашлялся, включил селектор и каменным от волнения голосом заговорил.

— Товарищи шахтеры и жители поселка! — К селектору была подключена поселковая радиосеть.— Молодой шахтер попал в беду. Он в больнице. Нужна кровь очень редкой группы — третьей с отрицательным резусом. Я прошу...— Он вновь откашлялся и поправился: — Дирекция, шахтком, партком, руководство больницы обращаются за помощью. Кто обладает такой кровью, просим поделиться. — На миг замолчал, подыскивая нужные слова, и выдохнул: — По-братски... У административного корпуса шахты дежурит машина. Поторопитесь, товарищи! — Егор Петрович отложил микрофон и вытер разом вспотевший лоб.

...Плотников ни секунды не колебался. У него именно та кровь, которая нужна Тропинину. Он позвонил директору и, получив «добро», прошел к Клокову. Кабинет секретаря был до отказа забит людьми. Добровольных доноров собралось слишком много, и никто не мог вразумительно сказать о своей группе крови.

В манипуляционной они лежали рядом, бок о бок. Теплая кровь Ивана Емельяновича текла в Витькины вены. Кабинет заливал солнечный свет, на стене громко тикали часы, в больничном скверике выводил свою песню скворец. Цвела сирень, по небу белоснежными караванами плыли облака.

Боли в ногах Виктор не ощущал, они тупо ныли



и не шевелились. Это пугало его. Коль не болят — значит их уже нет. А врачи? Что врачи? Скрывают правду, конечно. Берегут его нервную систему.

Его начинало знобить. К пальцам ног медленно поползла горячая волна.

— Вся шахта пришла сдавать для тебя кровь,— сказал Плотников просто так, чтобы не молчать, отвлечь парня от этой не очень приятной процедуры.

«Весь поселок знает о случившемся и она...» Главным было, что знает «она», Лариса.

— Пальцы болят! — вскрикнул Виктор, мотнул головой и закусил губы, жжение становилось невыносимым.

Сквозь бинты сочилась кровь. Сестра поспешно отложила шприц, взяла жгуты. Резина больно врезалась в мышцы, горячая волна утихла, теперь она напирала выше жгутов, и Виктору показалось, что ноги его распухают и вот-вот лопнут.

— Потерпи, милый...— Сестра вышла из кабинета.

И эта боль и это «милый» схлестнулись во что-то единое, непонятно-обидное и безнадежно-обреченное. Перед глазами мелькнула Лариса, дымные терриконы; сдерживая боль и ползущий к горлу спазм, Тропинин напрягся, как струна, и прикрыл глаза.

Сестра вернулась с врачом, на ходу рассматривавшим рентгеновский снимок.

— Повезло тебе! — грубо сказал он Виктору.— Могло быть намного хуже...— Голос озабоченно потеплел.— Ампутируем только большой палец левой ноги.— И повернулся к сестре: — В операционную...

Тропинин ни о чем не жалел, и страшно ему не было. Даже тогда, когда худощавый грубоватый врач туго притянул его ноги к операционному столу. От резкого постукивания хирургических инструментов, от вида пузатых шприцев с длинными иглами слегка подташнивало. Глазами он искал нож или пилу, но делал это равнодушно, просто из любопытства.

Подспудно, но все отчетливее и тревожней начинал всплывать вопрос о том, как ко всему происшедшему, а особенно к его возможной инвалидности отнесется Лариса. «А вдруг разлюбит? Вдруг другого парня встретит?»

Операционная сестра бесконечно долго раскладывала инструмент в одном ей понятном порядке. Где-то рядом, в соседней палате, громко стонал мужчина.

Витькину ногу с хрустом укололи, он вздрогнул и всем телом сжался. Боль тупела, и вскоре левая нога онемела, потеряла ощущение, стала деревянной. В руках врача блеснул скальпель. Хирургическая операция началась.

Ранним утром следующего дня в палату к Виктору пробрался Вадим. Он был без халата, воровато огляделся и плотно прикрыл за собой дверь. Виктор не спал. Зашторенное окно с противоположной стороны не давало ему покоя. Там должно взойти солнце. Ничего особенного от этого восхода он не ждал, но непонятное волнение теснило грудь.

Восход явится первым в его новой жизни. А то, что она изменилась, доказывать не надо. Вот он, еще позавчера здоровый, крепкий парень, теперь не в силах оторвать от постели тело, сделать всего два шага к окну.

— Витя...— В горле у Вадима перехватило, и он все глотал и глотал слюну, не двигаясь с места.— Витя...

— Ва-а-а-адик...— Он пропел это «а» с радостным восхищением, но против воли внутри его что-то дрогнуло. Витька обиженно сморщился и чуть было не заплакал, потом овладел собой, улыбнулся, вновь с радостью выплеснул: — Ва-а-а-адик...

Гайворонский шагнул к кровати.

— Ты хорошо выглядишь,— шепотом сказал он.

— Мне палец... хромать, наверное, буду...

— Что ты, Витя! — заспешил Вадим.— Я с самым главным врачом говорил! Он сказал, что бегать, прыгать...

— Что на шахте... и вообще в поселке? — помолчав, спросил Виктор.

Вадим, кажется, не сообразил, о чем хочет услышать Витька.

— Вот! — Он подошел к двери, поднял оставленную там сумку, выложил ее содержимое на тумбочку. Плюхнулся большой чешуйчатый ананас с зеленым бантом на макушке, покатились апельсины, в стеклянной баночке чернела икра.

— Ларису не видел? — напрямик спросил Виктор.

— Мы поехали прямо со смены. Маринку тоже не удалось повидать.— Он помолчал.— Она придет, о чем ты беспокоишься. Обязательно придет! — Вадим говорил с убеждением.— Там слез, наверное, море и две речки.

— Думаешь?.. Хотя ладно. Настенька с кем?

— Забрала было Дарья Степановна к себе домой, а Настасья убежала в общежитие. Допытывается: где Витя? А мы что? Мы с Борькой врем, как два сивых мерина. В командировке...

— Знаешь что... Нет, не нужно.— Виктор отвел от Вадима взгляд.

— Страшно было в завале?

— Теперь страшней,— откровенно сознался Виктор и взял Вадима за руку.

— Брось, ничего страшного...— Вадим недоумевал.

Взошло солнце. Лучи пробились сквозь занавеску, ровным мягким светом заиграли на стене около Виктора.

— Знаешь, Витя, я не всегда говорил, что думал или чувствовал. Как бы тебе это объяснить? — Он искал, но подходящие слова не шли, все расплывалось в тумане неконкретных мыслей, потом сказал: — Так по крайней мере было...— Взлохматил пальцами чуб, как бы оправдался: —...До сих пор... Заносило меня в сторону, а сам не знаю, почему. Только и видел все блестящее. Напоказ жил.

— Что мне делать, если не смогу работать в шахте? Это же конец...

— С ума сошел! Да мы...

— Не шуми. Отодвинь чуточку штору.

Лучи ворвались лавиной и будто раздвинули стены палаты.

— Завтра танцы в клубе,— перевел разговор Виктор.

— Сдались эти танцы! Успеем натанцеваться.

— Только кто пойдет с хромым танцором?

Вадим рассердился и, чтобы не ляпнуть резкость, чуть помолчал.

— Кто тебе внушил такое? Кто?

Вошла дежурная сестра. Виктору показалось, что от удивления она готова была осенить себя крестным знамением.

— Эт-т-т-то что такое? — Она поперхнулась.

— Это Витя, друг мой... в одной бригаде...— залепетал Вадим.

— Как можете в спецовке в палату?.. Марш отсюда!

Сестричка была молодой и симпатичной. Это смутило Вадима больше всего.

— Угощайтесь! — нашелся он, двумя руками подхватил ананас, с поклоном преподнес девушке.

Пришла ее очередь растеряться.

— Что это? — уже мягче спросила она.

— Заморский плод. Помните? Ешь ананасы, рябчиков жуй!

— Ох, уж мне эти шахтеры! — Сестричка улыбнулась и показалась еще симпатичнее.

— Вы медик,— осмелел Вадим.— Скажите нам откровенно, только правду. Мы не кисейные барышни, в обморок не упадем. Он будет ходить?

Сестра с улыбкой пожала плечами.

— О чем речь! Бегать будет через пару недель!

— Правда? — выдохнул Витька.

— Господи, ну и мужики нынче пошли...— махнула рукой сестра.

Весь день около койки Тропинина толпились посетители. Сразу после завтрака зашел Петр Васильевич. В длинном выцветшем халате бригадир походил на священнослужителя и казался несколько старше своих лет. Молча сел на стул, погладил Виктора по голове. В этом жесте было столько мягкости и ласки, что у парня отлегло от души, теплая волна умиления растеклась по всему телу.

— Галя привет тебе передает. Желает выздоровления. Ваня Дутов уже дома, все обошлось...

Виктор пошевелился, намереваясь что-то сказать, Михеичев остановил его.

— Ты молчи, молчи... Набирайся сил. За меня не волнуйся. Дак слух образуется,— он показал на уши.— Не впервой.— Петр Васильевич встал, шагнул к двери, остановился и, не поворачиваясь, с грустью в голосе сказал: — Внук у меня заболел. Оксана в город увезла. Нашим врачам не доверяет.

Перед обедом в палату ввалилась целая делегация. Шахтерам стоило немалых трудов взломать больничные преграды и прорваться сюда дружным звеном, точь-в-точь как на пересменную планерку. Еще за дверью слышались возбужденные голоса, но в палату вошли чинно, с достоинством: мы, мол, не бандиты с большой дороги, больничные законы соблюдать умеем. И в силу этого робели, очутившись в палате, снимали головные уборы, скребли туфлями по полу. Знаем: чистота — главный вопрос.

Пришедших было человек семь. Остальным проникнуть не удалось. Егор Петрович Клоков держался позади, улыбался. Вперед выкатился Дутов.

— Молодцом выглядишь, Витек! — Подошел, поздоровался за руку.

Его примеру последовали остальные. Зашуршали свертки, на тумбочку легли конфеты, шоколадки, яблоки, перед Виктором высилась беспорядочно оформленная витрина гастронома.

— Кормят как? — первым делом поинтересовался Гаврила Кошкарев.

— Мне этого на месяц хватит.— Улыбнувшись, Виктор кивнул на тумбочку.

— Питание в больнице — главное дело,— поучительно начал Чернышев.— Витамины, белки, они способствуют выздоровлению.

— Ешь все подряд, Витек, чтобы не ослаб, а то...— Дутов хотел ввернуть что-то насчет жен-

щин, но огляделся и нашел обстановку неподходящей.

— Высоко отчекрыжили?..— Гаврила ткнул в ноги длинным прокуренным пальцем.

Его дернул за пиджак Дутов, Клоков строго шикнул.

— Левый палец.— Виктор отодвинул ноги.

— Только и всего? — Кошкарев будто бы сожалел, что мало.

Они поговорили о том о сем, поделились шахтерскими новостями, Чернышев вспомнил смешной случай, происшедший в Девятой Восточной лаве, где решили подшутить над новичком, послав его с ведром за напряжением, а новичок оказался докой, выехал на-гора́, хотел, говорит, сделать как лучше — прямо на подстанцию за свежим напряжением, да так и проторчал там до окончания смены. Больше всех хохотал сам рассказчик, остальные солидарно улыбались. Случай, как говорится, был штатный.

У Ивана приспел анекдот, начал рассказывать, но на третьем же слове споткнулся, шло соленое выражение, заменить которое шахтер не мог и, громко рассмеявшись, замолк. И то, что он замолчал и глуповато расхохотался, и то, что других анекдотов, приличествующих обстановке, Дутов просто не помнил, вызвало дружное веселье.

— Пора и честь знать,— поднялся Клоков.— Дайте мне посекретничать с Виктором.

Все вышли. Егор Петрович помолчал, собираясь с мыслями, потом сказал, глядя Виктору в глаза:

— Наш разговор на бремсберге помнишь?

— Да,— отозвался Тропинин.— Но я же теперь неизвестно как...

— Глупости! — резко оборвал секретарь.

Некоторое время держалась тишина.

— Что для этого нужно? — спросил Виктор.

— Твое заявление и три рекомендации. Одну дам я, если не возражаешь, другую — Михеичев, третью — Плотников. С ними я говорил.— Клоков поднялся, чтобы уйти.— Вот еще что. У тебя есть какой-нибудь опыт комсомольской работы?

— В школе, в ПТУ был комсоргом группы.

— Отлично! Об этом поговорим попозже. Выздоравливай! — Улыбнувшись, он вскинул сжатый кулак.

День потянулся, как пытка. Часы казались неделями, минуты — сутками. Замирая, он прислушивался к каждому шороху за дверью, все ждал: сейчас откроется, и войдет о н а. Бросало в дрожь, становилось жарко, он придумывал слова, которые скажет ей, ломал голову над тем, что ответит она ему, как посмотрит, может, улыбнется, может, заплачет. Нет, плакать он ей не позволит.

Он смочил кончик полотенца, усердно потер лицо. В палату вошла женщина, парню на миг померещилось, что это Лариса. Он рванулся сесть, волнение оказалось напрасным. Пришла жена соседа по палате.

«А если сейчас войдет Лариса? — Виктор огорчился.— Ни поцеловаться, ни поговорить...»

Женщина села на стул, поджала руки. Она была чем-то опечалена, муж, вероятно, знал причину и не скрывал своего раздражения.

— Не ко времени ты...— сказала она.

— Болезнь не спрашивает,— отозвался он, и оба умолкли.

«У нас с Ларисой так не будет. Никогда!» — подумал Виктор.

Чем ближе был вечер, тем острее подступала тоска. Брало зло на свою покалеченную ногу, порой хотелось плюнуть на все, сорвать постылые бинты — и пусть будет больно, пусть течет кровь, ему надоело ждать, иссякло терпение, на коленях, на животе он должен добраться до поселка, хоть один раз взглянуть на ее окна.

Мерк день, в тусклых сумерках, низко над землей, плыли грозовые облака, пахло дождем. За окном, где утром взошло солнце, горизонт рассекла молния, трескучий удар грома потряс воздух. Вслед за первой у дальних терриконов распласталась ветвь, ухнул взрыв и покатился перекатами по горбатой донецкой степи.

В этот день Лариса не пришла...

Тропинин лежал в темноте, в окне плескалась молния, от непонятной обиды подступали слезы. Нет, Виктор не роптал, не упрекал Ларису, не осуждал. Росло чувство одиночества, заброшенности, ненужности. Гроза делала обстановку гнетущей. Приходила сестра, предлагала включить свет, Виктор отказался. В темноте отыскал наушники, надел на голову. Под треск разрядов ударила шальная песня. Виктор не мог долго ее слушать, она казалась оскорбительно легкомысленной, даже пошлой. Он сорвал наушники, рывком выдернул шнур из розетки.

После вечернего обхода в палату прокрались Вадим и Борис. Наигранно веселые, они долго трясли ему руку, похлопывали по груди, весь вид их как бы говорил:

«Вставай, дружище! Гладь галстук, пошли на бал!»

Ребята знали, что Лариса еще не приходила.

— Ты тут, как граф Монте-Кристо! — гоготнул Борис.

— Не хватает аббата Фариа. Не с кем подкоп сделать, чтобы сбежать.— Виктор шутил, но голос был на серьезной ноте.

— Посмотрел бы ты, Боренька, какие около него сестрички шастают! — Вадим подмигнул.

— Лариса лучше,— хмуро сказал Витька.

— О чем речь! — поспешно согласился Вадим, кляня себя за невольно вылетевшую фразу.

— Ты видел ее? — прямо спросил Витька.

— Нет.

— А Марину?

— Да. Лариса боится. Не осуждай ее. Все станет...

— Встретишь, передай привет. Скажи, скоро сам приду. Больница не ахти какое зрелище для девушки.— Виктор улыбнулся.

— Я от Маринки еле отбился. «Пойду и пойду»... Сестра милосердия нашлась!

— Где Настенька? Почему не приводите?

— Поздно,— отозвался Борис.— Кажется, Дарья Степановна выиграла схватку. Третий день Настя живет у нее.

— Охламоны! — ругнул Витька.— Все равно приведите.

— А Борис-то женится! — просияв, выпалил Вадим.

— Витя, дружок, помоги! — притворно взмолился тот.—Доведет он меня до смертоубийства!

— Зачем тогда штаны импортные купил? На что полполучки угробил?

— Витя, он эти штаны по ночам примерял. Велики оказались, вот и озлился,— разъяснил Борис.

— Серьезно?

Тропинину почудилось, что сидит он в общежитии, на своей койке с провисшей сеткой и ничего в его жизни не случилось, нет больницы, не прогрохотал обвал, надо только нагладить брюки и идти на свидание. Вот они, рядом с ним, его друзья, подтрунивают друг над другом, незлобиво поспорят, затеют возню, поделятся сигаретами, рубашками, галстуками, займут очередь в шахтерской

столовке, пройдут знакомой до камушка дорогой к шахте, вместе спустятся в забой...

Всю ночь лил дождь. Порывы ветра бросали в окно косые струи, они секли стекло, со стуком отскакивали на подоконник. Коридор кто-то мерил неровными шлепающими шагами, коротко подкашливал. То ли вверху, то ли этажом ниже плакал ребенок.

Сон не шел к Виктору. Впрочем, он и сам не очень хотел забыться. Надо было решить, как-то обдумать свою жизнь, по-новому определиться. В голове роились мысли, но что решать и как определяться, виделось смутно. Эта нечеткость раздражала, вселяла неуверенность.

Он ворочался с боку на бок, глубоко вздыхал, пытался остановить в памяти приятные моменты жизни, гнал те, которые огорчали. Хороших воспоминаний приходило больше, и почти все они были связаны с Ларисой и Вадимом. Они являлись яркими, парень подолгу держал их в себе, боялся отпустить, опасался, что вместе с ними уйдет часть его самого...

Наступивший день наполнился суетой, с частыми уколами, пилюлями, порошками, врачи обстукивали, ощупывали его ноги, о чем-то тихо переговаривались, тут же, в палате, рассматривали рентгеновские снимки, больного ни о чем не спрашивали, будто был он тут посторонним, а они решали одним им нужную задачу.

Он понял, что врачей беспокоит резкое падение гемоглобина в его крови и непадающая, высокая температура.

Понемногу стали надоедать посетители. Жорик Пойда битый час разъяснял ему положение дел в отечественном и мировом футболе. Гена Петраков грозился притащить в палату шампанского и распить за скорейшее выздоровление. Максим Антонов оказался оригинальнее всех: он предложил покататься на машине. Витька с отчаянной радостью согласился, но, вспомнив о вездесущих очах сестрички, махнул рукой:

— Не выйдет...

Вскоре симпатичная сестричка подкатила стол на колесах, с милой улыбкой помогла Виктору перебраться на него и повезла в перевязочную.

— Соскучился? — шепотом спросила она в коридоре.

Витька не знал, кого она имеет в виду, но согласно кивнул головой.

— Очень.

— Потерпи.— Сестра сомкнула веки.— Терпи!

Обоим нравилось секретничать.

Худой, высокий хирург, теперь уже без стерильной повязки, аккуратно разбинтовывал его ногу. Длинная лента бинта кольцами ложилась на стол. Виктор не спускал с нее глаз.

Ожидал увидеть кровь. Собравшаяся горка марли была сухой и чистой. Конец повязки присох к ране, врач рывком отодрал ее.

Виктор удивленно смотрел на свою ногу и не узнавал ее. Четырехпалая, измятая, без большого пальца, она казалась непомерно длинной и отвратительно уродливой. Широкий розовый шрам вдоль ступни стягивали пять полосок жестких ниток с узлами на концах. «Как пауки».

Виктор шевельнул ногой, оставшиеся пальцы чуть вздрогнули, в местах выхода ниток из кожи показалась кровь. Она не испугала его, как предполагал, им овладело только ощущение брезгливости. Противно было смотреть на эти порыжевшие нитки, рваный, неровный шрам вместо пальца и торчащий посреди среза небольшой окровавленный бугорок, очевидно, остаток кости.

— Через пару деньков снимем швы и при полном параде можешь на танцы топать.— В голосе хмурого хирурга звучала неподдельная радость.

Тропинин промолчал.

Вечером его палату, словно крепость, осадили женщины. Одним взглядом он охватил всех сразу. И ковылявшую впереди Настю, и Галину Ивановну, и возбужденную Дутову, и чуть приотставших Дарью Степановну с сухопарой Катериной Кошкаревой, и развеселую, как на балу, Маринку. «Уж с Маринкой-то Лариса обязательно пришла!» Дверь тихо притворилась, больше никого не было.

Настасья впрыгнула к нему в постель, ручонки обвили шею, девчушка прильнула личиком к его щеке и, плача от радости и еще от чего-то непонятного, залепетала:

— Витя, меня обманули. Я не знала, что ты в больнице. Я знаю, тут делают уколы, в больнице умирают совсем, совсем, как моя мама. Хочешь, я останусь с тобой? Я не дам им обижать тебя. Я буду с тобой всегда-всегда!

Он только гладил ее головку и ничего не говорил. Боялся, что дрогнет голос и этот проклятый ком сдавит горло. «Вот если бы так она...»

— Ну, как дела, Витек? — серьезно спросила Дутова.

— Да для таких парней разве это беда! — решительно вступила Галина Ивановна.— Тьфу, раз плюнуть! Он же мужчина, шахтер! Шахтеры не из таких передряг выходили!

Он посмотрел на Маринку, та вся сияла какой-то наигранной, просто сверхъестественной радостью, порывалась что-то сказать, но сдерживалась, что-то мешало ей.

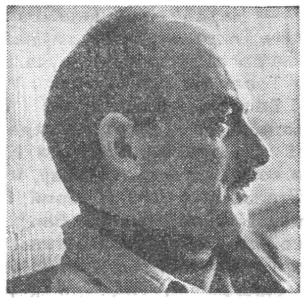
Оставшись один, Виктор долго лежал неподвижно, погруженный в невеселые мысли.

В домах зажигались огни, малиновым заревом пылал закат. За окном чирикала поздняя птичка, в сиреневых сумерках тяжко хрипел далекий гудок.

Тоска стала такой гнетущей и нестерпимой, впору волком вой. Он старался не вспоминать Ларису, но та как нарочно манила его за собой на широкий луг, в синие донецкие дали. Парень пытался разозлиться, мысленно высказывал обиду, но она не разгоралась, а лишь усиливала грусть, и тогда казалось, что любит он ее еще сильнее, и все остальное в этой жизни не имеет ни цены, ни смысла.

В окне затемнела ночь, в распахнутой форточке в самом углу горела звезда, и с ее блеклым светом в палату вплывали звуки лопающихся на деревьях почек. Казалось, это трещит она, далекая космическая странница, изнывая от несносного внутреннего жара...

г. Ворошиловград.



БУЛАТ ОКУДЖАВА

☆☆☆

Глас трубы над городами,
под который, так слабы,
и бежали мы рядами
и лежали, как снопы.
Сочетанье разных кнопок,
клавиш, клапанов, красот:
даже взрыв, как белый хлопок,
безопасным предстает.
Сочетанье ноты краткой
с нотой долгою одной —
вот и всё, и с вечной сладкой
жизнью кончено земной.
Что же делать с той трубою,
говорящей не за страх
с нами, как с самой собою,
в доверительных тонах!
С позолоченной под колос,
с подрумяненной под медь!..
Той трубы счастливый голос
всех зовет на жизнь и смерть.
И не первый, не последний,
а спешу за ней, как в бой,
я — пятидесятилетний,
искушенный и слепой.
Как с ней быть! Куда укрыться,
чуя гибель впереди!..
Отвернуться!
Притвориться!
Или вырвать из груди!..

Полдень в деревне

(Поэма)

Вл. Соколову

1

У дороги карета застыла.
Изогнулся у дверцы лакей.
За дорогой — не то что б пустыня —
но пейзаж без домов и людей.

Знатный баловень сходит с подножки,
просто так, подышать тишиной.
Фрак малиновый, пряжки, застежки
и платочек в руке кружевной.

2

У оврага кузнечик сгорает,
рифмы шепчет, амброзию пьет
и худым локотком утирает
вдохновенья серебряный пот.
Перед ним — человечек во фраке
на природу глядит свысока
и журчанием влаги в овраге
снисходительно дышит пока.
Ах, кузнечик, безумный и сирый,
что ему твои рифмы и лиры,
строк твоих и напевов тщета!
Он иной, и иные кумиры
перед ним отворяют врата.
Он с природою слиться не хочет...
Но, назойлив и неутомим,
незнакомый ему молоточек
монотонно стрекочет пред ним.

3

Вдруг он вздрогнул. Надменные брови
вознеслись неизвестно с чего,
и гудение собственной крови
докатилось до слуха его.

Показалось смешным всё, что было,
еле видимым сквозь дерева.
Отголоски житейского пира
в этот мир пробивались едва.
Что-то к горлу его подступило:
то ли слезы, а то ли слова...

Скинул фрак. Закатал рукава...
На платке оборвал кружева...

То ли клятвы, а то ли признанья
зазвучали в его голове...

4

И шагнул он, срывая дыханье,
спотыкаясь о струны в траве,
закружился, цветы приминая,
пятерней шевелюру трепля,
рифмы пробуя, лиру ломая
и за ближнего небо моля.
Он не то чтобы к славе стремился —
просто жил, искушая судьбу...
И серебряный пот заструился
по его не великому лбу.
Ручка белая к небу воздета.
В глазках карих — ни зла, ни обид...

5

Заждалась у дороги карета,
и лакей на припеке храпит.

Настольные лампы

Обожаю настольные лампы,
угловатые, прошлых времен.
Как они свои круглые лапы
умещают средь книг и тетрадей,
под ажурною сенью знамен,
возвышаясь не почестей ради,
как гусары на райском параде
от рождения до похорон!

Обожаю на них абажуры,
кружевные, неярких тонов,
нестареющие их фигуры
и немного надменные позы.
И путем, что, как видно, не нов,
ухожу от сегодняшней прозы,
и уже настоящие слезы
проливать по героям готов.

Укрощает настольные лампы
лишь всесильного утра река.
Исчезает, как лиры и латы,
вдохновенье полночной отваги.
Лишь вздымают крутые бока
аккуратные груды бумаги,
по которым знакомые знаки
равнодушно выводит рука.

Свет, растёкшийся под абажуром,
вновь рождает надежду и раж,
как приветствие сумеркам хмурым,
как подобье внезапной улыбки...
Потому что чего не отдашь
за полуночный замысел зыбкий,
за отчаяние и ошибки,
и победы — всего лишь мираж!

Дорожная песня

Еще он не сшит, твой наряд подвенечный,
и хор в нашу честь не споет...
А время торопит — возница беспечный,—
и просятся кони в полет.
Ах, только бы тройка не сбилась бы
с круга,
не смолк бубенец под дугой...
Две вечных подруги — любовь и
и разлука —
не ходят одна без другой.
Мы сами раскрыли ворота, мы сами
счастливую тройку впрягли,
и вот уже что-то сияет пред нами,
но что-то погасло вдали.
Святая наука — расслышать друг друга
сквозь ветер, на все времена...
Две странницы вечных — любовь и
разлука —
поделятся с нами сполна.
Чем дольше живем мы, тем годы короче,
тем слаще друзей голоса.
Ах, только б не смолк под дугой колокольчик,
глаза бы глядели в глаза.
То берег — то море, то солнце —
то вьюга,
то ангелы — то воронье...
Две вечных дороги — любовь и разлука —
проходят сквозь сердце мое.

☆☆☆

Всему времечко свое: лить дождю, земле вращаться,
знать, где первое прозренье, где последняя черта...
Началася вдруг война — не успели попрощаться,
адресами обменяться не успели ни черта.

Где встречались мы потом! Где нам выпала прописка!
Где сходились наши души, воротясь с передовой!
На поверхности ль земли! Под пятой ли обелиска!
В гастрономе ли арбатском!
В черной туче ль грозовой!

Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен,
ибо праведных уроков не бывает. Прах и тлен.
Руку на сердце кладя, разве был я невезучим!
А вот надо ж, сердце стынет в ожиданье перемен.

Гордых гимнов, видит бог, я не пел окопной каше.
От разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну...
Но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше,
если вы не возражаете, я голову склоню.

Арбатский мотив

Все кончается неумолимо.
Миг последний печален и прост.
Как я буду без вас в этом мире,
протяженном на тысячи верст,
где все те же дома и деревья,
и метро, и в асфальте трава,
но иные какие-то лица,
и до вас достучишься едва!

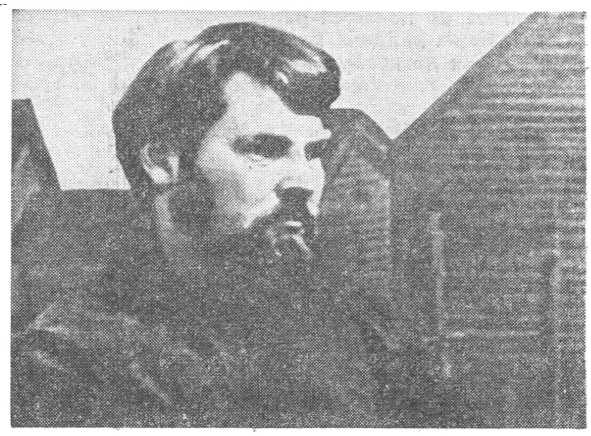
В час, когда распускаются розы,
так остры обонянье и взгляд,
и забытые мной силуэты
в земляничных дворах шелестят,
и уже по-иному крылато
все, что было когда-то грешно,
и спасаться от вечной разлуки
унизительно мне и смешно.

Я унижен тобою, разлука,
и в изменника сан возведен,
и уже укоризны поспели
и слетаются с разных сторон,
что лиловым пером заграничным,
к меловым прикасаясь листам,
я тоскую, и плачу, и грежу
по святым по арбатским местам.

Да, лиловым пером из Риеки
по бумаге веду меловой,
лиловеет души отраженье —
этот оттиск ее беловой,
эти самые нежность и робость,
эти самые горечь и свет,
из которых мы вышли, возникли.
Сочинились... и выхода нет.

ИГОРЬ ОБРОСОВ

В редакции нашего журнала двадцать лет назад открылась п е р в а я выставка Игоря Павловича Обросова, ныне — заслуженного художника РСФСР. Сейчас мы публикуем его п е р в ы й рассказ.



РАССКАЗ

МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ...

Рисунок О. Кокина.

Памяти художника Виктора Попкова

Проснулся я оттого, что в избе пели. Тихо, странно, заунывно. Я приподнял голову, прислушался. В красном углу, у стола, сквозь вечерние лиловые сумерки осеннего исхода дня, медленно раскачиваясь из стороны в сторону, двигались, словно мерещились, фигуры старых женщин. Было их шестеро.

Подслеповатая семидесятилетняя баба Паша, хозяйка избы. Бабушка Таня, согнутая пополам радикулитом и вечно таскавшая за собой шальную козу Таньку, которая всякий раз взбрыкивала, обрывала ветхую веревку и убегала невесть куда. Затем Турбаниха, имени ее я не знал, да и вряд ли кто в деревне помнил его: Турбаниха да Турбаниха. Высокая, прямая, мосластая Пыхта, прозванная так за постоянно издаваемый ею по причине давней болезни носа какой-то нутряной звук, напоминавший пыхтение паровоза: «Пых, пых...» Лицо у нее было скорей мужичье — сильное, волевое, властное, с большим мясистым носом. Она совсем недавно схоронила старика мужа, еще крепкого, но умершего в одночасье и оставившего супруге хороший дом, ухоженное хозяйство и житницу, полную добра. Нашлись тут же родственнички из соседней деревни да взялись помогать старой Пыхте до последних ее дней, за что был им обещан и отписан в завещании дом с постройками — за уход. На Пыхте накинута красивая старинная кашемировая шаль с цветами по черному фону. И другие женщины были одеты празднично — в домотканые, длинные до пят юбки с узором из кружев и лент, в широкие кофты с оборками. Головы покрыты да повязаны платками из простой крашеной ткани, красно-охристой с черным.

Рядом с высокой костистой Пыхтой, словно цыпленок возле квочки, топталась маленькая старушонка, похожая на ссохшегося кузнечика, прозванная Суворихой по фамилии мужа. А на скамье у стола сидела шестая женщина — молча, сложив покорно

руки на коленях и глядя в окно,— тихая, боязливая Дуня, лет пятидесяти пяти, в рабочей одежде: фартуке, сапогах. Видно, только что пришла с фермы.

На столе стояла простая деревенская закуска: грибы, ягоды, огурцы да две бутылки красного вина — «гнилушки», как называли его в деревне. В центре стола красовалась припасенная для праздника банка городских консервов — килек. Старые женщины не танцевали, а приплясывали, медленно покачиваясь и расхаживая в такт своей собственной песне, смысл и мотив которой был понятен только им самим. Жесты их были плавны и размеренны. Они нимало не путались в замысловатых фигурах танца, а словно растворялись в движениях, погружаясь в воспоминания ушедшей молодости, вырывая из памяти события давно минувшие. По лицам блуждали неясные улыбки, тихая веселость, легкая грусть. И таинство. Будто чем-то делились они друг с другом, но не словами, а чувствами и переживаниями, нахлынувшими в этот вечерний час.

Я молча наблюдал за ними. Печальные мысли охватили меня. Я вдруг ясно ощутил присутствие в избе кого-то невидимого. То та, то иная из старых женщин иногда покидала пляшущих и, отклоняясь в сторону, увлекала этого невидимого за собой в темноту угла, и оттуда слышались еле различимые разговоры, словно беседовали наедине с самим собою.

Из-за печи мне многого было не разобрать, поэтому я тихо спустился вниз и присел на краешек скамьи. Мое присутствие не смутило женщин. Лишь только баба Паша скорее почувствовала, чем увидела меня, налила стограммовый граненый стаканчик и подала мне со словами:

— Прими стакашек, Палыч... Да помяни наших мужиков, без времени ушедших да без гроба похороненных на полях сражения.

Старухи остановились в танце, приблизились к столу, подняли стаканы, перекрестились и молча выпили. Затем по очереди взяли вилочку, ткнули в кильки и расселись по лавкам.

Бабушка Таня оправила платок, утерла губы его концом и как-то вдруг сразу запела. Была это старая, старая песня.

Матушка моя, что во поле пыльно...

Голос ее звучал не громко, но сильно, да будто и не пела она, а выговаривала. Слова песни были мне незнакомы. Пела она одна, никто ей не вторил, не подпевал. Видимо, в деревне это была песня бабушки Тани, и только ее. Когда она умолкла, засуетились, зашумели, потянулись к стакашкам. Пыхта разлила всем «гнилушку» и сказала:

— И то, я вот тоже не по любви вышла, а с Шурой, мужем, пятьдесят пять годков прожила. Хоть и прозвище ему было Рыло, фотографией не вышел! В счастье прожила...

Вдруг баба Паша как-то неловко, словно стесняясь, попросила:

— Спой, Танюша, мою...

Пыхта подняла стакан и поглядела на нее.

— Опять письмо казать будешь?

— Не буду, не буду. Спой... Разреши...

Все снова умолкли, и баба Таня запела:

О чем задумался, служивый,
О чем тоскуешь, удалой...

За окном стемнело. Лишь только на подоконнике пурпурно пламенел в темноте единственный цветок в доме — герань в горшке. Он фосфоресцировал в сумерках, как бы запасся энергией света на всю долгую осеннюю ночь.

В деревне той стоит избушка,
Избушка старая стоит,
А в той избушке мать-старушка
Печали горькой предана.
Она все плачется о сыне,
А сын далече от нее...

Песня кончилась. Баба Паша засуетилась, шаря по стене и ощупывая все вокруг руками. Она сняла со стены рамку, где вместо фотографии было вставлено какое-то письмо. Старые зашумели, заулыбались, как бы радуясь тому, что знали наперед и что сейчас последует. Только Пыхта бросила строго:

— Так и знала, письмо от сына читать станет... Письмо есть, фото есть, а вот детей нету. Мне господь детей не дал, покалечилась в молодости. Да и слава богу! И это не дети!! Кому читать-то? Чей черед?

Но баба Паша сама открыла шкафчик, достала одни очки, затем вторые, придвинулась ближе к лампе и громко, торжественно прочла:

«Здравствуй, мать Пелагея Ивановна! Шлют тебе поклон сын твой Тимофей, невестка Лида и внуки Ира и Костик. На твое письмо и просьбу повидать внуков отвечаю, что это скоро сбудется. Потому как собираемся не только приехать, но и взять тебя к себе, в Питер. Будешь жить с нами в городе, нянчить внуков да на трамваях кататься. Хватит тебе, старой, по пустой избе мыкаться, тараканов гонять. Да и нам легше будет. А то Ирка в школу пошла, с Коськой же сладу нет, такой баловной. Приглядеть надо. Как только на заводе квартиру дадут, приеду. В одной-то комнате тяжело, четверо нас. Но мне обещают. Пока до свидания. Сын Тимофей. 1974 год, 5 апреля. Высылаю пять рублей. Боюсь, правда, что в письме не дойдет. Надо бы почтой!»

Видно было, что баба Паша читала письмо по памяти, да и разобрать в нем ничего нельзя, до того зачитано. Во время чтения бабы вторили ей, повторяли окончания фраз: «...Скоро сбудется... тебя к себе, в Питер... да на трамваях кататься... такой баловной... мне обещают... сын Тимофей... пять рублей...» Лица их озарились, раскраснелись то ли от радости за бабу Пашу, то ли от выпитого вина. Они задвигали скамьями, еще и еще раз пересказывая, уже додумывая письмо. Баба Паша вставила бумагу в рамку, потянулась к гвоздику. Ей хотела было помочь Дуня Копейкина, до того сидевшая молча, да неосторожно задела локтем нож. Тот, прокатившись на деревянной ручке, упал на пол.

Все мгновенно застыли на месте, наступила тишина. И только Пыхта выдохнула:

— Быть мужику в гости.

Повесив рамку с письмом на место, баба Паша долго ощупывала и гладила руками фотографии на стене. Здесь была вся ее жизнь с плохим и хорошим. Она остановилась на одной, овальной, висящей в центре, и, как бы обращаясь ко мне, объяснила:

— На фотке-то Иван, муж, молодой еще... довоенный, а мне-то здесь уж лет пятьдесят. В разное время графировались... После войны-то не удалось ему графироваться, не дожил до Победы. Убили под Ржевом в сорок втором.— Затем она нашарила рукой другое фото.— Старшой... Двадцатого года рождения... Срочную службу проходил... Убили в первый день войны.

Перебирая руками карточки, она не удержала их, и на пол полетел треугольник пожелтевшей бумаги. Суворихa ловко спрыгнула с места, подняла его и вложила во вздрагивающие руки бабы Паши.

— Это от второго, Николая, последняя весточка. Пропал без вести в сорок третьем. А это все Тимоша...

С десяток фотографий младшего сына — в школе подростком, затем флотские (на флоте служил), когда свадьбу его гуляли, с невесткой Лидой, с внуками. Отдельно внучка Ира и внук Костик. Баба Паша перецеловала каждую фотографию, повторяя:

— Поглядеть бы уж на внуков да помереть... Еще и не видела, а уж Ире скоро десять...

Женщины молчали, думая каждая свою думу, наблюдая свою печаль со стороны. Баба Паша очнулась от грустных мечтаний, подошла к шкафу. Скрипнула дверца. Старуха достала мужнину шинель, что прислали вместе с похоронкой дружки Ивана, повесила на гвоздь возле образов, перекрестила. Тридцать пять лет прошло, а запах Ивана, дух его сохранился. Уткнулась лицом в полы шинели: мужем... Иваном пахнет. Потом выпрямилась, поклонилась шинели.

— Хозяином будь за столом, Иван Иванович! Да вот гусарку-то тебе еще поставлю. Шинель да гусарка — вся память в доме от Ивана осталась. Все сгорело в сорок пятом...— И, не дожидаясь моих расспросов, поведала: — Иван-то Иваныч уже два года был как убитый. В конце войны случилось. В поле мы были.

— Да, в поле... в поле, правда...— подтвердили бабы.— Картошку сажали.

— А погода сухая стояла, одна пылища, а не земля. Сушь. Гляжу, в деревне словно спичками чиркают: вспыхнет... погаснет... «Бабы! — кричу.— Горим!» Бросились бечь, а уж полдеревни захватило. Гасить некому: мужики на войне... В избах старухи да дети малые... Гасить, да уж где там... Ждем, что будет. А уж по порядку десятый дом загорелся. Мой-то был большой пятистенок. Вдалеке стоял, да по тому же красному порядку. А огонь так и перекидывается с дома на дом, так и жрет один за другим. Скотину, детей да старух на усадьбу повытаскивали, сидим на вещах и ждем, что будет. Дед Илья в металл бьет: «Бум... бум...»

Потрясенный жутким рассказом я встрепенулся:

— Чего не гасили-то?

— Гасить?.. Нет, не гасили...

Тут вмешалась Пыхта:

— Да ты видел ли в деревне пожары-то, Палыч? Вот нынче в Егорьеве двадцать пять домов как корова языком слизала. Одни головешки да трубы торчат. Это сейчас — машины, насосы... А тогда бабье да дети малые...

Баба Паша продолжала:

— Вот так сидим и глядим, как дома наши кровные от огня гибнут. И слез нет... Уж и бегать перестали, молча сидим и глядим... Сорок домов сгорело, и мой пятистенок не миновало. Вот так пошла я на погорелье-то покопаться, не осталось ли чего. Этак палочкой разгребаю железки всякие, утюги. Да и наткнулась на эту вот гусарку-то. Как уцелела она, богу понятно. Да одной стороной и пригорелато. А ведь мы ее с Иваном в год нашей свадьбы в Колоковье на ярмарке купили, начало нашего хозяйства заклали... Мол, гусей разводить будем. Теперь-то уже гусей не держу, под солод приспособила. Вот и стой тут, родимая, с шинелкой-то рядом.

Баба Паша умолкла, оглаживая подгорелый бочок плетеной корзинки. Женщины тоже притихли, думая свои неотвязчивые думы. И вдруг опять возникла баба Таня:

— Споем, подружки, уж теперь вместе.

Песня была мне хорошо знакома, да и почти каждый горожанин знает ее, ибо эту глубоко народную песню опошлили по пьянке, надругались над ней. Но то, что я услышал сейчас, потрясло меня. Сколь ценна песня на своем месте, с народом, с бедою и радостью его!

Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.

Баба Таня пела, а остальные единым духом подхватывали повтор:

Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра...

Когда допели до конца, пришло какое-то опустошение, словно все обессилели. Дуня, так та просто плакала навзрыд, не утирая слез. И опять тишину нарушила Пыхта:

— Вот, бабы, вся наша девичесть издесь! Вот, Танюша, Копейкину-то Дуню довела до чего... Вспомнила своего мужа, Дуня? Дуня, а муж-то был у тебя?

Копейкина обернула к Пыхте круглое, доброе, до черноты загорелое лицо, залитое слезами:

— Да уж и не знаю, как считать: был или не был? — Она растерла слезы кончиком платка и пояснила: — Только недельку мы с ним и пожили после свадьбы-то. Аккурат за неделю до начала войны свадьбу гуляли. Нюра, старшая, от него... Девка я еще до него-то была... Дочь родилась — уж он был убитый. Пожила я, пожила у свекрови и свекра с месяц. Люди они хорошие, да мне чужие, и ушла к матери с отцом. В их доме жила...

Дуня было замолчала, да Пыхта не дала, обратясь ко мне:

— Беда, Палыч, у Дуни случилась с Нюрой-то... Дуня, а ты скажи, скажи...

Та подняла на меня взгляд.

— Да уж чего там... Давно это было... Нюре тогда девять годков минуло. В школу наши-то в Дубровку бегают, километра три. А дело зимой было... Еще тогда интернатов не строили. Жду-пожду както Нюрку. Нет и нет из школы. Уж гляжу — темнеть стало. Пошла вон к соседке, мы тогда с бабушкой Суворихой соседи были. Машка-то ее уж дома. Вместе они в школу бегали, Маша да Нюра. Машка-то и говорит: «А ее Эльвира Александровна со второго урока послала за вами». Бросилась я в Дубровку в школу — никого нет, все разошлись. Я к учительнице на квартиру. Она мне: «Да, Копейкина — девочка непослушная, в протопленную печь старую галошу бросила. Напустила угару, чуть не задохнулись...» Я ее недослушала, бегом обратно в деревню. Может, у подруги или на конный зашла поиграть: лошадей она сильно любила. На конном нету... нигде нету... Всю ночь кидалась туда-сюда. Всю дорогу исползала от Нив до Дубровки.

Бабы молчали, упершись взглядами в стол. Наконец, Пыхта, обхватив голову руками, досказала:

— А утром-то наткнулась Дуня там в сторонке, в леску, на дровяной делянке, где наши, деревенские, дрова берут... Сидит Нюра, головку эдак на бочок склонила. Замерзла. И сумочка с учебниками да тетрадками аккуратненько рядом поставлена. Вроде бы и мороза большого не было, а вот ведь смерзла девушка. Сердцем слабенькая была...

Я ясно себе представил сцену в лесу, на делянке, горе Дуни... И тут снова Пыхта вывела всех из оцепенения:

— Помянем, бабы, детскую душу...— Она выпила и горько поморщилась, словно откусила стекла, а затем уже другим, более суровым голосом продол-

жала: — Потом-то Дуня еще народила... Только вот без мужа... Иде его, мужа, возьмешь-то?

Дуня тихо обронила:

— Без детей нельзя... Одиноко...

— Одиноко? — наступала на нее Пыхта.— То-то тебе сейчас весело... Виктор-то иде? А Шурка? Одиноко... Прохиндеи и есть прохиндеи...

— Ну да ладно! — вдруг улыбнулась Дуня.— Лишь бы им было хорошо!

Но последнее слово должно было остаться за Пыхтой.

— Эх вы, бабы... Ризетка есть, а штепсель найдется!

Женщины заулыбались, захихикали и, резко вдруг поднявшись, застучали каблуками в каком-то своем ритме-танце, напевая и поахивая.

Я долго не решался взяться за карандаш, понимая, что, только женщины заметят, как их рисуют, они сразу утеряют свою простоту. Я был поражен увиденным и услышанным и чувствовал, что мне открывается нечто очень важное в жизни этих старых женщин. Сначала робко, как бы ощупью, я начал набрасывать карандашом на бумаге, но с каждой минутой все определеннее и острее становился рисунок. И вот уже, позабыв об окружающих женщинах, я ожесточенно водил рукой с твердым карандашом по белому листу и рисовал худые морщинистые лица, негнущиеся скрюченные пальцы старческих рук, складки одежды. Особенно поразила меня рука бабки Суворихи. Она в кисти напоминала прямоугольник: пальцы шевелились, а кисть не разгибалась вовсе. Я несколько раз брался рисовать эту руку, чем привлек внимание Пыхты, иногда заглядывавшей мне через плечо и комментировавшей, похоже или не похоже срисовано. Тут-то ее удивила похожесть Суворихиной руки: «Как живая!» Видимо, она привыкла к увечью Суворихи и не замечала его. А вот сейчас, глядя на рисунок, будто прозрела и показывала лист всем, как свое открытие.

— Вот, Палыч, гоноболь, морошку ешь... А у нас Сувориха первая по этому делу — промышлять по ягодам да коровякам. И страсть и прикорм тож.

Ощутив внимание на себе, Сувориха улыбнулась, даже не улыбнулась, а — словно шишка сосновая распустилась — разулыбила сморщенное лицо. Вся она, Сувориха, была маленькая, сухонькая, складненькая. Передвигалась по избе быстренько-быстренько, вприпрыжку, вприскок. Да и говорила скоро-скоро:

— Я, енто, за ягодой руку-то протянула, а ее не заметила, так утаилась... А она — вжиг! — так повыше кисти... как заноза, вошла. Бросилась я бечь к дому, знала: кровь надо спустить. Прибегла, тесак-то схватила и со страху и резанула... Кровь обильно брызнула. Да, видно, жилу захватила... Попухла, попухла рука, да и опала, травами я ее обихаживала все. Да вот так клюкой и осталась...

Бабушка Сувориха умолкла и разулыбилась, словно что приятное вспомнила. Но и тут Пыхта не дала ей долго улыбаться.

— Это, значит, одна гадюка в руку жиганула, а другая гадюка так ей всю жизнь перекалечила. Вот дом-то, Палыч, стоит сразу за проулком, большой, на пять окон по фасаду... Марфеня сейчас в ем живет. Слава тебе господи, хоть помер ее мужик — Жулька. Как был жулик, так и помер жуликом. Откуда и прозвище ему народом было дадено. Так вот Суворихин муж, Колька Суворов, жил в этом дому. Он его со своим отцом поставил в тридцатом. Я еще помню, монастырский лес возили. Бревнища — во! А потом у Кольки с Суворихой народился сынок. Все рады. А Марфеня разве утерпит, если у кого хорошо. Вот она ей, Суворихе-то и напакостила... А сама гадина и по сей день промеж нас ходит. С самого раннего утра на стреме, как на наблюдательном пункте, из окна высовывается. Так вот Сувориха и осталась одна сама-четвертая. Сыновья-то поразъехались кто куда. А дочь тоже хороша, Машка толстомясая. Хоть и живет со своим мужиком Мишкой Маровым рядом, да мать отделила. Живи, мол, одна — дыхаешь весь день и ночь. Асма у нее... Покоя, мол, нет от тебя, старой! Прохиндеи...

Пыхта замолчала, разозленная. А бабушка Сувориха снова разулыбилась, словно опять что-то приятное услышала. Я наблюдал за ними. Они умиротворились, притихли. Лишь баба Паша то всматривалась в окно, то подходила к двери. Ко мне подсела баба Таня, заметившая, что ее рисуют.

— Эх, расслабил ты нас, Палыч, своим вниманьем, слушатель ты хороший. Песню понимаешь... Меня, старуху, не рисуй, не надо. Урода я... Вишь, меня как жизнь к земле пригнула. Я ведь тоже погорела в тот год. Дом наш на прогоне стоял. Повестку про мужа получила еще раньше: «Пропал без вести». Оказалась я на улице с тремя девками мал мала меньше. Худо было бы, если б не дед Илья Серов. Пустил к себе в избу. Колхоз денег дал, сама строиться начала. Поехала к карелам за лесом; сама рубила, сама накладывала, сама вывозила. Я и лошадь, я и бык. Да вдруг почувствовала: вроде затяжелела я. Дед Илья хоть в годах был, да еще в силе мужик. Вот и согрел меня однажды, исхолодавшуюся, изголодавшуюся по мужику. Стала я пухнуть. В деревне-то не в городе, к врачу не побежишь. Бабка Марья, жена деда Ильи, любопытствует: мол, что и откуда? А я ей: «Ветром надуло, когда к карелам за лесом ездила». Родила я опять девку, старшие нянькать стали. Тем временем войне конец пришел. Кто вернулся домой, кто нет. Домишко я отстроила на три окна — и сейчас в ем живу. Спустя три года — уж старшая в восьмой класс бегала, Надька в пятый, Нинка во второй, а Валька еще по избе ползала — на крыльце затарабанили. Гляжу в окно, а он стоит, мужик мой. «Здесь,— говорит,— Каревы проживают?» «Да иде ж ты столько времени пропадал? Иде шастал?» — говорю. «Весь мир,— говорит,— всю Расею объездил. Теперь домой потянуло».

Внимательно слушавшая Пыхта не вытерпела, что весь сказ может обойтись без ее поправок:

— Чудной у ней мужик был, Палыч! Прозвище было ему: «Семь стаканов пью, а восьмой не помню». Пил могуче, через то и сгорел. Лет десять назад...

Видя, что Пыхта не дает ей самой досказать свою судьбину, баба Таня покорно возвратилась на свое место к столу. А Пыхта продолжала:

— Как вернулся он, так в шабашники нанялся, плотницкую бригаду сбил. Ходили по деревням, шабашничали.

Я поинтересовался, как же младшую-то дочь принял. Баба Таня развела руками.

— Да сказал только: «У меня, может, по Расее сколь их гуляет. Увидишь ребенка — не гони, дай конфетку: а вдруг твой». И весь разговор.

— Одно слово, Расея,— молвила баба Паша, убирая со стола крошки.

— Расея, Расея, а вот как дальше обернулось...— Пыхта вздохнула.— Рубили они дворы на Монастырщине, что за рекой. Работали бригадой с месяц, потом расчет им был в конторе. Рассчитались да пошли обедать в чайную. Кто говорит — ссора у них была, кто — нет. Возвращались домой в маши-

не вот как раз Мишки Марова, да, видно, и заснули. Трое их было из нашей-то деревни: Болдиных два братана да он, мужик ее. Как уж получилось, неизвестно. То ли курили они и солома занялась, то ли поджог. Карев-то и сгорел. Один сгорел, а другие даже не обожглись.

Суворихa закашлялась, да тут же вставила:

— Вроде селитрой, заместо песка, они его обсыпали, огонь затушить хотели. Среди чистого поля было это...

Пыхта одернула Суворихy:

— Да погоди, цыплячья твоя натура... В машинето у Мишки удобрение в мешках было... Привезли Карева в больницу, да там он и помер. Семьдесят пять процентов кожи обгорело.

Я вопросительно взглянул на бабу Таню.

— Ну что же, расследовали это дело?

Баба Таня молчала, глядя в темное окно. Я продолжал:

— В суд надо было подать, чтобы нашли виновных!

— Ни к чему это, суд-то,— ответила баба Таня.— Человека-то уже нет. А у этих тоже дети по лавкам сидят. И так мужиков мало в деревне осталось. Все молчали, углубившись в размышления о жизни, о деревенском бытии, о человеческих страстях и пороках. Было слышно, как по дранке стекают капли только что начавшегося дождя да потрескивают остывающие кирпичи в жарко натопленной печке.

В дальнем конце деревни залилась единственная оставшаяся собачонка Дамка, подобранная за мирный и ласковый нрав бабушкой Суворихой. Потом по одиноко стоящим избам ударил и прошелся свет машинных фар. Выхватив из темноты брошенные, забитые досками, печальные громады домов когда-то большой деревни, луч света уперся в окно и осветил прильнувших к стеклу старух, щурящихся и прикрывающих ладонями глаза.

Пыхта первая пришла в себя.

— Нож упал — быть мужику-гостю.

Затем на крыльце загрохотало, испуганно заблеяла коза бабы Тани, оставленная на привязи. Несколько раз хлопнули дверьми, и в избу ввалился здоровый мужчина в городской одежде — в темносером плаще «реглан» и почему-то в светлой соломенной шляпе не по погоде. За ним в избу протиснулся малой, тощий мужичонка, по-хозяйски притворивши за собою дверь и принявшийся внимательно оглядывать избу. Первый бросил на лавку рюкзак.

— Здорово, старые, да у вас тут никак правление старух-пенсионеров собралось... Мамаша, принимай гостей! Сын приехал...— Заметив меня, он повернул в мою сторону.— А тут, оказывается, и мужского полу есть.— Он протянул руку, здороваясь.— Тимофей. Сын данной старушки и хозяин данного строения.

Не дожидаясь ответного рукопожатия, он прошелся ладонью по плечам притихших старушек и обнял, чуть приподняв, бабу Пашу. Та еще, видимо, не пришла в себя, а только твердила:

— Тимошенька... Тимошенька... Внучки мои дорогие...

Тимофей отстранил ее.

— Спокойно, мамаша, внуки остались дома, им учиться надо. Скоро увидишь внуков в Ленинграде, у канала Грибоедова. Дом продаем. Вот, мамаша, я и покупателя уже нашел. Савватей Иванович, из Кулимесова. Да он ведь, говорит, знает всех в нашей-то деревне. Ты, Савватей, ходи, смотри, меряй, обмеряй... Твое владение. А мы тем временем обмоем покупку... Что вы тут, старушки, пьете? — Он взял в руки недопитую бутылку.— Красненькое, двенадцать градусов... А мы сейчас покрепче нальем.— Он подошел к столу, сдвинул посуду в сторону, вынул бутылку «Экстры». Затем он вытряхнул из рюкзака на стол несколько банок килек, печенье, колбасу.— А это вот, мама, тебе.— Тимофей вытащил большую банку атлантической селедки.— Пряного посола. Лидке принесла знакомая продавщица, ее клиентка. Она у меня теперь мастер-парикмахер дамский.

Мать бережно взяла в руки подарок, попросила:

— Уж ты, Тимошенька, и открой. Старушек-то побаловать солененьким.

— Нет, мама, это тебе на после.

— На какое апосля? Теперь уже в Питере мое апосля...

— Ну да, верно, побалуем старушек...— Он достал складной нож, ловко открыл банку и скомандовал:— Тетя Таня, давай-ка приготовь селедочки. Тетка Анна, вы там, бабы, все за стол. Вспрыснем горькой, закусим селедочкой да по домам. Гости с дороги, отдых требуется. Нам, мужикам, поболее, дамам — поменьше. Нам не надо триста грамм — два по двести и сто грамм.

Он по-хозяйски подал старухам стаканы. Пыхта встала и, дохнув носом, сказала:

— За приезд сына Тимофея в родной дом да за радость, что матери доставил, что в город ее к себе забираешь. Не забыл... Уж плоха матушка, Паша-то, стала. Беда, видит плохо, ноги пухнут... За здоровьице ваше!

— Спасибо, тетка Анна, благодарствуй! — Тимофей выпил, занюхал грибочком, хрустнул огурчиком, взял со стола несколько банок килек.— А теперь по избам, бабоньки. Потому как гостевать мне некогда, завтра же уезжаю по утрянке, машину заказал. А делов да разговоров у нас с мамашей, как говорят, еще вагон.

— И то, родимый, и то верно, собраться надо, вещички покласть,— забеспокоилась баба Паша.

Тимофей сунул старухам по банке килек, провожая их до двери.

— Вот те, тетка Анна... Вот те, тетка Таня... Вот вам...

— Да уж спаси тебя бог, хороший человек, а хороший человек нынче редок.

И, затянув свои песни, старушки высыпали на улицу, приплясывая.

Я тоже собрал свои рисунки, сложил их в папку и вышел вслед за женщинами к себе в чулан, где стояли мои подрамники и ящик с красками.

Я лег на деревянный топчан, укрылся лоскутным одеялом, положил под голову старый ватник. Мне долго не спалось. Увиденное и услышанное вновь и вновь всплывало в моей памяти. Отчего они так одиноки? Почему так несправедлива к ним судьба? Где их дети? Разве не они их вскормили, взрастили? Почему же так забыты и покинуты они теперь?..

На дворе дождя уже не было, и в узкое слуховое оконце чулана заглянуло звездное небо.

И от редкой тишины и покоя в природе мне стало почему-то еще тревожнее. Вот так в глубоком молчании свершаются беды. Хоть в голос кричи, никто не услышит, никто не поможет. Покой и тишина. Вдруг за стеной отворилась дверь, и кто-то вышел в сени. По говору я различил Тимофея и мужика Савватея. Куря, они переговаривались о какой-то важной бумаге, которую подписала им баба Паша. Савватей утверждал, что это самое главное — ее подпись. Да и хорошо то, что заявление от нее взяли... Еще бы паспорт надо... ее...

Я засыпал беспокойно, все хотел проследить нить разговора, как-то логически связать услышанное, но усталость и выпитое взяли свое, и я уснул.



Утром, встав пораньше, я вышел на улицу доканчивать начатый вчера рисунок. И вдруг увидел бабу Пашу. Она на ощупь пробиралась вдоль забора, нашла калитку, отворила ее и побрела в поле, странно выпрямившись, с протянутыми вперед руками. Шла она, минуя тропинку, по скошенному клеверу, мимо старых покосившихся деревенских сараев. На пути она низко наклонялась к земле и оглаживала траву. Мне пришла в голову мысль, что баба Паша прощается с деревней, цветами, небом, лесом — всем, что связывало ее со здешним миром.

Вспомнился мне вчерашний разговор двух мужчин в сенях. И тут я увидел Тимофея, выходящего из Марфениного дома. Марфеня что-то ему говорила, раскланиваясь и уважительно кивая головой. Заметив меня, Тимофей направился в мою сторону. Посмотрел на рисунок и сказал:

— В натуре малюешь. Вот гляжу я на вас, художников, черт те что делаете, а денег гребете кучу. Вот давеча я хотел спросить... Ведь вы зарплаты не получаете кажный месяц? Как же живете?

— По договорам.

— Ага, по договорам — значит, раз пусто, потом густо. Ну, а сколь примерно в месяц получается?

— По-разному, когда триста, когда сто рублей.

Это, видимо, привело Тимофея в замешательство, но он не сдавался.

— А правда, что вы баб голых малюете?

— Не голых, а обнаженных.

— Ну, ты мне не вуалируй... Обнаженных... Ты бы мне срисовал какую ни то. Ух, у нас на флоте силен был морячок-художник. Одному флотскому наколку сделал на заднице. На одной половине кошка, на другой мышка. И вот он идет, а у него то кошка, то мышка.

— Вот вы живете в Ленинграде, Тимофей, а в Русском музее были, в Эрмитаже?

— Чево?..

— Вот вам и «чево»... Кошка-мышка.

Тимофей сделал обиженное лицо.

— Ты вот что, художник, сразу ты мне не понравился. Ты с мамашей за постой рассчитался? За сколь дней? Со мной будешь рассчитываться по рубчику за сутки, как в гостинице. Правда, там чистое белье, зато здесь воздух! Да, как думаешь, почему в деревне воздух чистый? Потому что колхозники окон не открывают. Ха-ха...—Он было пошел, потом опять обернулся.— Чтоб расчет был. Через час уезжаю.

Марфеня все время зорко следила за нашим разговором и, когда Тимофей ушел, решилась приблизиться ко мне. Постояла, увидела, что не гонят, сказала:

— Уж разрешите полюбопытствовать. Ох, да как распрекрасно срисовано... Это что ж, и мой тут дом, а это никак Суворихин... Да так оно и есть.

Я был наслышан о Марфене, но после вчерашнего рассказа Пыхты рассматривал ее с особым интересом. Высокая, тощая, вся из сухожилий, она и впрямь была похожа на гадюку. Крупное тело и малюсенькая головка, низколобая, с маленькими бесцветными глазками, острыми, как гвоздики, все видящими, все примечающими.

— Извините, Егор Палыч,— ласково пропела она,— вот вы человек образованный, уж не подскажете ли мне, как быть? Письмо я получила от сына. Пишет, что кровельщиком работает по железу.— Марфеня испытующе взглянула на меня.— Что ж это за кровельщик такой? Неужто кресты делает из железа? — Она притворно испугалась.

— А сын-то где живет?

— Не то под Красноярском, не то под Красноводском.

— А чего же не здесь?

— А заработки тут плохие.

— А вы чего же здесь одна? Ехали бы к нему.

— Да уж я ездила... Хватит досыта, нажилась. Подтирахой-то быть не хочу.

— Ну, чего же, он вам, сын, помогает?

— Ага, помогает. Пятьдесят рублей выплачивает. А мне и здесь хорошо. Сяду утречком на лавочку и все гляжу, гляжу... Благодать... Да и уважают меня тут. Вон нонче директор совхоза приезжал: «Не видела ли, Марфеня, куда прицеп с ячменем подевался?» «Как же, видела,— говорю,— поищите-ка у братьев Болдиных». Поискали и нашли.— Она переминалась с ноги на ногу, и было видно, что ей не терпится что-то мне сообщить.— Вы дом покупать не собираетесь? Я бы продала свой недорого. В Епатьево хочу перебраться. Вот Тимофей-то избу продает и мать-то свою из дома выгоняет, слепую...

— Это как выгоняет? Он же ее с собой в город, в Ленинград, берет! А письмо то, в нем же... обещал!

— Письмо? Сколь времени-то прошло... Как же, как же... Тут ее оставляет, у меня. Просил: «Пусть пока у тебя поживет, Марфеня». И уж деньги вперед за уход заплатил. «Вам,— говорит,— вдвоем веселее будет. Временно...» В этот, в ператив вступает. Деньги нужны. Вот дом и продает Савватею за пятьсот рублей на снос. Савватей-то дом ставит в Епатьеве, материал ему нужен строчно. Мой бы попробовал выгнать меня, я бы мигом в риком. Вызвали б его, в три шва прошили бы...

Я вспомнил вчерашний разговор в сенях.

На дороге послышался шум мотора, появился газик, сделал круг и остановился перед домом бабы Паши. Подошли Пыхта, Турбаниха, за ней вприпрыжку Суворихa и баба Таня, таща за собой на веревке козу. На крыльцо вышел Тимофей, оглядел собравшихся старух.

— Ну, бабы, вам оставаться, нам ехать.

Пыхта выступила вперед.

— Мать-то бросаешь? Из родного дома выгнал. Сын! Прохиндей...

— Не бросаю. Временно поживет у Марфени.

Тут баба Таня шагнула к Тимофею и швырнула ему в ноги вчерашнюю банку килек.

— Подавись ты своими кильками!

За нею вслед вышла Суворихa, и еще одна банка полетела в Тимофея. Тут я понял, что настал мой черед вступить в разговор.

— Слушай, Тимофей Макаров! Ты продал дом за пятьсот рублей. Даю тебе семьсот, а мать остается в избе сколь ей надо.

— Счас? — Тимофей растерялся и посмотрел на Савватея.

— Ты что, Тимоха? — встрепенулся тот.

— А что, две сотни на улице не валяются...

— Ну, тогда и я прибавлю... Восемьсот...

Тимофей взглянул на меня.

— Ну чего, прибавишь или карман прохудился?

Я не знал, что делать: денег больше у меня с собой не было.

— В долг поверишь? Тысячу дам...

— Нет, художник, гони наличными. Ты же мне не веришь, почему я должен?

Женщины в оцепенении глядели на меня.

— Сволочь ты, Тимофей Макаров! — Я сжал кулаки.

— А ну погодь, Палыч,— остановила меня Пыхта,— я три сотни прибавлю, так и будет тыща.

И она ушла за деньгами, а я поднялся в дом, взял пиджак, отсчитал деньги и во дворе сказал бабе Тане:

— Найдите бабу Пашу. Пусть он при всех отдаст ей расписку.

Показалась Пыхта. Лицо ее было сурово и строго. В руках ее не было денег, а все та же злосчастная банка килек.

— Не надо денег, Палыч,— тихо обронила она.— Не нужно больше дома бабке Паше. Померла она. Села возле моего дома на скамейку, да так и померла. А глаза открытые и на реку, в пойму смотрят. Хороший человек была баба Паша...

Все притихли пораженные. Одна лишь Марфеня осторожно двинулась к дому бабы Паши, приговаривая:

— Ведерочко я ей давала малированное... Не затерялось бы иде...



«ПИСАТЕЛЕМ МЕНЯ СДЕЛАЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

Эти слова А. А. Фадеева не случайно взяты заголовком к своеобразной анкете «Юности». Специальные корреспонденты журнала Ирина Трилисская и Анна Пугач обратились к нескольким известным советским писателям с просьбой рассказать о начале их творческого пути, неразрывно связанного с Дальним Востоком.



ПЕТР ПРОСКУРИН: «Моя Камчатка просто невероятна...»

В 1958 году я возвращался домой, в Брянскую область, с Камчатки, где после армии работал три года в леспромхозе. Почему меня вдруг занесло туда, на Камчатку, сам не знаю, просто хотелось уехать куда-нибудь. Поехал так, наугад и влюбился в эту землю.

Стихи сочинял я уже в четырнадцать лет, но в армии и в леспромхозе стал писать прозу. Начал роман, написал несколько рассказов — там и на пароходе, на котором мы с товарищем плыли с Камчатки на Большую землю. По дороге остановился в Хабаровске отдохнуть, посмотреть тогдашнюю дальневосточную столицу. Зашел в редакцию журнала «Дальний Восток»: хотелось показать кому-нибудь, что написал. Мне повезло: первый человек, с которым я столкнулся как автор, был заведующий отделом прозы журнала Сергей Леонтьевич Рослый. Он глубоко любил литературу, доброжелательно относился к молодым, был человеком прямым и открытым. Он очень много дал мне, во многом помог. Первые мои рассказы были напечатаны в газете «Тихоокеанская звезда» — «Цепа хлеба», «Таежная песня», «Залом». Вот с этого, я считаю, и начался мой литературный путь. Дальний Восток, Камчатка дали мне необычайно значительные для писателя встречи с неординарными людьми — ведь в такие отдаленные места попадают необычные люди, неспокойные.

Одни ищут денег, другие бегут от своей неустроенной судьбы, третьи — мечтатели... А встреча в Хабаровске с Рослым помогла поверить в себя. Это он сказал: «Сиди в Хабаровске и доканчивай роман. Это твоя судьба». И я остался в Хабаровске. Через шесть месяцев был окончен роман «Глубокие раны».

В 1959 году проходило совещание молодых писателей Дальнего Востока. Я представил туда роман «Глубокие раны» и сборник рассказов. После обсуждения на совещании мне дали рекомендацию для вступления в Союз писателей. А в шестьдесят втором году я поступил на Высшие литературные курсы в Москве. Так началась моя профессиональная писательская жизнь. Началась с Хабаровска...

Прекрасна природа Дальнего Востока, а моя Камчатка просто невероятна. О ней, о непостижимой Камчатке, я написал повесть «Тайга». Сейчас я работаю над новой книгой «Словом не убий». Это автобиографический роман, где очень много сказано о Дальнем Востоке, о Камчатке, о тех людях, которые не потускнеют для меня никогда. Это все живет во мне, и впечатления, мотивы моей дальневосточной эпопеи до сих пор прорываются на страницы рукописей. И до сих пор моя мечта: проехать по тем давнишним, дорогим мне дорогам...



РИММА КАЗАКОВА: «Я знаю это побережье»

В жизни каждого человека бывает такая счастливая пора, когда он совершенно свободен и может сам распоряжаться собою, своим временем. Мне кажется, что это время — время свободного выбора — и есть преддверие звездных часов, важно только точно угадать его, не растеряться и сделать правильный шаг.

После окончания Ленинградского университета для меня и наступил такой момент — нужно было решить, куда ехать работать: в деревню Ленинградской области, в Белоруссию ли, или еще куда-нибудь, а может, поступать в аспирантуру,— выбор был большой. Но вот какой-то ветер шальных дорог позвал далеко, как можно дальше, и я поехала по распределению в Хабаровск.

Поезда тогда шли долго, ехала я до Хабаровска девять суток, в окно смотреть надоело, и даже было как-то не по себе: не слишком ли далеко я забралась? Но вот мы стали подъезжать к Амуру, и я увидела очень широкую желто-бурую реку, не походившую на другие, а дальневосточники запели: «Шуми, Амур, шуми, наш батюшка...»— предчувствие чего-то необыкновенного охватило меня.

Я была очарована Хабаровском, его просторным небом, похожим на море Амуром. Жизнь моя сложилась так, что очень скоро мне довелось побывать в самых отдаленных уголках дальневосточного края. Жила и была в таких местах, где простые человеческие дела приобретали характер и героический и романтический. Даже доставка почты, скажем, в Охотском районе, из центра на окраину в мае, когда еще не совсем растаяли льды, требовала большого мужества. Помню парнишку—рулевого катера: глаза в кровавых прожилках, ссадины на руках: попал в шторм по дороге из Охотска на Улью. Обычная работа, обычные дела...

Я встречалась, дружила с такими людьми, и приходило счастливое ощущение значительности происходящего, желание чему-то научиться у этих, так сказать, «рядовых людей», что-то важное в жизни понять. Пешком я прошагала все Охотское побережье — землю рыбаков, летчиков, геологов, замечательных людей так называемой глубинки. В стихах я писала об этом:

...Я знаю это побережье.
. . . . . .
Там жил артельный верный люд —
на совесть чист, до дела крут.
Там человек был весь — как есть:
пусть груб, но прям,
суров, но нежен...
Я знаю это побережье.
Мне выпала такая честь!

Первые мои стихи были опубликованы там, на Дальнем Востоке, в 1955 году вышла и первая книга — «Встретимся на востоке», а через три года после моей дебютной стихотворной подборки в городской газете города Комсомольска-на-Амуре я уже посланницей Хабаровской писательской организации поехала на первое Всероссийское совещание молодых поэтов в Смоленск. Попала в семинар к Михаилу Луконину и Сергею Орлову. Позже Луконин стал редактором моей первой московской книги стихов, которая называлась «Там, где ты».

Смысл книги: жизнь там, где ты... И я никогда не пожалела, что для меня путь в литературу начался не в уюте родительского гнезда, а далеко от дома, где было трудно, одиноко на первых порах, но где была сама живая жизнь.

Мне дорого, что первые мои стихи были напечатаны «Юностью» именно в это время. И обратили-то они на себя внимание наверняка потому, что все в них было — при слабом еще профессиональном уровне — от этой живой жизни...

Когда в 1961 году я уезжала из Хабаровска в Москву — учиться на Высших литературных курсах,— было какое-то чувство горечи и потери от разлуки с Дальним Востоком. Казалось, что я что-то предаю, чему-то изменяю.

Когда меняют паруса,
есть в этом что-то очень грустное,
и лодка—пусть на полчаса!—
без парусов бескрыло грузная...

Но мои опасения были излишними. И очень скоро я поняла, что ничему не изменила, что Дальний Восток не только не ушел из моей жизни, но стал главным во всем, что вылилось в судьбу, в стихи. У каждого поэта действительно есть своя «провинция». Для меня это — дальневосточная земля, именно о ней я писала: «Не ты, восток, а я — провинция. Моя столица — на востоке»!

Прошли годы, многое, наверное, во мне изменилось, но все же дорога, начавшаяся в юности, щедро и навсегда одарила молодым, радостным ощущением жизни, отняла боязнь расстояний, дорог, научила быть везде своей среди своих.



НИКОЛАЙ ЗАДОРНОВ: «Книги мои о нем»

Применительно к себе я бы сказал так: «Писателем меня сделали Дальний Восток и Москва». Если бы не Москва, если бы не ощущение сопричастности с литературной жизнью, центром которой, конечно же, является столица, я вряд ли бы смог войти в литературу, окунуться в этот мир. Впрочем, Москва была уже потом...

Дальний Восток для меня с детства начался с книг Арсеньева. Вырос я в Чите, в сибирской поло-

се, и впервые Дальний Восток увидел, когда в шестнадцать лет приехал во Владивосток поступать в Восточный институт, хотел изучать японский, китайский. Приехал на поезде ночью, вышел в город — толпы китайских кули, напротив вокзала портовые склады, а там, дальше, гигантские пароходы в огнях, жара невыносимая, иностранцы — тогда большая часть экспорта шла через Владивосток. И море! Эта картина до сих пор перед глазами. С тех пор голова моя на всю жизнь «повернута» к Дальнему Востоку.

Еще в Чите я увлекся театром, с четырнадцати лет начал играть маленькие роли. Десять лет был актером Сибирского экспериментального театра, которым руководил Н. Н. Бугорин, ученик Мейерхольда. Эти годы стали для меня неповторимой жизненной школой.

В двадцать четыре года я — актер Русского театра в Уфе. С театром приходилось много ездить. Впечатлений была масса, а в театре меня сделали редактором стенной газеты. Тогда и появились мои первые журналистские опыты. Постепенно мои очерки стали печататься в местных газетах...

А затем — Комсомольск-на-Амуре, завлит театра, руководитель кружка молодых литераторов. Это были годы, когда город только начинал строиться. Мне захотелось узнать, как сюда попали впервые русские в прошлом веке. Что здесь было до нашего Комсомольска? Имея журналистский опыт, стал ездить в нанайские стойбища, в старые русские деревни, расспрашивать старожилов, которые еще помнили переселение... Рассказы эти оказались для меня не просто интересными, они будили мое воображение. Каждый день, продолжая работать в театре, я вставал в пять утра и садился за стол. Весь 1939 год я работал над своим первым романом «Амур-батюшка» — о ранних русских переселенцах на Дальний Восток в конце прошлого века. Одновременно написалась и повесть «Мангму» — из жизни нанайцев в пору их разобщенного малолюдного обитания в этих краях.

Весной 1940 года я отвез первую книгу «Амура-батюшки» в Москву, в журнал «Красная новь» и в издательство «Советский писатель». Надо ждать, сказали мне.

Я рассердился и обиделся, как может только начинающий, уверенный в том, что написанное им непогрешимо. Я вернулся в Комсомольск-на-Амуре и отправил свое детище в дальневосточный журнал «На рубеже» (теперь он называется «Дальний Восток»). И «Амур-батюшка» появился в начале 1941 года.

С первых дней войны я стал работать на радио в Хабаровске. В течение пяти лет был разъездным корреспондентом, написал более двухсот очерков.

В 1946 году меня пригласили в Ригу редактором русского альманаха. И я поехал. Еще в Комсомольске-на-Амуре, работая над «Амуром-батюшкой», я задумал роман о Геннадии Невельском, без открытий которого невозможно было бы переселение русских на Дальний Восток во второй половине XIX века. Роман о его молодых годах, его исследованиях, с которых начиналось наше освоение дальневосточного края. Корни Невельского, как всякого интеллектуального человека его времени, уходили в Петербург. И мне нужно было работать в библиотеках Ленинграда, самому ощутить ту атмосферу. И хотя я вот уже более тридцати лет живу в Риге, сердце мое на Дальнем Востоке, книги мои о нем...

И сейчас я заканчиваю книгу, которая будет называться «Владивосток»,— исторический роман об основании этого необычного города.



ВИТАЛИЙ КОРЖИКОВ: «И друзья — тоже с океана»

О Дальнем Востоке я мечтал с детства. И в маленьком украинском городе, и в Казахстане, и под стук колес, потому что значительная часть жизни прошла на колесах — мечтал о Дальнем Востоке и больше всего — о море. Закончил в Москве Педагогический институт имени В. И. Ленина и уехал-уплыл с друзьями на Сахалин. Бывало, ведешь в школе урок, рассказываешь о Пушкине, а где-то за окном по Татарскому проливу идут и идут корабли, шумит море, подкатывает, манит запахами Австралии, Индии, Арктики.

Когда пришел во Владивостоке наниматься в Дальневосточное пароходство, меня спросили: «Пойдешь матросом-грузчиком?» Так матросом-грузчиком я и ушел в первое плавание в Арктику. Разгружались на Чукотке, у побережья, где погиб «Челюскин». У самых Новосибирских островов. Выносили на спине и ставили сборные дома. Выгружали снабжение, отдавали полярникам свое последнее продовольствие, брали на палубу уже при полярном сиянии сибирский лес для Японии. Потом были другие рейсы. С Сингапуром и Гаваной, кругосветные, тропические, жаркие, но тот, арктический остался на всю жизнь. И выгрузка по пояс в воде, и запах мокрых бревен, и стылая штормовая вода.

Помню, подошли к Большому Ляховскому острову и стали на барже с ящиками галет, с ветряной электростанцией подбираться возле льдов к берегу. Я спрыгнул в новых сапогах в воду, взял на плечи громадного токаря Мишу — у него прохудились сапоги — и пошагал к берегу. Как вдруг сзади подошла еще баржа и раздался крик радиста: «Эй, Коржиков, тут радиограммы из Москвы от Баруздина. Это тебя, что ли, в Союз писателей приняли?» В Москве уже вышла написанная еще на Сахалине книжка стихов для детей. Я попробовал вывернуть из-под друга голову, но не смог. И выдохнул: «Наверное, меня!» Тогда Миша хлопнул меня ладонью по шее и сказал: «Ну, ладно, ладно, давай, писатель, к берегу. Хоть на одном писателе в жизни верхом покатаюсь». Нужно было вытаскивать ящики и мешки. А это — «Давай, писатель, к берегу» — тоже осталось на всю жизнь. Чувство берега слилось с чувством океана и палубы, где ветер и туман — прямо с океана, солнца, еще солоноватое,— прямо из океана. И друзья — тоже с океана. Пожалуй, это чувство продиктовало напечатанные тогда в «Юности» стихи о Владивостоке, о городе.

Где каждый сквер продут
Норд-остом и бореем,
Где улицы идут
По корабельным реям...
Бывалы и крепки
Выходят из прибоя
Враскачку рыбаки,
Вразвалку китобои.

Дыханьем их согрет
И вместе с ними молод
За дымкой новых лет
Я вижу новый город...

Это было чувство дружбы, прекрасной рабочей артельности на краю нашей земли, сказал бы, какого-то особого представительства, когда палубой входишь в Сан-Франциско, Гибралтар, Иокогаму, а под ногами опорой не просто палуба, а вся наша—во весь размах— Родина. Было это чувство. И еще взращенное Дальним Востоком и океаном тревожное, на встречном ветру, прекрасное ожидание неожиданностей: неожиданных друзей, неожиданных огоньков и дымков в дальней дороге, неожиданных чувств и свершений. Бывало: навстречу в океане— человек, сошелся с ним, в человеке—океан. И океан дум, и океан чувств, и океан — судьба. В штормах, волнениях, с продиктованным океаном характером, широтой его дыхания и достоинством.

Неожиданностями Дальний Восток дарил меня щедро. Когда-то мои мечты о тропах Арсеньева, о встречах с тиграми, о границе воспринимались коекем почти с юмором. Но они сбылись, состоялись. И граница, и тигриные тропы, и арсеньевская тайга...

И, пожалуй, самые добрые неожиданности звали браться за перо. Из них—детские книги «Мореплавание Солнышкина» и «Волны словно кенгуру», «Жил человек у океана». Из них получались стихи, которые я привозил в «Юность», где мы, молодые, собирались рядом с прекрасными корифеями—Катаевым, Михалковым, Полевым, Барто, Смеляковым—и делились планами. И было очень важно услышать: «Ты же это пережил, расскажи!» И было приятно вспоминать в поезде и увозить с собой в каюте улыбку Светлова, веселое наставление Андроникова, зная: самое интересное то, что было и будет в жизни. Помню, Корней Иванович Чуковский, слушая рассказ об одном плавании, сказал: «И вы это видели? Своими глазами? Так отдайте нам. Детям! Обязательно!» Очень хочется все это суметь отдать.



ВЛАДИМИР САНГИ: «Голубые горы моего детства»

На Сахалине, в среднем течении нерестовой реки Тымь, расположены поселения нивхов — одной из народностей Дальнего Востока. Древнее стойбище нивхов, где я родился, находится на берегах просторного залива Набиль, окаймленного синеющими горами. Эти горы бывали голубыми, розовыми, иногда очень мрачными, но, главное, всегда далекими, и мне казалось, что эти голубые горы моего детства определяли пределы земли.

Мир моего детства — это сказания, предания моего народа, это повседневное, такое же естественное, как дыхание, общение с природой — охота, рыбалка. Именно охотой славились представители нашего рода, лучших из которых старцы называли добытчиками.

С детских лет я помню легенду, рассказанную моей матерью, о том, что в наших горах на вершине есть большое озеро, берега его окаймлены нивхским узором — затейливым, многоцветным, округлым, в том озере живет лахтак, крупный лахтак с красной головой — это священное животное. «Наверное, ты когда-нибудь вырастешь, наберешься сил, отправишься в те горы и дойдешь до берега озера».

Вот эта легенда всегда меня волновала и всегда звала в неведомые края. Когда началась война, старейшина нашего рода — седовласый старик Мамзин, не зная, когда же вернутся с ратных полей наши добытчики, взял меня на охоту — на промысел морского зверя. Помню, как старик достал кусок сахара, такого редкого в те дни, и, обращаясь к прибрежной дюне, поросшей чахлым кедровым стлаником, сказал: «Чух, мы пришли к тебе, мы, люди неимущего рода, бедные люди, дали бы тебе больше, но у нас ничего нет, сделай, чтобы нам было хорошо»,— и привычным движением бросил в куст кедрового стланика сахар.

Когда старики в долбленных из тополя лодках уходили в море, я, оставаясь на берегу с бабушкой, вел себя очень тихо — не бегал, не озорничал, потому что, не дай бог, хозяин моря может подумать, что мое озорство идет от сытой жизни, и не даст нашим людям добычи.

Рассказы моей бабушки, матери, людей нашего рода, Охотское море с его весенними белоснежными льдами, на которых было всегда множество морского зверя, ход лосося летом и осенью, ураганы, зимнее многоснежье — все это запечатлелось в моей памяти. И когда я пошел учиться в школу, то в интернате я рассказывал вечерами моим друзьям сказки, предания, услышанные в детстве. Так, незаметно для себя я стал устным рассказчиком. Позже, уже учась в Ленинградском пединституте имени Герцена на факультете народностей Крайнего Севера, я понял, как много мне дал Сахалин. Мое становление как писателя приходится на Ленинград, там я познакомился с Дудиным, Прокофьевым, Гором, дружба с ними помогла мне из устного рассказчика стать писателем. Правда, первой моей публикацией была критическая статья, которую я написал для журнала «Сибирские огни», о романе нашего поэта Геннадия Гора. С юношеской безоглядностью и максимализмом я высказал свои замечания по поводу недостаточно глубокого знания автором жизни нивхов, их фольклора. Каково же было мое удивление, когда Геннадий Гор захотел встретиться со мной. Он очень внимательно прочел мои рассказы, а потом сказал: «Завтра пойдете по этому адресу». Так я оказался в журнале «Костер», где были напечатаны мои первые рассказы.

Потом, после окончания института, вернувшись на Охотское побережье, я задался целью записать как можно больше легенд, преданий, мифов моего народа. Собирание этих преданий стало делом моей жизни, и сейчас, как только удается вырваться на Сахалин, я еду записывать фольклор нивхов.

В 1974 году мне удалось записать полный текст нивхского эпоса, существование которого долгое время было под вопросом. Прекрасный фольклор нивхского народа — это как река, к которой я припадаю, из которой черпаю то, что зовется творческим вдохновением...



БОРИС МОЖАЕВ: «Край молодости и отваги»

После окончания военного училища в Ленинграде я был командирован на Дальний Восток. Там началась моя военная служба и одновременно внештатное сотрудничество в газетах, альманахе «Приморье». Поначалу печатался от случая к случаю. Этот период считаю как бы подготовительным к писательству, длился он лет пять, пока я служил на флоте.

А потом, после демобилизации в 1954 году, литература стала моей профессией. С этого года я и отсчитываю свой писательский стаж.

Естественно, мой ранний творческий, так сказать, облик определялся термином «приморский» (или «дальневосточный») писатель. При всей условности этого понятия в нем было нечто и определяющее суть моего труда: как правило, я писал о том, что видел, повседневно скитаясь с газетным мандатом по глухим и бойким местам этого обширного и прекрасного края, известного под названием Дальний Восток.

Писал очерки и рассказы об охотниках и строителях, о лесорубах и сплавщиках, о художниках, об ученых, о милиционерах, о «станционных смотрителях» и, конечно же, о коренных таежных жителях — о нанайцах и об удэгейцах, а также о крестьянах, заселивших приханкайские и амурские степи.

Для начинающего писателя Дальний Восток — идельная среда; здесь такое многообразие профессий, а следовательно, характеров и типов, такая живописная природа, такие контрасты от современных городов до первозданной таежной дикости, что все это само просится на бумагу.

Разумеется, каждый человек приходит в литературу не случайно; и многие из нас, воспитанников учебных заведений Москвы и Ленинграда, ставших впоследствии писателями на Дальнем Востоке, так или иначе проявили бы себя на литературной ниве и в любом ином месте. Но то, что Дальний Восток аккумулирует литературные наклонности, подталкивает человека к проявлению своей одаренности, это для меня бесспорно.

По крайней мере могу сказать определенно: не окажись я на Дальнем Востоке, вряд ли так легко и решительно сорвался бы со стапелей инженерной службы и ушел беспечно в рискованное литературное плавание. Это вовсе не значит, что на Дальнем Востоке каждый инженер или геолог может попутно сделаться еще и писателем. Речь я веду о том, что Дальний Восток стал таким местом, где решительность традиционного проявляется в любом деле. Это край молодости и отваги, и человеку неробкой души полезно попытать счастье, испытать себя в этих суровых и прекрасных пределах Отечества нашего.



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК: «Навеки моя юность здесь осталась»

Говорят, Дальний Восток отличается тем, что люди, уезжая оттуда, обязательно возвращаются... Для меня все сложилось именно так. Вот уже больше двадцати лет как я уехал из Благовещенска, который стал моей второй родиной, и каждый год обязательно приезжаю туда на два месяца весной. Работается мне здесь, как нигде. Прекрасная природа, конечно, еще не повод, чтобы где-то поселиться, она, по-моему, просто должна чему-то в человеке соответствовать. Мне кажется, я нахожусь во внутренней гармонии с этой землей — степь, среди которой возникают сопки,— она близка мне, как мелодия, по интонации.

У меня есть такие строки: «...где две реки, как две руки, сошлись в рукопожатье, над величавою водой раскинут город молодой — старинный мой приятель. У города хороший вкус, он не гигант, сказать по чести. Но каждый дом и каждый куст в нем удивительно на месте... Я много видел городов, я всем им благодарен, но чувство Родины, земли, сочувствие природы впервые мне открылось здесь. Должно быть весь, таков как есть, сложился я в те годы...»

Впервые я увидел Благовещенск в 1951 году, когда меня, двадцатилетнего парня, учащегося Новосибирского техникума, призвали в армию в Амурскую область. Стихи мои стали печатать вначале в газете, а затем в альманахе, который выпускало новое тогда Амурское книжное издательство. В 1952 году там вышел первый мой сборник стихов «В пути». Затем я поступил в Москве в Литературный институт. Два года, пока учился на очном отделении, ездил на каникулы в Благовещенск, а потом перешел на заочное и уехал опять-таки в Благовещенск, где стал работать редактором в издательстве. Чем же все-таки так притянул меня этот край? Кроме природы, кроме того, что именно здесь я нашел себя? Была в Благовещенске особая литературная атмосфера, преисполненная негромкой доброты и радушия. Там хорошо и щедро писалось...

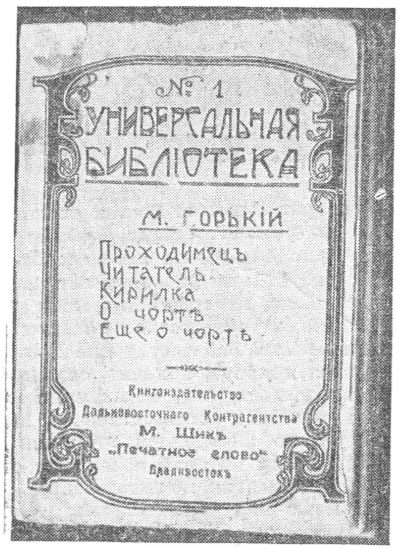
Сам Благовещенск, город, который я так люблю, стоит при слиянии Амура и Зеи и построен «под линейку» — одни улицы параллельны Амуру, другие — Зее. Этот город, несмотря на соседство старой купеческой архитектуры с современной, не эклектичен, в нем есть вкус, он имеет свое лицо. И очень многое, конечно, зависит от того, как люди относятся к своему городу.

Для меня же Благовещенск навсегда связан с первой удачей, с открытием счастья творчества.

«...Затянулось бабье лето на Амуре. За судьбой мне возвращаться не к нему ли? Будут годы, будет горе, будет старость. Но навеки моя юность здесь осталась...»

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КНИГИ

ИРИНА ХУРГИНА



Внучатый племянник Достоевского, старейший краевед Приморья Сергей Алексеевич Иванов живет во Владивостоке, на улице Суханова, в крошечной квартирке, где повернуться негде от книг — они на полках, в чемоданах, в коробках. Сергей Алексеевич — библиофил, свою уникальную библиотеку начал собирать в конце 20-х годов. Есть в его собрании издания, которых нет даже в Ленинской библиотеке, издания, сохранившиеся в одном экземпляре.

В 1931 году, когда Сергей Алексеевич был студентом, по Владивостоку прошел внезапный слух — в центре, в заброшенном подвале, продают на вес книги со старой орфографией, которые изъяли из библиотек. Прибежал в тот подвал и Иванов, который только что получил стипендию, и, покопавшись, набрал два 5-пудовых мешка старых книг—на 32 рубля. Многие редкие книги, составившие его библиотеку, были куплены там, в подвале — Библия Мартина Лютера, бесцензурное издание «Из писем и показаний декабристов»... И маленькая книжечка, которая в начале века именовалась «шельмой», тоже оттуда, из подвала. Это —первое издание Горького в Русской Азии, вышедшее в 1905 году.

А. М. Горький по просьбе Ленина должен был ехать в Америку собирать деньги для издания большевистской печати. Он решил ехать через Японию и — соответственно — через Дальний Восток. В августе 1905 года в Приморье узнали о предполагаемом приезде Горького, и местная интеллигенция решила к приезду писателя издать наконец во Владивостоке его рассказы.

Искали рассказы Горького в южных газетах за 1898—1903 годы. Перелистали целую кипу — в основном этим делом занимался брат издателя Николая Матвеева, гимназист Зотий. Пять рассказов — «Проходимец», «Читатель», «Кирилка», «О черте», «Еще о черте» — были напечатаны в контрагентстве Шика во Владивостоке на деньги издателя Николая Матвеева. Напечатали книжку под новый, 1906 год, и весь тираж лежал в контрагентстве невыкупленный. Ждали Горького.

Эта книжка была первой и последней в задуманной Николаем Матвеевым серии «Универсальная библиотека». Напечатать ее решили столь малым форматом потому, что Горький тогда был подцензурен, а такую невесомую книжечку легко сунуть в карман. На книжке нет цены, и тираж ее точно не установлен. Один из печатавших ее полиграфистов, Лунев, говорил — две тысячи, другой, Кравец — три—пять тысяч.

Под Новый год зашел в контрагентство Николай Матвеев, взял несколько экземпляров, чтобы дома в праздничный вечер показать друзьям.

А десятого января 1906 года во Владивостоке повторилось кровавое воскресенье. Мирная демонстрация пошла к дому генерал-губернатора Селиванова и была по его приказу расстреляна казаками: тридцать человек убито, сто ранено... В этой демонстрации погибла знаменитая русская народница Людмила Волкенштейн, которая участвовала в 1879 году в заговоре против харьковского губернатора князя Кропоткина, а в 1884 году была приговорена к смертной казни по «процессу четырнадцати». Смертная казнь была заменена пятнадцатью годами каторги — сначала Волкенштейн двенадцать лет отбывала одиночное заключение в Шлиссельбургской крепости, затем в 1896 году была сослана на поселение на Сахалин.

В ту же январскую ночь 1906 года Уссурийское жандармское управление сделало налет на типографию контрагентства Шика. Тираж книжки Горького был полностью сожжен. Акт, который при этом был составлен, сохранился и находится в Томском архиве — его нашел там Сергей Алексеевич Иванов.

А вскоре выяснилось, что полиция не разрешила Горькому поездку через Русскую Азию: в Чите, в Забайкалье происходили революционные волнения. И Горький отправился в свое путешествие через Балтику. За издание книжки его рассказов контрагентство Шика во Владивостоке закрыли. А Николай Матвеев, издавший вскоре очередной номер журнала «Природа и люди Дальнего Востока», посвященный Людмиле Волкенштейн и с ее портретом на обложке, получил один год крепости.

И не было ничего известно нашим критикам и литературоведам о первом издании Горького на Дальнем Востоке, пока Сергей Алексеевич Иванов не приехал в Москву и не показал в Институте мировой литературы тоненькую книжечку — «шельму».

Есть у Сергея Алексеевича еще одна любопытнейшая книга — собрание статей и воспоминаний о революционных событиях на Дальнем Востоке «В огне революции». Книжка эта издана в 1927 году во Владивостоке в единственном тогда издательстве «Книжное дело» к десятилетней годовщине революции. Состоит она из статей, заметок, воспоминаний непосредственных участников дальневосточной революции. Там помещен и «Календарь революционных событий во Владивостоке». Его автор — брат издателя Николая Матвеева, Зотий Матвеев, тот самый бывший гимназист (помните?), который перелистал бесчисленные кипы газет в поисках рассказов Горького.

СЕМЕН
ШУРТАКОВ

ЧТО И КАК МЫ ЧИТАЕМ

Полемические заметки

1

Нас называют самой читающей страной в мире, и мы этим законно гордимся. Что ж, есть чем гордиться, надо гордиться. Другое дело, надо ли самодовольно утешаться уже одним тем, что у нас, если и не все, то почти все — от пионеров до пенсионеров — читают. Как известно, читал ведь и гоголевский Петрушка... Потому-то, когда заходит речь о «читающем народе», главный акцент, главное наше внимание, как мне представляется, давно пора переносить с чтения, как такового, на конкретно читающего человека, на то, *что* и *как* он читает. И когда мы зададимся этим вопросом, то увидим, что все тут не так просто и не так прекрасно, как нам кажется.

Сначала поговорим о том, что мы читаем.

Под несколько абстрактным «мы» в данном случае я буду разуметь отнюдь не всех читателей вообще, а лишь определенную — из дальнейшего разговора видно, какую именно,— часть их.

Передо мной письмо из деревни на Псковщине. В нем речь идет о том, что далеко не во всех сельских библиотеках есть книги Шолохова, Леонова, Твардовского и других советских классиков, а также мало книг русских классиков XIX—XX вв. Это, конечно, печально. Но проблема эта особая и требует особого разговора. Псковщина не Кубань; большое число мелких сел и деревень в Средней полосе России осложняет и без того сложное дело комплектования библиотек. В крупных же селениях имеется значительное количество библиотек с широким ассортиментом книг.

Но вот что рассказал один кубанский писатель, объехав летом более десятка станиц своего края. Он специально интересовался, что читают, какие книги берут в библиотеках чаще, а какие реже. Картина вырисовалась довольно однообразная и безотрадная: охотнее всего сельская молодежь (она составляет подавляющее большинство читателей) берет детективную или, как ее еще зовут, «шпионскую» литературу, низкопробную фантастику (понастоящему хороших книг в этом жанре, как известно, раз-два — и обчелся) и еще «про войну» (имея в виду так называемые военно-приключенческие книжки). Классики, как русские, дореволюционные, так и советские, тихо пылятся на библиотечных полках.

Может, писателю «не повезло», может, он побывал «не в тех» станицах?

Каждое лето я живу в родном селе на юге Горьковской области. И в следующем же году, приехав туда, я задался той же целью, что и мой кубанский собрат: поинтересоваться, что именно читают мои земляки.

Не буду говорить, что обошел, по пословице, семь сел с подселком; я побывал всего лишь в двух сельских и третьей — районной библиотеках. Но в количестве ли дело? Ведь меня интересовали не нюансы читательского вкуса, не вопросы типа: какого писателя читают больше, а какого меньше. Меня интересовало соотношение подлинной литературы и того, что мы называем литературным чтивом.

В одной библиотеке я попросил показать мне читательские формуляры. А в другой сделал так: хо-

дил между книжных стеллажей и наугад выдергивал из них экземпляры самые зачитанные, самые растрепанные и нередко до того затертые, что с трудом читалось название и имя автора.

И что это были за книги?

Попадались, хоть и не часто, произведения классической литературы: главным образом или те, что «проходятся» в школе, или такие книги, которые имелись в библиотеке в единственном экземпляре, а изданы были двадцать, а то и тридцать, если не больше, лет назад: как тут не истрепаться? Однако куда чаще в моих руках оказывались книги «про шпионов», «про войну», «про милицию» и так называемые научно-фантастические (почему так называемые? — спросите вы.— Да потому, что в восьми или девяти таких книгах из десяти, как правило, нет ни науки, ни фантастики. Или, если автор сажает своих героев Бена и Бола в фотонную ракету и отправляет их в какую-то там Галактику, а по пути заставляет изъясняться друг с другом на псевдонаучном, а по сути, тарабарском языке — это уже и научная фантастика?).

Итак, соотношение, о котором мы говорим, во всех трех библиотеках оказалось, увы, не в пользу истинно художественной литературы.

Можно, конечно, найти утешительные доводы, вроде того, что, поскольку, мол, уровень культуры на селе значительно ниже городского, значит, и сельский читатель хуже «разбирается» в книгах. Можно придумать и что-то другое.

Но надо ли искать, надо ли придумывать?

Кто сказал, что общая картина в городских библиотеках резко отличается от сельских? Что в городских классики постоянно находятся «на руках», а литературное чтиво пылится на полках? Зайдите в любую городскую библиотеку, познакомьтесь с читательскими формулярами или походите меж стеллажей с книгами, «повыдергивайте», как я, наиболее читаемые, и вы убедитесь, что лишь с небольшими отклонениями соотношение подлинной, если хотите, высокой и просто «читабельной» литературы будет не в пользу первой.

Можно бы заодно порассуждать и о том, что на книгу, на книжное время (то есть время, отводимое для чтения) уже давно идет массированное наступление «смежных» с литературой видов культуры — кино, радио, телевидения. Если раньше книга была чуть ли не единственным, а для многих и единственным окном в большой мир, то теперь сколько их, таких «окошек». Один телевизор чего стоит. А ведь еще есть и театр и кино, всякие там фильмотеки, дискотеки, и чего только нет. И все требует времени, а в сутках часов не прибавилось.

А еще ведь есть и время, которое властно «забирают» у книги ее более молодые, но довольно нахрапистые «смежники». Еще надо то иметь в виду, что они вступают в сложные и не всегда самые добрые взаимоотношения с книгой. Прекрасно, когда мастер слова, известный артист по радио или с телеэкрана выступает с чтением произведений изящной словесности. Хорошо, когда мы в кино или на том же голубом (а теперь уже и цветном) экране видим экранизацию литературного шедевра (хотя, признаем, что не так уж часто литературные шедевры становятся и шедеврами кинодраматургии). Но сколько у нас фильмов и телепрограмм чисто развлекательных! По «маяку» тоже на каждые пять минут информации падает двадцать пять развлекательной музыки. А «глядение» спортивных состязаний по телевизору! Наивно думать, что все это не имеет прямого отношения к литературе, никак с ней не соприкасается. Имеет, да еще как! Вы уверены, что после двухчасового бурного хоккейного или футбольного «боления» человек, особенно молодой, так вот возьмет и сядет за чтение «Анны Карениной» или «Русского леса»? Не сядет. И наслушавшись оглушающих ритмов какого-нибудь ВИА, наглядевшись развлекательно-завлекательных детективов, потянется он не за «Мертвыми душами» или «Обломовым» («Скучно, действие развивается медлительно-занудно!»), а за таким же развлекательным, остросюжетным чтивом...

Ну, да это особая тема, и мы ее только обозначим, а в подробный разбор входить не будем. Разве что сделаем во избежание кривотолков одно необходимое пояснение.

Когда заходит речь о том, что многие молодые читатели отдают предпочтение «легким» жанрам литературы перед «серьезными», мы все дружно торопимся обвинить молодежь в недостатке истинного вкуса или в его неразвитости, несовершенстве. А правильно ли, справедливо ли это? Разве тут нет вины старших, которые не привили и не развили тот высокий вкус? И разве так уж нейтральна и безобидна здесь роль писателей, которые заваливают книжные прилавки всевозможным невысокой пробы чтивом и вместо того, чтобы своими книгами воспитывать у молодого читателя вкус к истинно художественной литературе, приучают его довольствоваться манной кашей детектива...

А теперь вернемся к началу нашего разговора. Картина при близком рассмотрении оказалась, как мы видели, не такой уж и лучезарной.

Кстати, стоит задать вопрос: а какие книги можно читать на эскалаторе метро, в очереди или автобусной сутолоке? То есть вообще-то читать можно любые — можно и «Фауста», можно и «Братьев Карамазовых», только много ли поймешь? А вот следить, как разведчик выслеживает резидента или ловит его,— это можно и в людном автобусе: одной рукой держишься за поручень, в другой держишь книгу — очень даже удобно, интересно и, главное, все понятно!..

Может, я неправомерно сгустил краски? Давайте разберемся.

Фундамент духовного общения с книгой закладывается еще в детстве. Любовь к чтению, вкус к художественному слову прививается (во всяком случае, должен бы прививаться) в школе. И все мы вместе с учителями-словесниками сходимся на том, что чтение ничем не может быть заменено, что книга — великая сила в нравственном совершенствовании человека и т. д. Все так. Но вот стоило «Литературной газете» затеять дискуссию о литературе в школе, как посыпались пачки писем, в которых... Впрочем, не правильнее ли будет процитировать некоторые из этих писем.

Лишь в одном-единственном письме бывшего директора школы, ныне пенсионера, утверждается, что «литература как школьный предмет изучается в основном удовлетворительно. Престиж ее достаточно высок».

Многие же учителя пишут нечто совсем другое.

«Литература сейчас занимает... одну из последних ступеней в иерархии школьных дисциплин, находится в положении бедной родственницы».

«С изучением литературы в школе создается парадоксальное положение: число достойных изучения книг год от году растет, а часы на изучение литературы в школе сокращаются...»

Не является ли такое положение результатом примитивного понимания школьниками классики: «Чацкий был за бедных», «Татьяна близка к народу, потому что в народе крестьянки были верны своим мужьям»? Или того чище: «В человеке все должно

быть прекрасно — и лицо, и мысли, и одежда». Именно эти слова, сказанные Горьким, заставили Прасковью Яковлевну стать портнихой». (Новое, современное прочтение классики: она, оказывается, может оказать неоценимую помощь в выборе профессии!)

Этот ученик спутал Горького с Чеховым (приведенная цитата, как известно, принадлежит Чехову).

Другой путает Достоевского с Горьким, утверждая, что «Раскольников убил старуху Изергиль».

Встречается в школьных сочинениях и этакий взгляд на литературу сквозь киношную призму:

«Мне очень понравилась Наташа Ростова, особенно когда она танцевала на своем первом балу со Штирлицем».

Некоторые участники дискуссии пишут о том, что «классика трудна» (это бы еще полбеды), «классика скучна» (это уже беда). Нашлись и такие, которые пошли еще дальше.

«Голодный студент Раскольников, униженная молодая купчиха Катерина, аристократ князь Болконский, бродячий «гуманист» Лука бесконечно далеки от нашей жизни, которая для них, современных юношей и девушек, полна пафоса борьбы за новую жизнь, полна песен. Им гораздо интереснее иметь дело с героями...» — далее идет перечисление нескольких современных писателей, пишущих о молодежи.

Попробуйте не согласиться с «железной» логикой таких рассуждений! И вправь — кому нынче нужен какой-то Достоевский или Толстой? Могут ли понять их метания и мучительные поиски смысла человеческого бытия современные юноши и девушки, жизнь которых полна песен? Давно пора «заменить» этих устаревших классиков авторами молодежных журналов!

А вы говорите, что я сгущаю краски!

Если классика трудна и скучна и если искать более легкие пути, то в школьную программу надо, видимо, включать лишь детективные и авантюрные романы. И как же «хорошо» будет: проглотил юноша «клевую» книжку, пересказал на уроке ее сюжетец, и дело с концом...

Коснувшись изучения литературы в школе, мы «попутно» и нашли если не прямое, то косвенное объяснение того, почему классика пылится на библиотечных полках, а чтиво идет нарасхват.

А теперь поговорим о том, как мы читаем, что мы ищем в книге и что находим. Собственно, последней цитатой об устаревших классиках разговор этот мы уже начали.

2

Тут дело куда сложнее: из библиотечного формуляра не узнаешь, понравилась взятая книга или не понравилась, легла, как мы говорим, на сердце или оставила равнодушным, понята или не понята (хотя, если не понята—кто в этом признается!), натолкнула на какие-то мысли, возбудила высокие чувства или оставила лишь чувство досады за потерянное время... А еще ведь и то остается неясным: кто виноват в том, если книга не понравилась, не натолкнула, не возбудила? Вспомним известный афоризм Георга Лихтенберга: «Если при столкновении книги с головой раздастся пустой звук — то всегда ли виновата книга?»

В ответе на вопрос, что читает молодой книголюб, уже заключалась изрядная доля ответа и на вопрос, как он читает. И детективы и фантастика читаются, конечно же, «с интересом» или «с громадным интересом», «залпом», «взахлеб», «в один присест», а то и вовсе не читаются, а «проглатываются». А что через какую-то неделю царень уже не помнит, кто за кем гнался на протяжении пятисот страниц, не помнит, из какой галактики в какую летели в фотонной ракете Бен и Бол и о чем они по дороге тарабарили—так это не суть важно—важно, что книга читалась взахлеб...

Серьезного читателя даже на самой остросюжетной мякине не проведешь, бездумно транжирить «книжное время» на всевозможные «Ошибки резидентов» и «Полеты в никуда» он не будет. И надо полагать, что подавляющая часть этого пусть и не самого многочисленного контингента читателей берет (или покупает) книги по строгому выбору (а не потому, что дружок Васька посоветовал) и вот именно не проглатывает, а читает их. Такой читатель прекрасно поймет и авторский замысел, отметит наиболее яркие сцены и картины произведения, даст достойную оценку языку. И если ему полюбится герой книги, он его не только запомнит, но еще и будет думать о нем, будет «досочинять» про себя его дальнейшую жизнь, а может быть, даже и «примерять» по нему свою... Такой читатель, ввязавшись в ту или другую дискуссию о литературе, бывает, и статью напишет не хуже иного критика, обнаружив в ней и тонкий художественный вкус и глубокое понимание самого назначения литературы. Справедливость требует заметить, что таких вдумчивых читателей много и среди молодежи.

Уж не противоречу ли я самому себе? Нет, противоречие тут кажущееся. Я говорил, что молодежь является наиболее массовым читательским контингентом. Но из этого вовсе не следовало, что вся она довольствуется легковесной, невысокого класса литературой. Молодой человек и молодой читатель — не одно и то же. Называем же мы молодым начинающим поэтом человека, которому уже давно под сорок. Точно так же среди нашей молодежи есть читатели малоопытные, еще только пускающиеся в плавание по безбрежному книжному морю и нередко пускающиеся наугад, а есть уже бывалые, имеющие компас мореходы, которые умеют прокладывать свой определенный курс. Они берут в руки книгу не для приятного времяпрепровождения, а для того, чтобы найти в ней ответы на мучающие их вопросы, чтобы лучше понять окружающий мир и себя в этом мире, чтобы наконец вдохнуть горний воздух высокого искусства и самому возвыситься духом.

Такой читатель, вынося свое суждение о прочитанном, не ограничивается эмоциональным возгласом вроде «Клёво! Люкс!» или «Тягомотина!», а пытается постигнуть и глубинный ход авторской мысли и способы художественного воплощения ее. И надо сказать, что в подавляющем большинстве серьезному читателю это удается. В подтверждение можно бы привести множество примеров. Однако по тону и характеру нашего разговора представляется более целесообразным и поучительным привести примеры другого порядка. Давайте посмотрим, как иногда даже отнюдь не молодой читатель понимает художественное произведение упрощенно, примитивно, а то и вовсе превратно, как «вычитывает» в книге то, о чем там не написано, о чем автор и не помышлял.

Примеры будем брать из читательских писем-отзывов на выходящие книги, из выступлений на литературных вечерах и читательских конференциях; не обойдем вниманием и печатные источники.

Начнем с выступления читателя на обсуждении повести, опубликованной в толстом журнале. Вот его почти стенографическая запись:

— Образ главного героя повести ярко отражает

поступательное движение нашего общества вперед и выше. Автору удалось так построить сюжет, что производственная линия повести находится в органической связи с любовной линией... (Далее оратор в таких же примерно выражениях с похвалой отзывается о композиции и языке повести и переходит к критическим замечаниям.) Но какую идейную нагрузку несут образы пьянчужки Петра и шоферa-левака Павла? Отражают ли они какие-то характерные черты общества развитого социализма? Книга должна звать. А куда зовут читателя Петр и Павел — эти апостолы пьянства и сребролюбия? Жаль, автор не подумал об этом. Он даже не намекает на перековку их в рабочем коллективе, забывая, какой дурной пример молодежи могут подавать подобные типы. Я бы на месте автора... (тут читатель в заключение дает автору советы по переделке повести).

Выступление как выступление. Я и привожу его как характерное именно своей распространенностью: кому из нас не приходилось слышать подобное! Такие выступления, как правило, зиждятся на двух китах:

1) на запавшем в душу еще со школы да так там и укоренившемся упрощенном, если не сказать вульгарном понимании литературы (образ Татьяны отображает то-то, образ Онегина — то-то и 2) на неколебимой уверенности в том, что писатель может многое не понимать и не в одном, так в другом заблуждаться (в школе и по сей день ученикам вдалбливается, что многие писатели прошлого обязательно или чего-то недопонимали или в чем-то заблуждались, и остается только удивляться, как они при этом сумели создать гениальные, не меркнущие в веках произведения).

Ну, а если писатель по своему недопониманию «отразил» что-то не так, как, по мнению читателя, следовало бы, так почему же не сделать доброго дела — не посоветовать ему переделать повесть или роман?! Тем более что ведь это так просто — взял и переделал!.. Помните, в послевоенные годы нашлось что-то около тысячи доброхотов, горячо советовавших Твардовскому «продолжить» своего «Василия Теркина». И не просто советовали, а присылали планы с подробными разработками по главам «Теркин — колхозный бригадир», «Теркин на лесосплаве» и т. д.

Не имея возможности написать каждому корреспонденту, Твардовский вынужден был выступить с ответом на страницах журнала, который он тогда редактировал. Как мы знаем, поэт тактично-иронично отклонил советы и пожелания читателей, из каких бы благих побуждений они ни исходили. Однако искушение на что-то указать писателю так велико, что добрые советчики (употребляю здесь это слово безо всякой иронии), как видим, не перевелись и по сей день и вряд ли скоро переведутся.

Первопричиной тому служит кажущаяся простота понимания литературы. Нам трудно представить, что по окончании премьеры какого-либо музыкального произведения, к примеру, симфонии, поднимется на сцену один из рядовых любителей музыки и начнет критический разбор услышанного. Обычно с таким разбором выступают знатоки музыки на закрытых прослушиваниях. В литературе же каждый считает себя великим знатоком. Ведь все тут так просто: этот образ отражает типические черты такого-то класса, а тот образ—такого-то, этот— положительный, а тот — отрицательный... Часто ли слышат учащиеся в школах, что литература — это величайшее из чудес, сотворенных человеком, и, как всякое чудо, далеко не всегда поддается нашему торопливому объяснению. Тайна создания художественного произведения, несмотря на всю нашу осведомленность во всем и вся, так и остается великой тайной. И не надо печалиться, не надо горевать, что мы все еще не докопались до раскрытия ее. Потому что, как только «докопаемся» — новым Пушкиным и Толстым делать будет нечего, гениальные стихи и романы за них будут сочинять роботы (хотя и вряд ли такое произойдет, пока человек в своем поступательном движении вперед и выше не опустится до робота).

Пойдем дальше.

Обратимся к читательским письмам.

После краткого вступления,— пишет такая-то, из такого-то города,— сразу к делу:

«Я с большим вниманием прочитала Вашу повесть. Особенно запомнился мне опалубщик Федор, мне кажется, что Вы списали его с человека, которого я хорошо знаю. Списали точно, правильно. И то, что когда волосы у него свешиваются на лоб, он поправляет их, откидывая голову назад. И что любимая закуска его — малосольные огурчики, а чай любит очень крепкий... Все верно. Вот только когда Вы описываете его лицо, делаете маленькую ошибку: нос у Феди чуть-чуть курносый, а Вы пишете, что прямой. Но это ничего. Повесть у Вас получилась душевной, в одном месте я разволновалась и даже всплакнула (это когда Федор вспоминает, как он из своих родных мест уезжал на стройку)...»

Далее читательница пишет о вещах, к повести прямого отношения не имеющих, и мы их опустим, заметим только, что слог становится сбивчивым, словно бы человек хочет то ли сказать, то ли спросить что-то, но никак не решится. И вот, похоже, решился:

«Из повести можно понять, что Федор работает на какой-то сибирской стройке. А не могли ли бы Вы дать точный адрес этой стройки...»

Вон в чем дело-то оказывается: двоих любящих судьба разбросала в разные стороны, девушка посчитала литературного Федора очень похожим на своего Федора и хочет написать ему... Сплошная лирика. Однако не будем торопиться с заключениями. Дочитаем письмо до конца.

«Уж извините, адрес мне нужен для того, чтобы знать, куда отослать исполнительный лист...»

Так вот почему повесть читалась «с большим вниманием и волнением» и почему из всех героев ее читательнице больше всех «запомнился» именно Федор!

Самое простое — посмеяться над «внимательной» читательницей. Однако гуманнее посочувствовать ей, пожалеть, что в свое время в школе не преподали ей азов понимания литературы, не научили отличать рассказ от газетной статьи.

Еще один, близкий к этому пример, уже из личного, что ли, опыта.

Я написал рассказ, посвященный матери. Повествование велось от первого лица: «Я пришел», «Я ушел», «Я сказал» и т. д.

Через некоторое время мне пришлось быть у товарища на дне рождения. Собралось порядочно народу. И среди приглашенных на торжество оказалась давняя знакомая, дама средних лет. Чтобы в ожидании опаздывающих не сидеть в одиночестве, я подошел к дивану, на котором устроилась та дама. Но едва я успел сесть на диван, она демонстративно отодвинулась от меня и, недобро сузив глаза, сказала, а точнее бы — прошипела: «И ведь не подумаешь!» «О чем ты?» «А о том, что вот поглядишь на тебя, и в голову не придет, что ты такой!» «Какой такой?» Недоумение мое росло, а дама между тем продолжала: «Такой черствый, бесчувственный, бездушный...» «Постой, постой, о чем ты?» «А о том, что родной матери не выбрал времени письма написать. Родной матери! Теперь небось локти кусаешь,

а поправить ничего нельзя, мать в сырой земле лежит...»

Только тогда я понял, о чем говорит и чем благородно возмущается моя знакомая. В рассказе главный герой уезжает из родного села в Москву учиться и, поступив в институт, чуть ли не каждый день собирается написать матери большое, хорошее письмо. Но время идет, а письмо так и остается ненаписанным, пока не приходит телеграмма о смерти матери.

«А представь, я только сегодня утром отправил письмо матери».

Теперь настал черед недоумевать даме:

«Письмо на тот свет?»

«Почему же на тот? Мать моя жива-здорова, и я, хоть, может, и не часто, но раз-то в месяц ей пишу...»

А между тем дама-читательница имела законченное высшее — правда, техническое, но все же высшее! — образование.

Интересно, как понимала та образованная дама известные строки из стихотворения Блока «Клеопатра»:

Я сам, позорный и продажный,
С кругами синими у глаз...

Ну, этот случай, можно сказать, легкий: все объяснилось, все кончилось хорошо.

А вот случай потяжелей. Среди откликов на небольшую книжку путевых очерков, которые были мной написаны в результате поездки во Францию, пришло большущее письмо на девяти страницах от одного читателя то ли из Тулы, то ли из-под Тулы.

«Так-так. Значит, ездим по заграницам. Веселая жизнь, ничего не скажешь! А известно ли достоуважаемому писателю, что многие и многие честные советские труженики не имеют такой возможности. А чем они, спрашивается, хуже вас? То-то и оно-то! Я бы, например, тоже не прочь побывать в Париже, однако не могу себе этого позволить, хотя и занимаю большой ответственный пост главного бухгалтера главной бухгалтерии крупного треста...»

Пока еще неясно, куда автор гнет, но тон письму уже с первых же строк задан, как видим, довольно агрессивный.

«Я прикинул, в какую копеечку обошлась государству ваша поездочка, и пришел к выводу, что к своим писательским обязанностям вы могли бы отнестись более добросовестно».

Похоже, при чтении книги у бухгалтера не сошелся дебит с кредитом, и он начинает предъявлять счет.

«Вы описываете Большие бульвары, Елисейские поля, Нотр-Дам. Хорошо. Но где Лувр и Монмартр? Где «Гранд-опера» и Вандомская колонна? Вам словно бы лень свернуть с Больших бульваров и пройтись по улице (тут следует название улицы по-русски и по-французски: знай наших!), потому что тогда бы вы обязательно наткнулись на известный театр-стриптиз «Фоли-Бержер»... Недалеко оттуда находится и знаменитая своими притонами Пляс Пигаль. Но вы и о ней почему-то ни слова, хотя у вас была такая возможность показать язвы прогнившего буржуазного общества во всей их неприглядной наготе и в переносном и в буквальном смысле слова...»

Вот примерно такое письмо.

Как видим, автор письма ничего не говорит о самой книге, не говорит, что в ней хорошо, что плохо. У него другая забота: через перечисление, чего в книге нет, показать свою, так сказать, культурность и образованность — поглядите-ка, я ориентируюсь во французской столице ничем не хуже, чем в своем Конотопе,— даже знаю, как улицы по-ихнему называются! Ну, а отсюда уже сам собой напрашивается вывод: вот бы кому надо ехать в Париж, а не какому-то ленивому, нелюбопытному писателю!..

Письмо это интересно тем, что многие читатели точно так же прочитывают не только путевые очерки, но и романы. Их мало занимает, что есть в романе, с усердием, достойным лучшего применения, они выискивают, чего там нет.

Вы скажете: какие-то уж очень крайние, из ряда вон выходящие случаи берешь, и я соглашусь: да, может быть, и крайние. Но не рельефнее ли на подобных крайностях обозначается проблема культуры чтения, о которой мы говорим? И потом, если это один «край», а другим будет серьезный читатель, о котором была речь выше, значит, есть и середина. И возьметесь ли вы утверждать, что середина состоит из одних истинно образованных читателей? На то она и середина, что одной своей половиной тяготеет к одному краю, а другой — к другому. Так что надо ли тешить себя удобной, вольно или невольно возвышающей нас самих мыслью, что приведенные примеры — нечто единичное, случайное и потому недостойное нашего внимания? Не правильнее ли задуматься над подобными крайностями?

3

Расскажу еще одну весьма прискорбную читательскую историю.

Несколько лет назад в архивах гор. Горького и Астрахани были найдены интереснейшие документы, проливающие свет на родословную Владимира Ильича Ленина по отцовской линии. До этого мы знали, что отец Ленина — Илья Николаевич, но кто и откуда был его родитель Николай—неизвестно. И вот в Нижегородском архиве отыскались документы, удостоверяющие, что дед Ленина, Николай Васильевич Ульянов, был крепостным села Андросово Сергачской округи Нижегородской губернии. Потом то ли бежал, то ли был отпущен помещиком на оброк в Астрахань. В астраханском архиве тоже нашли документы, по которым прослеживалась жизнь Николая Васильевича в этом городе на протяжении последних сорока с лишним лет.

Меня заинтересовало село Андросово. Тем более что до него от моего родного села, что под Сергачем, где я живу летом, всего каких-нибудь тридцать пять километров.

И вот я побывал в селе, откуда пошел род Ульяновых, походил по улице, которая испокон веку и по сей день зовется «Ульянов порядок», поговорил с оставшимися в селе, теперь уже немногочисленными, представителями славного рода — Анной Николаевной, Михаилом Степановичем и Александром Андреевичем Ульяновыми. Александра я нашел на поле, он лафетил рожь на Жареной горе. И с той горы оказались хорошо видными знакомые мне поля соседних сел Анучина и Кошкарова, которые когда-то в молодости я так же вот убирал комбайном...

Ну, а обо всем увиденном по укоренившейся привычке я потом написал очерк. Он так и назывался: «Село Андросово: пошел отсюда род Ульяновых». Очерк был опубликован в «Литературной газете», потом вышел книгой.

Сколько писем пришло в редакцию «Литературки»! На публикацию документов, касающихся родословной Ленина, откликнулись и историки, и учителя, и студенты, и партийные работники — всех не перечтешь. А еще много писем было от разлетевшихся в послевоенные годы из Андросова по всей

стране Ульяновых. Письма пришли от «дальней родни» Ленина из соседних районов Горьковской области, из Оренбурга, из Омска, Новосибирска...

И среди этих писем все же нашлось одно, резко отличающееся от остальных. Собственно, это было не столько письмо, сколь готовая статья в «Литературную газету». Называлась она почти классически: «Как автор сам себя высек». Вон ведь какой замах! Тон статьи, под стать названию, был фельетонный, зубоскальный, ернический. И что же читатель газеты инкриминировал автору публикации об Ульяновых? Нипочем не угадаете! Дотошный читатель нашел в приведенных мной документах некое несоответствие, касающееся возраста Николая Васильевича: в документе Нижегородского архива — «Ревизской сказке» конца восемнадцатого века год его рождения указан такой, что если его сопоставить с «ревизской сказкой» 1836 года, то получается расхождение то ли в один, то ли в два года. И все? Все.

Я попытался представить себе автора статейки, и так-то жалко стало его, беднягу! Сидит с бухгалтерскими счетами в руках (хоть и не старший бухгалтер треста, а инструктор райкома, как он себя отрекомендовал), щелкает костяшками, морщит лоб в великом напряжении мысли и, наконец-то,— эврика! — метрики не сходятся на целый год! Судя по ликующе-торжествующему тону письма-статьи, радовался он своему «открытию» ничуть не меньше, чем тот житель древних Сиракуз, который, открыв свой закон, выскочил из купальни и, забыв одеться, с тем же возгласом «эврика!» побежал по улицам города.

А теперь давайте вместе представим: дело происходит двести лет назад, какой-то неизвестный нам Башмачкин Нижегородской казенной палаты выводит своим гусиным пером: «Николай Васильев сын Ульянин, 25 лет, Нижнегородской губернии Сергачской округи села Андросова помещика Степана Михайлова Брехова крестьянин. Отлучился в 1791 году...» А в 1836 году уже астраханский писарь описывает приметы Николая Васильевича: «Ростом 2-х аршин 5 вершков, волосы на голове, усы и борода светло-русые, лицом бел, чист, глаза карие... У него дети — Василий — 14 лет, Илья — 2 лет». Затем, как бы для полной ясности вопроса о национальной принадлежности Николая Васильевича, добавляет: «Коренного российского происхождения».

И как же нам не преисполниться чувством глубокой благодарности к тем неизвестным Акакиям Акакиевичам, которые оставили для нас столь драгоценные исторические свидетельства о семье Ульяновых! Как не порадоваться, что эти документы такие же неизвестные архивариусы сохранили для нас, а нынешние работники архивов разыскали! (Именно эти чувства и высказывались во многих письмах, полученных редакцией газеты.)

Но вот газета попадает в руки читателю, который проходит мимо всего этого, выискивает в очерке некое «несоответствие» и с ликованием ухватывается за него. Как не пожалеть человека с таким странным «углом зрения»!

А если на то пошло, и никакого «несоответствия»-то нет. Автор «открытия», должно быть, имеет если и не высшее, то вполне достаточное образование, чтобы знать, что «ревизская сказка» не что иное, как перепись населения, и она, эта перепись, даже ныне ведется не по метрикам, а со слов того, кого записывают. И надо ли ему быть столь строгим к 70-летнему Николаю Васильевичу, неточно указавшему свой год рождения? Надо ли «ловить» старого человека на «несоответствии» и радостно потирать руки от того, что поймал? Я уж не говорю о том, что в этой пустяковой арифметической ошибке (если бы она и была) уж никак нельзя винить ни тогдашних переписчиков, ни тем более автора очерка, всего лишь процитировавшего архивные документы.

И в заключение пример особого рода. Особинка состоит в том, что в роли читателя в данном случае выступает... писатель.

«Одно из средств, которыми разумные люди пользуются для самовоспитания,— личный дневник».

Так начинает автор главу книги, которая нас интересует. Затем, сообщив, что «психологи считают такую работу над собой очень полезной» и «часто ссылаются на пример Льва Николаевича Толстого», берет сразу же быка за рога — цитирует дневник писателя:

«Я невоздержан, нерешителен, непостоянен. Глупо-тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти неодолимой привычкой. Я умен, но ум мой еще ни на чем не был основательно испытан... Я честен, то есть я люблю добро, сделал привычку любить его и, когда отклоняюсь от него, бываю недоволен собой и возвращаюсь к нему с удовольствием, но есть вещи, которые я люблю больше добра — славу».

Цитата говорит сама за себя, и автор то ли не хочет, то ли не отваживается ее комментировать. Он только замечает, что на основе такого самоанализа Толстой вырабатывает программу самоисправления:

«Важнее всего для меня в жизни исправление от трех главных пороков: бес[характерности], разд[ражительности] и лени».

Чтобы реализовать эту программу (это говорит уже автор), Толстой всю жизнь составлял и заносил в дневник правила. Далее опять идет цитата:

«1. Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что.

2. Что исполняешь, исполняй хорошо.

3. Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить.

4. Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою».

Все идет хорошо. Выстраивая цитаты из Толстого, автор более-менее убедительно иллюстрирует ими ход своей мысли. «С точки зрения этих правил,— пишет он далее,— Толстой и оценивал прожитый день. И был счастлив, когда мог сделать, например, такую запись»:

«Я совершенно доволен собою за вчерашний день. Я начинаю приобретать волю телесную; но умственная еще очень слаба. Терпение и прилежание, и я уверен, что я достигну всего, что я хочу».

И опять все правильно. Да и читать интересно: как-никак — Толстой! Только не совсем понятно, к чему автор ведет, что именно хочет сказать, столь обильно цитируя великого писателя.

Наберемся терпения. Кажется, вот оно, авторское резюме, ради которого и городился такой большой огород:

«Дневники не только помогли писателю в искусстве психологического анализа. Они еще помогли молодому дворянину, эгоистическому и душевно ленивому, превратиться в человека, которого еще при жизни называли совестью человечества».

Во как! Вот какой великой преобразующей силой, оказывается, обладает ведение личных дневников! Терпение и прилежание, и каждый из нас — ну,

если не каждый, то многие — могут запросто стать Львами Толстыми...

Но это еще не все. Увлекшись поисками «солидных» подтверждений своей немудрящей мысли о пользе дневников и отважившись потревожить в этих целях имя великого писателя, автор не заметил, что в своих конечных выводах допустил непростительную бестактность по отношению к человеку, «которого еще при жизни называли совестью человечества».

Толстой мог назвать себя и эгоистом, и лентяем, и даже трусом («Я не храбр»), хотя мы-то хорошо знаем, как он (будучи еще молодым «несамоисправившимся») отважно сражался на редутах Севастополя. Мы знаем, что перу этого «эгоистичного лентяя» принадлежат девяносто объемистых томов, только переписать которые и то по плечу не каждому трудолюбу. Но если бы Толстому и не пришлось воевать под Севастополем, если бы им было написано не девяносто, а, скажем, только девять или того меньше томов — и в этом случае никто и ничто не дает нам права с легкостью повторять за ним его самооценки и выдавать их как установленную истину! Не потому ли, кроме всего прочего, что он судил себя беспощадно строгим судом, его и называли совестью человечества?!

Вот такие примеры. Вот так кое-кто из нас прочитывает книги как современных, так и классических авторов. Примеров могло быть и больше. Но я ведь не задавался целью исчерпать тему. Я всего лишь хотел показать на этих более или менее характерных примерах, что наша культура чтения еще оставляет желать лучшего.

Процесс массового приобщения к культурным ценностям, к литературе в частности,— процесс сложный, подчас противоречивый. Тут нет прямой зависимости: чем больше зрителей, тем больше истинных ценителей, чем больше читающих, тем больше понимающих; количество автоматически, увы, не переходит в качество. Потому-то, восторгаясь чисто количественными показателями (читают все — от пионеров до пенсионеров!), не мешает думать и о том, *как* и *зачем* читают, *что* и *как* усваивают из прочитанного. И если ответы на эти вопросы будут не всегда утешительными, не надо приходить в уныние. Будем помнить, что искусство чтения—тонкое искусство и постигнуть его отнюдь не просто. Знать грамоту, уметь читать — еще не значит понимать всю глубину прочитанного, понимать, что именно хотел сказать (или сказал) автор своей книгой. «...Добрые люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать. Я сам на это употребил 80 лет и все не могу сказать, что вполне достиг цели». Так говорил Гёте — гений, мудрец, олимпиец и вообще человек более близкий к литературе, чем тот же бухгалтер главной бухгалтерии треста...

К слову сказать, разницу между умением читать и быть читателем и у нас на Руси понимали еще очень давно. Вот что писал первый московский журнал «Полезное увеселение» в январском номере за 1760 год в статье, которая так и называлась — «О чтении книг»:

«Чтение книг есть великая польза роду человеческому, и гораздо большая, нежели все врачеванья неискусных медиков. О сем можно сумневаться тому, кто книг не читывал; однако великая разность читать и быть читателем...»

Своими заметками я тоже хотел сказать: читают у нас все, но — не будем обольщаться! — все ли читатели?!

4

В разговоре о культуре чтения, о духовном общении человека с книгой, наверное, уместно будет сказать несколько слов и о так называемом книгособирательстве.

В последние годы эпидемия книгособирательства охватила всю страну — от столиц до таежных поселков. Острословы уже поговаривают, что собирателей становится больше, чем читателей, и в этом есть немалая доля истины. Снежный ком, нарастая, продолжает катиться, и пока не видно, скоро ли остановится. Так что есть резон поговорить об этом поподробнее.

— У тебя сколько?
— Что «сколько»?
— Ну, сотен, тысяч.
— Тысяч чего?
— Книг, разумеется.
— А-а, тыщи три наберется.
— Недалеко ушел, старичок. У меня уже за пять перевалило.

Разговор шел на известной книжной толкучке, что на Кузнецком мосту. «Старичкам» было никак не более чем по двадцать пять лет; оба дремучебороды и модноволосаты, из-за бортов пальто торчали книги и списки «нужной» литературы, в основном приключенческого, научно-фантастического и детективного характера.

— Слышишь? — спросил я товарища, вместе с которым мы продирались через эту толкучку, направляясь в писательскую книжную лавку.

— Да, старичок,— в тон молодым книголюбам отозвался товарищ,— нам с тобою за ними не угнаться. Ты уж сколько лет собираешь книги? Небось столько же, сколько эти бородачи живут на белом свете, я и того больше, а столько еще не набрали.

— Не та метода,— усмехнулся я.

— Да, мы по старинке ведем счет на штуки, а они на сотни и тысячи. Разница!..

Мы еще вернемся к этому разговору, а сейчас сделаем небольшое отступление.

Не так давно мне представилась возможность близко познакомиться с библиотекой Николая Павловича Смирнова-Сокольского. Собственно, «знаком» я с ней был и раньше — по двухтомному каталогу «Моя библиотека», любовно составленному самим собирателем. На сей раз я имел возможность видеть библиотеку воочию, а некоторые особенно интересные для меня книги подержать в руках.

Много самых разных мыслей рождает соприкосновение с этим уникальнейшим книжным собранием. Тут и восхищение жизненным подвигом собирателя, его высокой культурой и тонким вкусом, тут и чувство удовлетворения, если не сказать радость, что библиотека после смерти хозяина не рассыпалась, не разошлась по рукам, а сохранилась в целости и полноте.

А еще и несколько неожиданное чувство удивления охватывает тебя, когда находишься в этой уставленной шкафами комнате: библиотека-то не так уж и велика! Во всяком случае, она поражает не количеством книг, а их целенаправленным подбором. В том и ее уникальность, ее главная ценность. Отдельные книги, отдельные экземпляры журналов и альманахов первой половины XIX века можно встретить в букинистических магазинах и по сей день. Не часто встретишь, что и говорить, но все же попадаются. Собрать же периодические издания тех лет в такой полноте, как это удалось Н. П. Смирнову-

Сокольскому, нынче уж невозможно. Низкий поклон истинному рыцарю книги!

На протяжении многих лет знаком я был с другим известным книжником-писателем, Владимиром Германовичем Лидиным. Бывал у него дома и, разумеется, видел его прекрасную библиотеку. И, представьте, она меня тоже привела в восхищение не своей грандиозностью, а своей, опять же сказать, строгой избранностью. Многие книги библиотеки мало того что уникальны, но еще и имеют первозданно-непорочный вид — ну, будто только что вышли из рук переплетных дел мастера. А ведь речь идет о первых (и не нынче, а тогда же переплетенных) изданиях Державина, Жуковского, Карамзина, Пушкина, Лермонтова...

Н. П. Смирнов-Сокольский собирал книги всю свою сознательную, как мы говорим, жизнь, то есть «за вычетом» лишь детских лет. В. Г. Лидин, умерший на девятом десятке, тоже начал книгособирательство еще до революции и продолжал заниматься им до последнего года, если не до последнего дня своей жизни (уже после кончины писателя в нашей лавке какое-то время все еще хранилась книга с вложенной в нее карточкой: «Для В. Г. Лидина»).

А теперь давайте вернемся к молодым бородатым книголюбам, не далее как вчера начавшим собирать книги, а ныне уже похваляющимся своими тысячами. Давайте попробуем представить, что проживут они хотя бы еще столько, сколько прожили (а могут ведь и в два раза больше!), и будут заниматься книгособирательством столь же интенсивно и успешно. Счет придется вести, видимо, уж не на тысячи, а на десятки тысяч!

Вы скажете, что взял я не характерный случай. Отнюдь! Таких или подобных им книголюбов, рыщущих в поисках «нужных» книг, можно встретить сколько угодно. Читать найденное они, понятное дело, не читают — до того ли! — им важно «иметь» ту или другую книгу. Доходит до абсурда, до анекдота. В московском Доме книги я сам был свидетелем того, как богато одетая дама говорила продавщице: «Наберите мне на девять-десять рублей, пожалуйста. Вот эту, эту... нет, рядом с ней, ту, что в голубом переплете...»

Мы с восторженным придыханием пишем о «книжном голоде» и умалчиваем о том, что книгособирательство в последние годы приобрело уродливые, недостойные своего исконного назначения формы. Если бы только одна та, шикарно одетая, дама хватала книги без разбора!

Тот же В. Г. Лидин любил подчеркивать разницу между собиранием книг и их покупкой. Дама именно покупала книги, точно так же, как перед этим она могла покупать колбасу, мыло, перчатки. Окажись при этом акте купли в Доме книги бородатые книголюбы, они, надо думать, свысока, со снисходительным пренебрежением поглядели бы на даму: уж они-то определенно не покупатели, а собиратели, они-то точно знают, что им нужно! А ведь, разобраться, и они самые настоящие покупатели. Книги собираются по одной, да и ту, одну, истинный ценитель ищет иногда год, иногда десять лет, а если говорить о старинных изданиях, то и всю жизнь. Мы же плотно забиваем свои полки многотомными собраниями сочинений, радуемся количеству книг и меньше всего думаем, насколько сообразовывается наше собрание с нашими вкусами и интересами.

При нынешнем ажиотаже вокруг книгоприобретательства мы доходим, как уже было сказано, до крайностей, до нелепостей. При коллекционировании монет или марок любители, как правило, придерживаются какого-то определенного тематического, географического или еще какого принципа. Даже собиранию спичечных коробков или этикеток с бутылок и то придается какая-то своя целенаправленность: одним находкам отдается предпочтение, другие оставляют без внимания. Книги же довольно часто мы гребем все подряд, без разбора, без учета наших вкусов и склонностей.

Мы даже не делаем различия между книгами, что ли, разового и многократного пользования. Поясню, что я разумею под этими условными названиями. Есть много очень хороших книг, которые мы читаем один раз и больше уже никогда не перечитываем. Не правильнее ли, не разумнее ли такие книги брать в любой общественной библиотеке: взял, прочитал, сдал. А, скажем, за Пушкиным или Есениным в библиотеку не набегаешься: нынче читал, а завтра опять захочется. Вот с таких именно книг, наверное, и должна начинаться наша домашняя библиотека. А уж дальше подбирай, сообразуясь то ли со своими профессиональными, то ли с литературно-эстетическими, то ли какими другими интересами.

Сами-то себя мы считаем непохожими на других — пусть и наша библиотека будет похожей только на саму себя (или на нас)! Пусть она будет совсем небольшой, но пусть ее основу составляют книги многократного, то есть повседневного, пользования.

Правда, такую библиотеку, даже и не очень большую, собрать труднее, чем тысячи, которыми похвалялись друг перед другом молодые книгоприобретатели. Но, во-первых, целенаправленную библиотеку собирать гораздо интереснее, чем просто хватать книги подряд. Тот же Н. П. Смирнов-Сокольский в предисловии к своим «Рассказам о книгах» приводит слова, сказанные В. Шкловским одному библиофилу (не самому ли Николаю Павловичу?!): «Вы собирали книги, а книги собрали вас». И, во-вторых, если покупатель книги, как правило, имеет с ней не более чем шапочное знакомство (купил, поставил на полку и — привет! — читать-то некогда — тысячи!), для собирателя, истинного любителя и ценителя книги, она становится близким другом.

Вспомним, что именно так—«Друзья мои—книги» назвал свои неоднократно издававшиеся библиофильские очерки уже упоминавшийся В. Г. Лидин. И точно так же называл книги своими друзьями еще Александр Сергеевич Пушкин. Последними словами его, когда он умирал в своем кабинете на Мойке, были слова, обращенные к книгам, которые окружали его. Как помните, он сказал: «Прощайте, друзья...»

В этих словах не завет ли и нам с вами: сделать книгу своим близким другом?!

А. СТЕПАНОВ



ПО БОЛЬШАКАМ И ПРОСЕЛКАМ

Сейчас, когда осуществляется принятая майским Пленумом ЦК КПСС Продовольственная программа — дело всенародное и долговременное,— произведения о селе, о проблемах сельского хозяйства вызывают особый интерес, точнее — особую заинтересованность. В их ряду стоит и новая книга Юрия Грибова «Сельский двор» (изд. «Правда», 1982).

Имя этого писателя широко и заслуженно известно. Участник Великой Отечественной войны, он прошел фронтовыми дорогами до Берлина. А потом были мирные дороги, по которым колесил бывший командир пулеметной роты с корреспондентским удостоверением «Правды» и «Советской России». Были книги повестей, рассказов, очерков, тепло встреченные читателем, замеченные критикой: «Сороковой бор», «Рубиновые серьги», «Журавлиная стая», «Смоленские дороги», «Ветка ивы», «Поклон хлебу»...

Юрий Грибов сразу и навсегда выбрал свою главную тему — село, его люди, его заботы, его настоящее и будущее. Впрочем, сказать «выбрал» будет не совсем точно, ибо он крестьянин по рождению и ему не нужно было выбирать объект приложения своих сил и таланта: дорога в литературу началась с большака, ведущего из села Бутры Горьковской области в большие и малые российские города...

Мне довелось видеть Юрия Грибова в деле, наблюдать, как рождаются его книги. Нет, не за письменным столом, не в редакторском кабинете. Было это нынешней весной на Ставрополье, где проходили Дни советской литературы, посвященные шестидесятилетию образования СССР. Радушные хозяева распахнули перед писателями все двери своего огромного и богатого дома: хочешь — поезжай в предгорья Кавказа, путешествуй по лермонтовским местам; желаешь увидеть современный индустриальный город — отправляйся в Невинномысск... Ю. Грибов выбрал Ипатовский район, тот самый, где родился знаменитый хлеборобский метод, известный ныне на всю страну. Конечно же, не праздное любопытство определило этот выбор: хотелось посмотреть, как идут дела в прославленных хозяйствах, как преодолеваются трудности, вызванные запоздалой весной. Там, у ипатовцев, были встречи с людьми, беседы и споры, которые превращались потом в строчки, густо заполнившие дорожный блокнот. А уже через несколько дней я читал в «Известиях» первый ставропольский очерк Юрия Грибова.

Так вот — в поездках, на большаках и проселках Российского Нечерноземья — рождалась и книга «Сельский двор». Ее составили очерки и новеллы, написанные в последнее время и посвященные актуальным проблемам нашего села.

Герои этой книги — реальные люди, живущие в «градах и весях»: трактористы и доярки, секретари райкомов и председатели колхозов, пастухи и агрономы. Автор хорошо знает и любит своих героев, а потому и находит для рассказа о них слова точные и емкие. Нет, он отнюдь не умиляется «сельщиной» и «селянами», не обособляет их, а показывает жизнь и труд современного крестьянина в органической связи с делами и заботами всей страны, всего народа.

Они разные, эти очерки и новеллы — и по сюжетам и по географии, но в единое целое объединяет их позиция писателя — активная, деятельная, заинтересованная. И не случайно его диалоги со своими героями нередко превращаются в горячие споры. Не случайно в сборнике основное место занимают не описания, не пейзажи, а динамичные, острые диалоги.

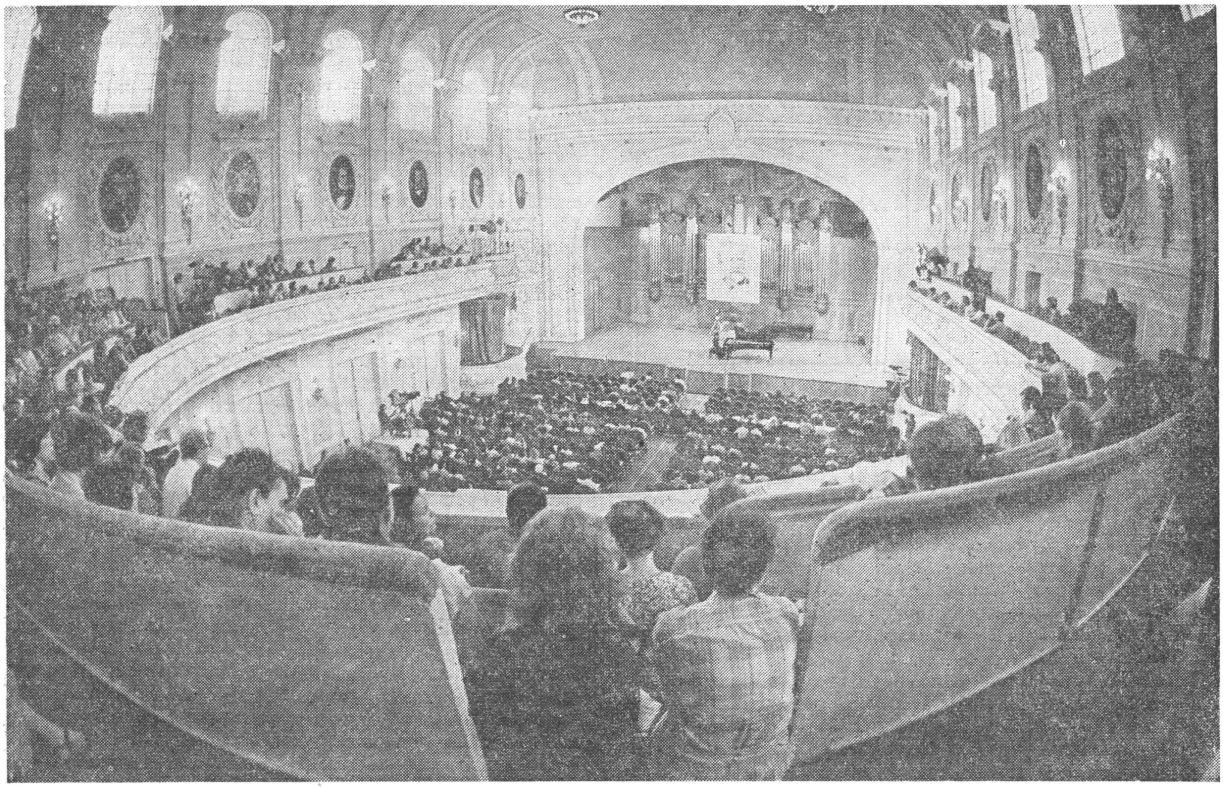
И еще одна весьма важная и ценная, на мой взгляд, черта отличает «Сельский двор» — стремление автора быть активным пропагандистом всего нового, передового, что рождается в жизни села. В этом отношении характерен очерк «Утро сельсовета».

Село Новомихайловское в общем-то самое обычное, каких даже не сотни, а тысячи в Нечерноземье. Словом, типичное село. А вот председатель местного сельсовета Георгий Арефьевич Бирюков не совсем типичный. Ради встречи с ним и приехал автор в Новомихайловское. Несколькими штрихами набросал он выразительный портрет сельского «мэра». «Во всем облике Бирюкова, в манере держаться есть что-то типичное от устоявшегося сельского интеллигента: он вежлив, предупредителен, но седую голову держит достойно, увеличенные толстыми стеклами очков, внимательно и прямо смотрят его умные уставшие глаза».

Это его, Бирюкова, заслуга в том, что сельский Совет пользуется большим авторитетом, активно помогает колхозам, по-хозяйски заботится о каждом дворе. Но, к сожалению, далеко не везде этот орган народовластия так авторитетен и инициативен. И потому писатель считает необходимым основательно показать опыт работы Новомихайловского сельсовета, технологию деятельности его руководителя: смотрите, осмысливайте, учитесь. Ведь, в сущности, ничего необычного, недоступного другим в этом опыте нет. Он по плечу каждому, кто душой болеет за дело, сознает меру своей ответственности перед людьми.

Пример этот характерен для книги Ю. Грибова: не только описывать и рассказывать, но и доказывать, убеждать.

Не стану пересказывать другие очерки и новеллы книги, хотя и хотелось бы, потому что они увлекли меня, открыли большой и сложный мир современного нашего села. Но в пересказе, я понимаю, мало интересного. Надо самому прочесть эту небольшую, но емкую и глубокую книгу, посвященную делам и заботам, которыми живет сегодня наша страна. Это — увлекательное и полезное чтение.



НАТАЛЬЯ
ЗИМЯНИНА

О КОНКУРСЕ И О МУЗЫКЕ

Фото Б. Кауфмана.

В шесть лет меня привели на экзамен в музыкальную школу. К тому времени я уже играла половину «Школы» Николаева, а меня спрашивали: «Скажи, девочка, где медведь, а где птичка?» — нажимая поперемепно то басистые нижние, то звонко-пустые верхние клавиши. Я не понимала, чего хотят от меня десять сидящих рядком теть, а комиссии было невдомек, что птичка с медведем — младенческий этап. Вздохнув, председательница попросила что-нибудь спеть.

Утро красит нежным светом
Стены древнего Кремля...

Меня приняли. С шести лет началась бесконечная работа. После обычной школы, перехватив бутерброд,— в музыкальную. В перерыве между специальностью и сольфеджио (в первом классе его преподавал у нас А. Шнитке, теперь известный композитор) решались задачки по арифметике — на стуле в коридоре, где висел страшный бородатый дядька, как выяснилось позднее, Брамс.

Помню вестибюль музыкальной школы. Мамы и бабушки, реже дедушки (но не папы) беседуют, мечтают вслух, перемывают косточки вредным учителям, Иву Монтану, вяжут, читают «И один в поле

воин» Дольд-Михайлика или «Розы в кредит» Эльзы Триоле.

В киоске продавались ноты. Иногда выстраивалась очередь — за книжкой С. Хентовой «Вэн Клайберн», за «Жизненными правилами и советами молодым музыкантам» Роберта Шумана. В вестибюле школы в тихом Чапаевском переулке текла неторопливая, полная радужных надежд жизнь, пропитанная запахом буфетных пирожков с повидлом.

Моя учеба пришлась на тот трудный для детей период, когда обаяние Клайберна упорно делало свое черное дело — каждый ученик музыкальной школы виделся своим родителям только на сцене Большого зала консерватории со смущенной улыбкой после оглушительных октав 1-го Концерта Чайковского.

ЕРМОЛАЕВ[1]: «Родители мои не музыканты. Отец умер, когда мне было полтора года, мать — журналистка. Мама с самого моего рождения почему-то решила, что я буду музыкантом. Как ни странно, так и получилось. Проблемы выбора профессии не существовало изначально. Сколько себя помню, пытался играть и сочинять. Занимался сначала с частным педагогом, потом поступил в 22-ю детскую музыкальную школу, носящую теперь имя Ю. А. Шапорина, в класс к Игорю Константиновичу Шведову. Несколько лет учился играть еще и на скрипке — для общего развития. Теперь понял, что не зря: когда пишу что-нибудь для струнных, имею «явное преимущество». Мерзляковское училище (училище при Московской консерватории в Мерзляковском переулке.— Н. З.) окончил как пианист у Александра Ильича Соболева и как композитор у Константина Константиновича Баташова. В 1971 году поступил в Московскую государственную консерваторию, в класс Веры Васильевны Горностаевой, в 1977 году окончил фортепьянный факультет, в 1978-м — композиторский по классу Альберта Семеновича Лемана».

Листаешь буклет VII Международного конкурса имени Чайковского и диву даешься — о каких школах может идти речь в наше время, если на страницах полное смешение истории с географией: японка Момоко Нишино учится в Академии изящных искусств в Праге, голландец Риан де Ваал — у Галины Черны-Стефаньской в Польше, Шкембри Брайан с Мальты — в Киевской консерватории, Юхани Лагершпец из Финляндии — в Ленинградской, Эмил Наумов, болгарин, окончил парижскую «Эколь нормаль де мюзик», Чой Ин Су из КНДР — Академию музыки в Будапеште, неукротимого Вальтера Чивитариале из Люксембурга безуспешно стараются обуздать попеременно то Валерий Кастельский, то Дмитрий Башкиров...

[1] Михаил Ермолаев родился в августе 1952 г. Лауреат премии Союза композиторов РСФСР 1981 г. (за альтовый концерт), лауреат I премии Всесоюзного конкурса пианистов 1981 г. На VII Международном конкурсе имени Чайковского удостоен почетного диплома и специального приза за лучшее исполнение произведения Чайковского.



Петр Ильич Чайковский в возрасте 22 лет.

Многие стремятся попасть в советские консерватории. Музыканты из США (а каждый пятый на конкурсе был американец) подчеркивали, что многие американские музыканты ориентируются на русские традиции, что определенно превалирует русская школа.

Как это ни парадоксально, я узнала, что такое «школа», поступив на филологический факультет МГУ. Одновременно прошла конкурс в знаменитый Фортепьянный класс Московского университета, единственный в стране коллектив такого рода, носящий звание народного. Созданный в 1936 году талантливой ученицей Л. В. Николаева (ленинградская школа) и Г. Г. Нейгауза (московская) Ундиной Михайловной Дубовой-Сергеевой, он объединил тех, кто не смог расстаться с музыкой, избрав другую профессию. Как ни странно, среди членов Фортепьянного класса до сих пор преобладают студенты и выпускники естественных факультетов. Уже немало лет я, как все, ежегодно прохожу учебную программу, параллельно готовясь к концертам (4—5 концертных программ в год, в которых занят «костяк» из 10—15 человек). Вроде не своим делом занимаюсь, лучше бы диссертацию писала по своей фи-

логии. Но я не отступала: зачем же тогда, в детстве, мучилась? Что же, теперь весь этот труд — в бездонную пропасть?

Коллективов, где непрофессиональный музыкант мог бы продолжить свое образование, очень мало.

ЕРМОЛАЕВ: «Мне кажется, нужно всеобщее музыкальное образование, как это ни трудно организовать в нашей огромной стране. Ребята, которые приобщились к искусству активно, потом всю жизнь отличаются от других. Особенно если в детстве было не просто развитие творческого начала, а элемент взрослой, профессиональной творческой работы. Это ведь составная часть воспитания вообще».

Листая от нечего делать газету «Футбол-хоккей», взятую у моего соседа во время игры на конкурсе какого-то скучного пианиста, я наткнулась на такую фразу из корреспонденции Виктора Асаулова, спецкора на чемпионате мира по футболу в Испании, совпавшем по срокам с конкурсом Чайковского:

«Нервы у футболистов стали более чуткими, что ли, ранимыми. После матча сборных Югославии и Гондураса проигравшие 0 : 1 гондурасцы в полном смысле слова разрыдались, с некоторыми игроками была даже истерика».

А как обстояло дело с нервами музыкантов на их «спортивном соревновании»? Истерик не было. Те, которые изображали слабость нервов, относились к давно известному типу «туристов»: благо, оргкомитет нашего конкурса оплачивает дорогу в один конец, гостиницу, питание. Почему бы не прогуляться. И попадаются — к счастью, нечасто — среди участников авантюристы высокого класса, я думаю, с железными нервами, подготовившие к первому туру прелюдию и фугу Баха да классическую сонату (всего на первом туре играется семь произведений). Выходят в свой день и час на сцену, вяло разводят по клавиатуре руками, изображают нервный срыв и под сочувственный шепот зала удаляются за кулисы. Потом всю жизнь будут говорить, что участвовали в конкурсе Чайковского!..

Нет, конкурс снова показал, что нервы у музыкантов на высоте. Почему? А разве можно подвести учителя? Убить своим провалом родителей? Выбросить на ветер сотни часов работы из ноты в ноту, из такта в такт?

На что направить работу души? Во вполне оправданной спешке нашего века утрачивается ее неторопливая жизнь. На концерте ансамбля «Мадригал», состоявшемся весной этого года в зале Чайковского, я и подумала об этом.

Давно утрачена замечательная традиция бытового музицирования, существовавшая в прошлом веке, в начале нашего. К классической музыке отношение чисто потребительское. Пианистов из Фортепьянного класса МГУ донимают вопросами: «Зачем вам это? Время зря теряете...» Но мы играем еще и дуэтами, и со скрипачами, и с вокалистами работаем, а когда собираемся компанией — поем сами русские народные песни, романсы, классические дуэты, импровизируем в четыре руки, джаз играем — кто умеет. Устраиваем танцы под тапера, сменяя друг друга у инструмента.

В принципе, наверное, человек должен стремиться уметь все. Венец творения все-таки. Что-то в нас убивают, что-то мы убиваем сами, что-то не раскрываем, не развиваем. Но мне кажется, трудно сомневаться в том, что человек, нашедший себя на каком-то поприще, если захочет, обязательно проявит себя и в других, может быть, совершенно неожиданных областях. Если, конечно, его не будут шпынять за то, что занимается «не своим делом».



Михаил Ермолаев, третий тур.

Так и многие участники Фортепьянного класса МГУ, уже «остепенившиеся» по своей основной специальности, скрывают на работе, что выступают в афишных концертах, вместо того чтобы гордиться этим.

Выслушав на втором туре несколько раз 7-ю сонату Прокофьева в исполнении первоклассных музыкантов, я убедилась в том, что наиболее глубоко она открылась для меня в интерпретации Димы Гальцова, давнего члена нашего Фортепьянного класса. Кстати, в свое время он собирался выступить на II конкурсе Чайковского. Была готова программа, получено разрешение на участие. Эффектно было бы — самодеятельный пианист на таком конкурсе! Но ему это показалось ненужным. И потом, кто знает, вдруг — успех? Что стали бы говорить о нем коллеги — специалисты по черным дырам в космосе?

Иногда в класс приходят поступать самоуверенные молодые люди, «звезды» музыкальных школ, которых родители, обучив музыке, безжалостно наставили потом на путь истинный, уговорили учиться на физика, биолога, филолога — чтобы дети, так сказать, имели верный кусок хлеба. И после музыкального училища к У. М. Дубовой-Сергеевой приходят, и даже из консерватории, как Саша Дубянский, ныне кандидат наук, известный востоковед.

Жаль, не каждому из столь уверенных в себе поступающих (конкурс в класс неизменно велик) расскажешь, как однажды в наш Дом культуры на

улице Герцена зашел пожилой человек. «Я бы хотел заниматься у вас». В комнате сидело человек пять ждущих своей очереди. Мы недоуменно переглянулись. Человек сыграл несколько миниатюр, почти неузнаваемых по слабости его пальцев. Ундина Михайловна, слушая его, долго разглядывала свои изящные башмачки — верный признак того, что ей скучно. Мы поняли: шансов у поступающего никаких. «Скажите, а что вы закончили?» «Парижскую консерваторию». «Интересно. И когда же?» «До войны...» И, смущенно поглядев на нас, он добавил: «До первой империалистической». Его так и не приняли в класс, хотя он оказался профессором МГУ, всемирно известным антропологом Михаилом Федоровичем Нестурхом. Ему хотелось оставаться еще и музыкантом...

ЕРМОЛАЕВ: «Сейчас работаю ассистентом у моего педагога Веры Васильевны Горностаевой по классу специального фортепьяно. С 1979 года — член Союза композиторов. Считаю, что композитору надо обязательно хотя бы что-то знать обо всем круге существующей музыки. С первого курса я увлекался народным творчеством, работал научным сотрудником кабинета народной музыки в консерватории, ездил в экспедиции. Потом занимался и до сих пор занимаюсь древнерусской хоровой музыкой. Наверное, странно, что при всем отягощающем разнообразии занятий я все-таки продолжал играть на рояле и даже участвовал во Всесоюзном конкурсе. Это заслуга Веры Васильевны. Она верит в то, что я должен играть, что мне есть что сказать как пианисту. Композиторы меня как пианиста мало знают, и новость о моем предстоящем участии в конкурсе Чайковского вызвала у некоторых легкое недоумение. Пианисты пока еще признают меня композитором...

Играть мне всегда было интересно. Мышление, видимо, с детства организовано таким образом, что ко всем изучаемым произведениям я относился и как пианист и как композитор. Когда учился в училище, много играл Баха. «Баховский» период длился четыре года. Несколько раз исполнял в концертах 48 прелюдий и фуг его «Хорошо темперированного клавира» (в нынешнем сезоне я собираюсь повторить эту программу). Потом было четырехлетнее всепоглощающее увлечение Бетховеном. Затем период русской музыки, закончившийся Всесоюзным конкурсом и конкурсом Чайковского. Я переиграл все пьесы «Времен года» Чайковского, его 1-й концерт, довольно много пьес Глинки (это мой любимый композитор). Многое еще в планах. Очень хочется надолго и подробно заняться Шопеном. 4-я Баллада, сыгранная на втором туре,— единственное его сочинение в моем репертуаре.

Все совмещать трудно. Два дела — еще можно, а вот три — вряд ли. Но преподавать хочется, потому что есть уверенность, может быть, безосновательная, что могу что-то передать. В первую очередь считаю себя композитором[1]. Может быть, если бы сейчас, на конкурсе Чайковского, я получил более высокую премию, то считал бы, что я в первую очередь — пианист. Во всяком случае, если и вести концертную деятельность, то общественно значимую, просветительскую. Конечно, прекрасно сыграть «престижную» программу, скажем, первое отделение — 24 этюда Шопена, второе — си-минорная соната Листа. Но мне кажется, еще ценнее те программы, которые несут в себе неожиданную информацию. Пора шире играть советскую музыку, которая мало звучит...

Но если бы кто-нибудь знал, как протестует иногда все внутри: надо сочинять, а ты чем-то не тем занимаешься, на рояле играешь...»

Как ни парадоксально, конкурс Чайковского, на котором бесконечно звучала музыка, так и располагает написать о... тишине.

Тишина после первых двух нот си-минорной сонаты Листа. На втором туре ее играли новозеландец Майкл Хьюстон (6-я премия) и англичанин Питер Донохоу (2-я премия). Подумать только: всего две одинаковые, короткие ноты — и зал замирает, зная: сейчас под руками этих мыслящих пианистов развернется масштабное полотно, написанное гениальным художником-философом...

Недоуменная тишина на ферматах («звучащие» паузы) японского пианиста Осаму Накамуры. Правда, и хихиканья публики во время его выступления было достаточно. Выйдя на сцену расхлябанной походочкой, он сел за рояль, растопыренными пальцами обеих рук поднял кверху длинные, давно не чесанные волосы, потянулся и, раскачиваясь в такт, принялся за до-мажорную прелюдию Баха, видимо, чрезвычайно наслаждаясь своей игрой. В середине этюда Листа «Воспоминание», томно наигрывая тему левой рукой, он выложил правую на пюпитр и склонил на нее голову. А на ферматах — повернувшись в зал, разглядывал публику, остолбеневшую от столь неожиданных для Большого зала выходок...

Тишина, висящая, как топор: уйдет или не уйдет со сцены Франсуа Кердонкюфф, дважды остановившийся в первом туре на одном и том же месте фа-мажорной фуги Баха. Как он сидел, сложив руки на коленях! Что творилось в душе у этого талантливого французского пианиста, довольно удачно выступившего на прошлом, VI конкурсе (тогда он прошел на второй тур) и, несомненно, рассчитывавшего на этот раз на призовое место. Публика рукоплескала его мужеству, ибо после такой непростительной оплошности он с блеском сыграл еще шесть произведений программы, повторив в заключение по просьбе председателя жюри злополучную фугу...

Трагически сгущенная тишина аудитории во время исполнения этюда Листа «Метель» болгарской пианисткой Эммой Тахмизян (7-я премия). Что-то щемило внутри, вспоминался Пушкин...

Восхищенная тишина, в которой привольно струился негромкий хроматический ручеек 2-го этюда Шопена, исполненного Владимиром Овчинниковым (2-я премия), сверкали филигранные «Блуждающие огни» Листа, когда выступала Мичиэ Кояма (3-я премия)...

Бесконечная тишина провала и недолгая тишина ошеломительного успеха, за которой — шквал оваций, звонкая тишина нетерпеливого предвкушения и тишина разочарованного вздоха...

Тишина Большого зала...

Достаточно вспомнить, как на третьем туре, когда эстонский пианист Калле Рандалу (4-я премия) сосредоточивался перед средней медленной частью 1-го концерта Чайковского, в запертую дверь зала тихонько постучал кто-то из опоздавших. Пианист повернул голову в публику, возмущенно зашикали даже во втором амфитеатре...

Какой страшной была тишина перед первым выступлением Михаила Ермолаева! По жеребьевке он играл 71-м номером из 79. Первый тур близился к

[1] Среди сочинений М. Ермолаева две симфонии; концерт для альта с оркестром; «Подорожник» — 9 стихотворений Н. Рубцова для баса и ф-но; «Из поэзии Древнего Египта» — 5 романсов для сопрано и арфы; «День рождения Инфанты» — балет по сказке О. Уайльда (либретто Г. Абрамова); кантата для мужского хора «Из песен русских революционных рабочих».

концу, а лидер пока не определился. Но еще до начала прослушивания именно про Ермолаева говорили в «кулуарах»: верная первая премия (магическое воздействие его победы на Всесоюзном конкурсе). Народу в день его выступления было битком. Пришел и американец Майкл Лэвин, обронивший однажды: «Я приехал за первой премией, но знаю, что ее дадут Ермолаеву». Духота стояла невозможная. Под софитами маялась мокрая от жары и напряжения публика. Люди разве что не висели на балконах и не лежали в проходах. Кругом камеры — фото-, теле-, кино. Приоткрылась ведущая на сцену дверь, и оттуда тоже хлынул ослепительный свет — снимали исторический выход стопроцентного претендента... Ермолаев выходил как гладиатор. Хуже. Выходил с неподъемным бременем преждевременной славы на плечах. Мы сами погубили его лавиной надежд, возраставших по мере того как никто из пианистов на первом туре не проявил себя музыкантом выдающимся (победители конкурса: Питер Донохоу, Владимир Овчинников, Мичиэ Кояма ярко раскрылись лишь в последующих турах). Наверное, нужно было нечеловеческое усилие воли, чтобы вообще выйти в такой обстановке. А он еще и играл! Воля подавила музыку. Звук был одинаково густым, навязчиво-плотным во всех пьесах. Исчезли стилистические нюансы Бетховена, Шопена, Листа, Скрябина. Остался один Ермолаев, максимально сосредоточенный. Но это еще не значит, что в лучшем качестве.

В. Овчинников в интервью для «Комсомольской правды» сказал:

— Сплошь и рядом сравнивают конкурс со спортивным соревнованием. Общего действительно много. Можно говорить и о выдержке, и о воле, и об умении собраться... Но для музыканта очень важно к моменту выступления психологически раскрепоститься...

Позже выяснилось, что индивидуальность Ермолаева накладывает на любое исполняемое им произведение неповторимый отпечаток его личности. Он оказался музыкантом, вышедшим далеко за рамки конкурса. Может быть, хочется надеяться, наметившим перспективы развития тенденций конкурса имени Чайковского.

ЕРМОЛАЕВ: «Нет, специального оригинальничанья не было. Я не понимаю, что имеют в виду, когда говорят «как у людей». Так случилось, что я и композитор и пианист. Сознание с детства сформировано раздвоенным, что ли. Волей-неволей мое отношение к музыке вообще, в том числе и к фортепьянной, уходит из сферы чистого исполнительства. Может, поэтому я в чем-то ущербен как пианист. В том, как я играю, меньше всего рациональности. Играю, что слышу. В это, может, трудно поверить, и еще труднее это доказать. Есть много композиторов, превосходно играющих на рояле. Я не касаюсь Метнера и Рахманинова. Возьмем современных: Хренникова, Щедрина, Бориса Чайковского, Вайнберга, Свиридова, Бабаджаняна. Они играют собственные сочинения, но я бы многое отдал за то, чтобы послушать, как они играют другую музыку. Я никоим образом не сравниваю себя с этими выдающимися музыкантами, но и среди моих сверстников-композиторов тоже пианистов очень много: В. Рябов, В. Довгань, В. Лобанов, А. Чайковский, Б. Франкштейн. Они совершенно спокойно могли бы быть концертирующими, если бы у них был такой наставник, как Вера Васильевна Горностаева, который смог бы убедить их, что это нужно. Вот если бы мы все взяли и сыграли на этом конкурсе, степень интереса к музыке была бы другая... Как жаль, не сложилась такая традиция — не играют композиторы не свои произведения».

И все-таки, кажется, традиция начинает складываться. На прошлом, VI конкурсе Чайковского победителем стал пианист и композитор Михаил Плетнев, на нынешнем выступил Михаил Ермолаев (на втором туре он исполнил свое «Скерцино»). Голая виртуозность давно отошла на второй план, воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Слушателей все больше привлекает личность исполнителя. Многосторонняя, неожиданная. Духовная жизнь неповторимой личности затмила интерес к простой констатации нотного, пусть в ладу с замыслами автора сыгранного текста. Пусть будет «отягощающее разнообразие занятий». Вторичность исполнительского искусства, несомненно, гнетет думающего музыканта. Как раздвинуть рамки, складывавшиеся порой веками?

Эмма Тахмизян совсем не похожа на тех, кто «лабает» джаз. Но в одном интервью она неожиданно призналась, что играет джаз для себя, когда никто не слышит, чтобы «поговорить» с роялем один на один.

Джонатан Шеймс (дипломант конкурса), пианист-труженик, в репертуаре которого все 32 сонаты Бетховена, доработался на конкурсе до того, что сама музыка порой ускользала из-под его пальцев, и слушатели превращались всего лишь в зрителей, наблюдающих в совершенстве отточенные движения его рук.

Шеймс сказал: «Меня очень огорчает, что я не играю джаз. Не умею. А ведь, наверное, так прекрасно — импровизировать. Отличное упражнение для ума. Не помню, кто из известных музыкантов сказал: музыку хорошо анализировать, придумывая, как можно закончить ту или иную музыкальную фразу. Именно этим занимается джаз. Учит свободе».

Сколько технических огрехов готовы простить слушатели тем, кто сохраняет в произведении музыку, сумев одновременно раскрыть неповторимость своей личности. Пианисты МГУ не так часто выступают, чтобы как следует обыграть концертную пьесу. Но публика прощает технические погрешности. Ей важно другое — личность исполнителя, личность кандидатов экономических наук Лии Турусовой и Юрия Аджубея, биологических наук Марины Орловой, геолого-минералогических Вадима Бронгулеева, искусствоведа Виктории Хан-Магомедовой, доктора физико-математических наук Дмитрия Гальцова. Не так давно на нашем вечере, посвященном юбилею Моцарта, его скрипичный концерт исполнил профессор МГУ, лауреат Ленинской премии математик Василий Борисович Уваров.

Удивительны симфонические концерты, которые проводятся по инициативе дирижера Г. Рождественского. Вечер вальсов Штрауса, писанных им в Петербурге, с комментариями самого дирижера. Событием стала «Фантастическая симфония» Берлиоза с участием Беллы Ахмадулиной, декламировавшей на фоне притихшей музыки свои стихи.

Несколько лет назад в Доме композиторов состоялся вечер импровизации. Выступали исполнители народных песен, джазовые музыканты, участники ансамбля «Мадригал», классический пианист А. Любимов, давно и успешно ищущий новые пути в исполнительстве. Когда музыканты продемонстрировали импровизацию в рамках привычного для себя стиля, композитор С. Губайдулина выделила каждому

из них время, задала тональность, определила примерные правила и... все они заимпровизировали вместе! На наших глазах и, если можно так выразиться, ушах родилось новое произведение.

Стоит только посметь!

Когда Ермолаев на третьем туре играл 1-й концерт Чайковского, помимо наслаждения от музыки, возникала мысль: как он посмел? И тут же: как я ему завидую! Часть публики возмущалась: «Как можно т а к играть Чайковского!» Снова Ермолаев не лез ни в какие рамки, подчиняя условную нотную запись особенностям своего сложного музыкального мышления.

ЕРМОЛАЕВ: «Я не сторонник конкурсов. Более того, для меня этот конкурс — здоровенный щелчок по самолюбию, я не намерен это скрывать. Но выбора нет. Конкурс — это единственный способ выйти на очень широкую публику. Не играй я на конкурсе — не было бы трансляций по радио, по телевидению. Это единственный путь на сцену концертного зала. Конкурс не последний экзамен, за ним — еще более сложный: вся последующая творческая жизнь музыканта. Может быть, теперь у меня будет возможность играть на сцене, хотя бы иногда. Филармоническая жизнь в настоящее время организована так, что — в среднем проявлении — она не стимулирует выдающегося художественного результата. А публика, собственно говоря, не хочет идти в концертный зал слушать то, что в «консервированном» виде можно услышать по радио, телевидению, на пластинке. (А. А. Наседкин говорил о выступлении на конкурсе своего ученика В. Овчинникова: «Никогда телевидение не заменит живой зал. Многое при трансляции по ТВ теряется. Так, я удивился, насколько утратилось волшебство 2-го этюда Шопена, пропал тончайший звуковой образ».— Н. З.) Видимо, в каком-то смысле времена, когда не было записи, были более счастливыми. Люди приходили на концерт, как на праздник, на торжественное событие, зная, что нигде больше этого не увидят и не услышат. Как это вдохновляло исполнителя!»

Близилось объявление заветных результатов конкурса пианистов. В четыре часа утра (!) в Большой зал консерватории впустили толпу ожидавших, заполнившую весь партер.

...«Отдыхают» софиты, в зале лишь неяркий свет старинных бра: из золотой лиры всходят белые матовые колокольчики, два из них сникают к зрителям, третий бутон упорно не распускается вот уже второе столетие. Над амфитеатром портреты тех, чья музыка звучала на конкурсе: Баха, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Глинки. Чайковских два: второй его портрет — на сцене, под ним множество красных гвоздик. Сколько пианистов, прежде, чем положить руки на клавиатуру, с надеждой поднимали на него глаза...

В пятом часу утра на сцену выходит жюри. Его председатель О. В. Тактакишвили объявляет результаты. Первая премия — впервые за всю историю конкурса — не присуждена. А дальше — и это тоже впервые на конкурсе! — председатель, сняв строгую маску профессионального превосходства, от имени жюри характеризует каждого участника финала! Вот это воспитание публики! Вот это достижение просветительской цели!

— ...Зрелый, своеобразный артист Питер Донохоу, исполнивший четыре крупных произведения русской музыки — сонату Чайковского и его 1-й концерт, «Петрушку» Стравинского и 3-й концерт Рахманинова,— внес в них свое понимание, которое так отличается от того, к чему мы привыкли...

— ...Владимир Овчинников богато одарен природой настоящим пианизмом. Мы желаем ему дальнейшего совершенствования в постижении глубин музыкального текста. Пусть конкурс послужит ему хорошим трамплином...

— ...совершенно очаровала нас Мичиэ Кояма. Совсем еще юное существо, она сумела сделать удивительно много...

— ...Калле Рандалу — один из самых талантливых на нынешнем конкурсе. Это первый лауреат конкурса Чайковского из Эстонии. Он привнес в исполненную им музыку огромное благородство, большую артистичность и легкость. Удивительно тонким было его исполнение современной музыки. Он чувствует ее так же непосредственно, как и классику...

— ...Дмитрий Гайдук подкупил нас незаурядным природным талантом. Поразила легкость, естественность в прочтении Прокофьева. Всего каких-нибудь 20 лет назад такое исполнение этого композитора представителем юного поколения было невозможным...

И дальше — похвалы, критика, пожелания в адрес Марии Ровены Арриеты с Филиппин, Майкла Хьюстона из Новой Зеландии, Джеймса Барбагалло из США, Эммы Тахмизян из Болгарии.

Последним в списке было названо имя Михаила Ермолаева.

— ...Это, с моей точки зрения, музыкант разносторонне одаренный — и как композитор и как пианист. Он создал свою, неповторимую атмосферу музицирования, свой чистый мир музыки, огромный и очень логичный. К сожалению, не совсем удачное стечение обстоятельств помешало ему проявить себя в полную силу. Я выражаю ему свое глубочайшее уважение...

Последний в списке...

Я верю, что конкурс Чайковского, во всяком случае, его пианистическая часть, будет эволюционировать таким образом, что на нем все более будут цениться люди многосторонне одаренные, получившие возможность раскрыть все грани своей незаурядности.

А может быть, естественно возникнет еще один конкурс, где музыканты будут исполнять и свои собственные сочинения, играть в ансамблях, импровизировать на заданную тему, импровизировать каденции в моцартовских и бетховенских концертах. Музыканты сами выдвинут из своих рядов победителя. А публика, наконец, получит право присуждать свою собственную премию. И никаких страстей, кроме вдохновенных...

25 ЛЕТ КОСМИЧЕСКОЙ ЭРЫ

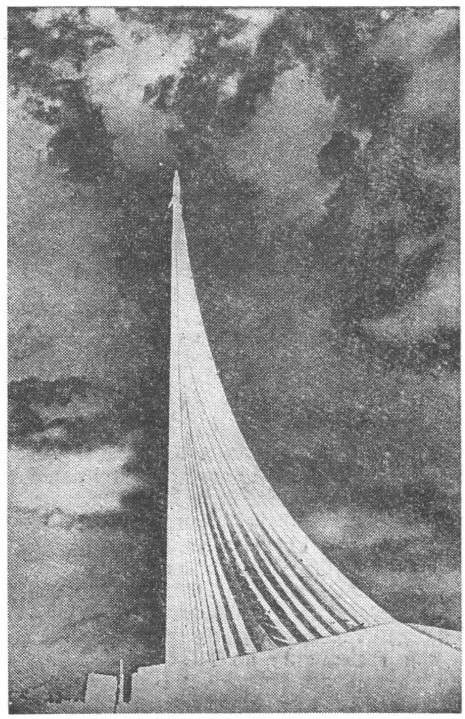


Фото Ю. Садовникова.

Интервью летчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, лауреата Ленинской и Государственной премий, профессора Константина ФЕОКТИСТОВА корреспонденту «Юности» Виктору БУХАНОВУ

ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Omni ex ovo, говорили древние, — все из яйца. Подразумевалась фауна земли: от рыбьей икринки и яиц земноводных до оплодотворенной яйцеклетки вершинного творения природы — человека.

Первое искусственное небесное тело, созданное и запущенное нашими соотечественниками, также представляло собой сфероид диаметром в 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма с четырьмя усами антенн. Из этого космического яйца и родилось все нынешнее космоплавание. По тоннелю, пробитому ракетой, вынесшей спутник за пределы земной атмосферы, хлынули впоследствии тысячи — уже тысячи! — его модифицированных и усовершенствованных собратьев, караваном потянулись пилотируемые человеком корабли, лунники всех мастей и назначений, космические лаборатории и обсерватории, межпланетные «Марсы», «Венеры», «Маринеры», «Вояджеры»... Ушли по тому же тоннелю ставшие магистральным направлением развития советской космонавтики долговременные орбитальные станции. На одной из них, «Салют-6», Попов и Рюмин жили и работали 185 суток — это всего через девятнадцать лет после исторических ста восьми минут Юрия Гагарина.

Короче говоря, маленький алюминиевый эмбрион с несложной начинкой — системой терморегулирования с азотным наполнителем, радиопередатчиком да источником энергии, рассчитанным на три недели, — оказался на редкость плодовитым в своей быстрой и многоплановой эволюции. Вот почему и до сих пор, по прошествии четверти века, мелькают в мировой прессе заголовки статей и обзоров типа приведенного здесь — «Все началось со спутника».

...Добрая половина читателей «Юности» родилась уже после того, как мой собеседник Константин Петрович Феоктистов побывал в космическом полете, — было это осенью шестьдесят четвертого. Тогда же и состоялось наше знакомство. Произошло оно в Сочи, где отдыхали в то время входившие в отряд космонавты, — и уже побывавшие в полетах (их было девять) и те, кому еще предстояло подняться на орбиту.

Три эпизода в биографии Константина Петровича поразили тогда мое репортерское воображение. Во-первых, — и это не домысел, а факт — он очень рано сориентировал свою жизнь. Еще десятилетним мальчишкой, одолев книгу «Межпланетные путешествия» и рассчитав годы предстоящей учебы, ученик четвертого класса Костя Феоктистов заявил, что полетит в космическое пространство в 1964 году. Не в качестве пассажира, а конструктором корабля. Вся дальнейшая его жизнь — что за этим стоит: воля? талант? стечение обстоятельств? — складывалась как неизбежное осуществление утвердившегося в детстве желания и тогда же поставленной им цели. Ориентация на МАИ, специализация в МВТУ, работа у теоретика ракетного движения профессора М. К. Тихонравова и фантастически затрудненный переход в конструкторское бюро, руководимое ставшим уже легендарным С. П. Королевым, — все это верстовые столбы, а подчас и барьеры на пути, не знавшем отклонений. Как видите, выстраданная и материализованная в яви мечта — финал не только сказочных историй о гадком утенке или Ассоль с ее алыми парусами...

— Константин Петрович, какова предыстория запуска спутника? Как случилось, что «великая победа человека, поворотный пункт в истории цивилизации» (Фредерик Жолио-Кюри), триумфальный приоритет в этой области выпал на долю именно нашего отечества? О своем намерении создать искусственный спутник США объявили еще в декабре 1948 года. Семь лет спустя ими же были широко разрекламированы планы запуска ИСЗ по программе Международного геофизического года. И вдруг...

— Не совсем вдруг. Руководители Академии наук СССР тоже заявляли о намерении провести запуски искусственных спутников. Но эти заявления в силу устойчивого стереотипа о безусловном технологическом лидерстве США особого резонанса не имели. И получилось, как заключило Юнайтед Пресс: «90 процентов разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю США. Но оказалось: 100 процентов дела пришлось на долю России».

— К слову о лидерстве. Спутник — дитя науки и техники. К тому времени, когда его запуск увенчал сорокалетие Октября — своего рода космическое эхо залпа «Авроры»,— мы вышли на гребень передовых достижений науки. Масштабы всеобъемлющего прогресса страны я проиллюстрирую всего одним примером: три четверти населения России были абсолютно неграмотны; к запуску же первого ИСЗ Советский Союз располагал четвертой частью всех научных работников мира. Так что все закономерно... Итак, для вас запуск спутника неожиданностью не был?

— Разумеется, нет. Ни для меня, ни для сотен и тысяч ученых, инженеров, техников... В середине пятидесятых я занимался в аспирантуре под руководством Михаила Клавдиевича Тихонравова, а затем работал в области теории движения межконтинентальных ракет. Было известно, что американцы разрабатывают ракету способную нести груз массой 5 тонн. Однако потом они снизили полезный груз вдвое, что позволило им существенно упростить ракету. Мы же в своей работе продолжали ориентироваться на максимум. Таким образом, ракета-носитель, выведшая первый спутник весом в 86 килограммов, могла доставить на орбиту и груз десятикратно больший что вскоре и было сделано...

— Я хорошо помню реакцию мировой прессы тех лет — от доброжелательных «советские люди подарили Луне бэби» и «слушайте звук, который навсегда разделяет старое и новое», до «шоковой волны, психологического циклона, опрокинувшего догму о техническом превосходстве США» и плача по «закату нашей сверхдержавной эры, вступления в ущербную фазу статуса второстепенной державы». В то время как прогрессивная Америка с доброжелательным изумлением открыла для себя новую Россию и поставила ее достижение в один ряд с такими событиями века, как расщепление атомного ядра и получение цепной ядерной реакции, другие люди США, кто не мог «примириться с положением, когда нуж-

СО СПУТНИКА

Во-вторых, был в жизни пятнадцатилетнего Феоктистова такой эпизод. Когда война летом 1942-го пришла в его родной Воронеж, Костя прибился к одной из воинских частей и в качестве разведчика несколько раз пересекал линию фронта. Пятое посещение «той стороны» едва не подвело черту всем его замыслам и самой жизни. Он получил пулю в упор от солдата в форме СС, пролежал ночь в яме, а потом переплыл с простреленным горлом речку Воронеж и добрался к своим. Мать нашла сына в армейском госпитале и увезла в Среднюю Азию, в Коканд.

Ну скажите, какого репортера, которому по штату положено быть «падким до сенсаций», не соблазнит такое вот романтическое своеволие и мужество подростка, ставшего впоследствии героем космоса?

Наконец, третье. После полета и возвращения Белки и Стрелки в орбитальной капсуле, к конструктивному созданию которой был непосредственно причастен и Константин Петрович, стало ясно, что в космос может лететь человек и что его, очевидно, там не встретит что-либо трагически непредвиденное. Одним из ведущих конструкторов космического первенца «Восток» был Феоктистов. Он же и предложил свою кандидатуру для первого орбитального полета. Логика простая: когда инженер-мостовик сдает в эксплуатацию мост, построенный по его проекту, и тяжелогрузный состав делает первый испытательный прогон, — автор проекта встает под фермы пролета, демонстрируя тем уверенность в своем детище.

Феоктистов заговорил на эту тему с Сергеем Павловичем Королевым — в тот раз Главный отнесся к предложению отрицательно. Дело в том, что по части здоровья Феоктистова никак не отнесешь к суперменам. Даже с парашютом прыгать ему не рекомендовали...

Кстати, именно в тот год у медиков впервые возник парадоксальнейший вопрос: а что, собственно, значит — абсолютно здоровый человек? С больными все более или менее ясно: опыт диагностики и лечения копился со времен Гиппократа и Авиценны. А вот здоровые... Врач и космонавт Борис Егоров говорил впоследствии, что в космос может лететь всякий практически здоровый человек, то есть без патологических отклонений от нормы, и лететь даже без подготовки — только расплачиваться за это придется дорогой ценой. Но бесспорно было одно: первый полет должен быть осуществлен человеком идеального здоровья, нерастраченных нервов и большого летного опыта. Этими качествами обладал Юрий Гагарин. Ими, увы, не обладал Константин Феоктистов.

И все же позднее Феоктистов в космос прорвался. Это был седьмой в нашей стране пилотируемый полет и первый — на многоместном «Восходе» с экипажем из трех человек: командир Владимир Комаров, научный сотрудник Константин Феоктистов, врач Борис Егоров.

Итак, Константин Феоктистов стал и останется в истории освоения космоса первым ученым, первым конструктором космического кораблестроения, совершившим орбитальный полет. Упомяну еще, что один из кратеров на обратной стороне Луны назван его именем.

но ложиться спать каждую ночь при свете коммунистической луны», незамедлительно принялись нагнетать атмосферу паники, недоверия, вражды. Показательно: реакцией американской биржи явилось катастрофическое падение акций.

— Да, если запуск спутника не был для нас неожиданностью, то полной неожиданностью стал тот оглушительный шум, который поднялся во всем мире: в Америке он принимал порой форму совершенно невообразимого ажиотажа.

— Константин Петрович, хотя бы в самом кратком обзоре: что принес космос Земле и землянам за четверть века общения с ним?

— Вопрос об экономической рентабельности космических исследований встал одновременно с их началом. Скептиков, как всегда в новом деле, было больше, чем энтузиастов, и голоса их звучали во всем мире много громче: говорили о дорогостоящем хобби ученых, кричали о неоправданных затратах на удовлетворение отвлеченного любопытства «яйцеголовых», то есть людей науки. В наших первых ответах порой проскальзывали нотки оправдания; приходилось убеждать доводом: время покажет, кто прав. Оно показало быстрее, чем мы думали. Проведу аналогию с самолетостроением. Ну кто во времена братьев Райт и Фармана мог представить роль авиации в жизни современного человечества? Однако уже Антуан де Сент-Экзюпери в художественном своем прозрении сравнил самолет с плугом. Новые космические средства тоже позволили «вспахать» целинные залежи непознанного. Номенклатура задач, уже сегодня решаемых космическими системами, исключительно многообразна: это — исследование природных ресурсов Земли, охрана окружающей среды, помощь сельскому хозяйству и лесоводству. Это связь и геодезия, навигация и метеорология. Влияние космических исследований можно проследить почти во всех сферах человеческой деятельности и увлечений, от здравоохранения до филателии...

— Известный ученый и писатель-фантаст Артур Кларк написал в 1946 году повесть, в которой предсказывал, что когда-нибудь весь земной шар будет охвачен радио- и телесвязью, и она станет своеобразной «нервной системой» планеты. А спустя двадцать лет он признавался: «Мне и не грезилось, что первые экспериментальные спутники связи выйдут на орбиту так скоро».

— Сейчас это уже не эксперимент, а хорошо налаженная рабочая система. Между тем сорока лет не прошло со времени выхода «фантастической» повести Кларка. Олимпийские игры в Мюнхене смотрели полмиллиарда человек, в Монреале—миллиард, Московскую Олимпиаду могли видеть полтора миллиарда. Сейчас абсолютное большинство землян приобщаются к сокровищам культуры, так сказать, вторично — через средства массовой информации. И когда рафаэлевская мадонна возникает на телеэкранах жителей древнего Ургенча, а золотой саркофаг Тутанхамона видят обитатели Тикси и Чукотки, такое трудно переоценить. Запуски спутников «Молния», «Радуга», «Экран» и «Горизонт» стали регулярными, и число их близится к ста. Так что недалеко время, когда будет создано единое информационное поле и никакие расстояния не послужат помехой.

— К теме рентабельности: известно, что строительство спутниковых станций системы «Орбита» обошлось в сто миллионов рублей и заняло около семи лет. Создание эквивалентной радиорелейной или кабельной системы передачи телевизионных сигналов потребовало бы нескольких миллиардов рублей и десятков лет работы... Такой вот еще вопрос: сейчас со все большей остротой встает перед человечеством экологическая проблема...

— Да, люди в промышленной своей деятельности ведут себя не самым благоразумным и предусмотрительным, мягко выражаясь, образом. В атмосферу выделяется все больше продуктов сгорания, углекислого газа, окиси углерода и азота, соединений серы. В ряде районов Земли бесхозяйственно уничтожаются леса — зеленые легкие планеты. Идет сильное загрязнение рек и Мирового океана нефтью и вредными химическими продуктами. Опасность представляет и неразумное обращение с ядовитыми веществами и радиоактивными отходами. Между тем мир тесен. Скажем, уголь жгут в Англии, а сернистые соединения скапливаются в атмосфере над Скандинавией... Пока поступающая от спутников информация свидетельствует о том, что меры по охране окружающей среды, увы, значительно отстают от темпов ее разрушения. Таким образом, именно космическая служба несет охранительные функции и поможет оценить угрозу экологической катастрофы в случае вредного антропогенного воздействия на естественную среду.

— Я понимаю, Константин Петрович, что разговор о роли космонавтики в различных сферах человеческой деятельности — тема для книги, а не для небольшого интервью...

— Да, конечно... Благодаря космонавтике возникли новые отрасли науки, скажем, внеатмосферная астрономия, которая позволит глубже проникнуть в тайны физических процессов Вселенной. Или космическая океанология: с ее помощью можно будет разобраться в «отопительной системе» планеты... Об одном лишь космическом производстве новых материалов, выращивании кристаллов теоретически любых размеров, получении сверхчистого стекла и особо чистых лекарств и вакцин можно рассказать очень много. Я уж не говорю о хрестоматийных примерах, когда космонавты указывают геологам наиболее перспективные по части полезных ископаемых районы — «копай здесь» (большую роль, например, сыграли спутники в открытии крупных месторождений железной руды в Западной Сибири и в Бразилии), или передают информацию о косяках рыбы в океане, или выступают в качестве лесного патруля, или загодя предупреждают о надвигающемся урагане...

Но есть еще и другая сторона взаимодействия системы Земля — Космос: обратное влияние космических исследований на экономику нашей планеты. Многие конструкционные материалы, созданные в ракетно-космической технике, нашли массовое применение в нашем земном быту: из них делают теперь стеновые панели, трубы, даже особо прочные лыжи. Амортизационное устройство экспериментального кресла для космонавтов находит применение в новых моделях легковых автомобилей, силу удара при скорости сто километров в час оно смягчает до величины, эквивалентной удару при скорости восемь. Даже ткани, созданные для космонавтов, начинают использоваться в производстве одежды обычного землянина. Достижения космической медицины входят в практику здравоохранения.

Вообще, выгоды, которые приносит космонавтика, трудно поддаются количественным оценкам.

— Однако такие попытки делаются. Есть подсчеты ряда зарубежных специалистов, которые исчисляют эту прибыль огромной суммой — порядка 250 миллиардов долларов.

— Каков бы ни был плюс-минус вокруг этой цифры, можно утверждать одно: космос возвращает свои долги Земле и вскоре будет приносить чистую прибыль. А затраты — ну что ж, без них не обойтись: прежде чем собрать урожай, всегда необходимо вспахать и засеять поле. И еще: дело не только в экономии средств. Главное в том, что быстро мно-

жится количество задач, которые вообще не могут быть решены никакими средствами, кроме космических. Поэтому экономические расчеты носят чисто условный характер и дают скорее заниженные, чем завышенные, результаты.

— Тогда подытожим эту часть беседы, Константин Петрович, словами Леонида Ильича Брежнева: «В выигрыше от космических открытий в конечном счете оказываются земные дела...» Кстати, земные эти дела отражаются в космосе как в зеркале...

— Космонавтика сделала свои первые шаги в годы «холодной войны», и закрывать глаза на генеалогию ракет не имеет смысла. Но для нас ныне важно не происхождение ракеты-носителя — важен вектор, по которому она движется сейчас и двинется завтра. Будет ли это мирное и благотворное проникновение в околосолнечное пространство, где природа, по выражению Циолковского, подарит человечеству «горы хлеба и бездну могущества», или же изощренный способ ядерного самоубийства?

— Хорошо известно, Константин Петрович, что военное ведомство США вынашивает планы создания космических станций с ядерным оружием на борту, оснащения их лазерными пушками... И выделить на это намерены 60 миллиардов долларов — в два раза больше, чем на полеты людей на Луну по программе «Аполлон». Заместитель министра обороны США Д. Стиверс недавно сказал: «Тот, кто имеет возможность контролировать космос, сможет держать под прицелом весь земной шар...» Вот так: цинично и без затей. Много лет назад вы говорили мне, что нельзя открыть дверь в новую сферу жизнедеятельности и тут же захлопнуть ее. Даже из соображений самосохранения. Так что же из этого следует?

— Войти в приоткрытую дверь, только с другими помыслами и другим снаряжением. Договориться между собой на Земле. Ибо на пути к звездам лежит Земля с ее противоречиями. Это не метафора, это голый и достаточно горький в наше время факт.

Политическая структура человечества разнородна, народы Земли находятся на различных ступенях развития — есть племена, живущие еще в каменном веке. Целые регионы страдают от голода, невежества, болезней. Достижения науки порой используются в корыстных политических целях.

Милитаризация космоса еще не началась. Мир только стоит перед ее угрозой. Но если США переступят порог и сделают шаг по превращению космического пространства в театр военных действий, они вынудят на ответную меру и нас. Поэтому, как недвусмысленно заявил год назад Леонид Ильич Брежнев: «Необходимо своевременно позаботиться о том, чтобы космос не превратился в арену конфронтации, чтобы не произошла милитаризация космоса... Космос может и должен быть мирным и только мирным».

— Да, из космических прогнозов следует исключить войну, ибо она, в свою очередь, исключает само будущее. Будем оптимистами и будем верить, что одержат верх благоразумие и воля народов к миру. Как в этом случае вы представляете себе, Константин Петрович, дальнейшее развитие мирного космоплавания?

— Я думаю, что в ближайшее обозримое время профессия космонавта может стать действительно массовой. Когда сейчас о ней говорят, что это «обычная работа в необычных условиях», есть еще в этом толика кокетства. Кто из молодых может представить себе всесветную славу Блерио или Чарльза Линдберга? А сейчас в летчиках ходят сотни тысяч. Эту скоротечность процесса освоения космоса очень рано ощутил Сергей Павлович Королев и уже 20 лет назад говорил, что все мы будем вспоминать о той поре с нежностью и сожалением, как об ушедшей юности.

...В ближайшие десятилетия может начаться индустриализация Луны. Если люди найдут целесообразным, они побывают на Марсе. Технически это достижимо и до конца нашего века, только необходимости пока нет. Очень заманчивы спутники Юпитера — разных размеров, различной природы и характера поверхности.

Надеюсь также, что за это время будет осуществлена идея космических электростанций,— один из самых эффективных способов получения ощутимой отдачи от ракетно-космической техники в интересах всех людей Земли. Ведь ежегодно сжигается огромное количество нефти и угля, что наращивает «парниковый эффект» атмосферы, да и запасы сырья не безграничны...

— Сергей Павлович Королев, которого вы так хорошо знали, говорил, что человечество порой напоминает ему субъекта, который, чтобы натопить печь, ломает на дрова стены собственного дома, вместо того чтобы съездить за ними в лес.

— Вот и следует обратиться к ресурсам Солнца, а не Земли. За последние 20 лет нефти добыто и сожжено больше, чем за всю предшествующую историю человечества. Но потребление энергии каждые 20 лет удваивается, и росту этому конца не видно.

Весьма перспективны космическая технология, космическое материаловедение, производство лекарственных препаратов и новых материалов для электронной промышленности — в первую очередь кристаллов и полупроводников. Во время последней экспедиции на станцию «Салют-7» с участием Светланы Савицкой начались эксперименты на установке «Таврия» по получению сверхчистых биологических препаратов...

— В свое время, Константин Петрович, женский космический отряд был расформирован. И вот спустя полтора десятка лет после этого в работе орбитального комплекса вновь приняла участие женщина-космонавт. Чем вы это объясняете?

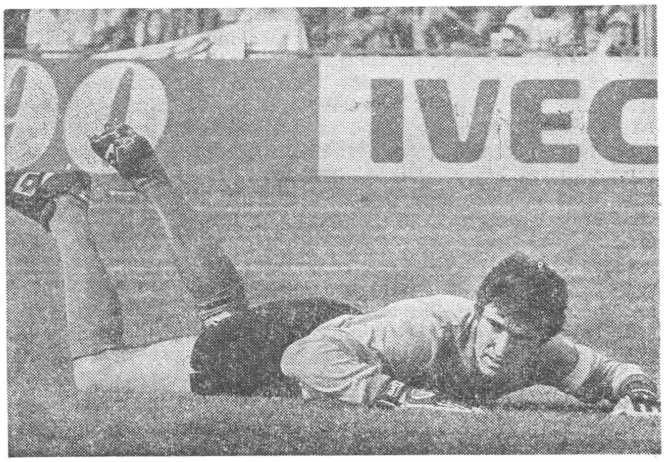
— Да просто тем, что у женщин столько же прав и оснований для участия в космических полетах, сколько их у мужчин. Пришло время едва ли не регулярных выходов на орбиту. И нет никаких причин откладывать дольше участие женщин в этой работе.

— Константин Петрович, цветы, которые «Эльбрусы» вырастили в своей космической оранжерее, были ими срезаны и подарены при прощании Светлане Савицкой. На космической «кухне» ей предложили фартук домохозяйки... Конечно, это шутка, но не находите ли вы, что присутствие на борту космического корабля одной или нескольких женщин способствует созданию психологического комфорта, микроклимата духовной полноты и гармонии?

— Ну, это ваше предположение я комментировать не берусь... Завершая же нашу беседу, могу сказать: завоевание Вселенной — вот цель, действительно достойная Человека. Начало этому и было положено нами 4 октября 1957 года. Первый запуск внеземного искусственного тела решил довольно скромные задачи. Вместе с тем он сыграл первостепенную роль своего рода катализатора колоссальных научно-технических достижений и породил огромное количество новых проблем космического, экономического и политического порядка, которые следует решать и которые продолжают множиться в геометрической прогрессии.

...А все началось со спутника.





ЛЕВ ФИЛАТОВ

ПОСЛЕ ФУТБОЛА



Придется напомнить, что в четвертой книжке «Юности» был помещен очерк под названием «До футбола». Теперь, в десятой,— «После футбола». Тогда автор оговаривался, что для журналиста гораздо ответственнее, а потому и интереснее писать после события (в данном случае это XII чемпионат мира по футболу, разыгрывавшийся на стадионах Испании с 13 июня по 11 июля). Итак, наступило желанное «после», что ж, сразу за дело, да так, чтоб быка за рога?! Все же одно обстоятельство и на этот раз необходимо оговорить.

Мои товарищи по профессии после окончания чемпионата немедля написали и опубликовали в газетах и еженедельниках свои впечатления, словом, сработали, как полагается, оперативно, звонко и хлестко. Читая эти статьи, я, признаться, чуточку завидовал их авторам, потому что в такой работе обязательно присутствует элемент соревновательности, кто быстрее, кто острее, кто оригинальнее, а соревновательность эта, если ее изведаешь, тешит душу журналиста, она в конечном счете и полезна нам, ибо поощряет умение быстро ориентироваться среди множества фактов и броско формулировать выводы.

Так вот, обстоятельство, которое хотелось бы оговорить, состоит в том, что в отличие от своих коллег, хотя я трудился в те же дни и, быть может, в те же часы, что и они, свои заметки представить на суд читателя смогу лишь много времени спустя, в октябре, когда футбольная тема уже будет остужена. А раз так, то прошу не упрекать в том, что здесь не разбирается подробно многое из опубликованного в печати по горячим следам чемпионата.

Например, резонные сомнения в возможности плодотворного единодушия пятерых тренеров, которые находились у руля нашей сборной вместо привычных двух: этот единственный в своем роде эксперимент начался удачно, однако, когда в ходе чемпионата настало время твердых решений, кого-то потянуло в облака, кого-то в воду, и без того мало ощутимая разница в званиях тренеров — «главный», «старший» — вовсе стерлась, и мы так и остались в неведении, кто же верховодил. Колкие замечания по поводу развлекательной программы для команды силами приданной ей артистической бригады и визита сразу всех жен футболистов в их спортивно-курортное расположение под Барселоной, что, несомненно, могло бы вдохновить опереточного либреттиста. Меткие укоры знаменитому Блохину за его стремление окриком, а не игрой завоевать себе на поле лидерство, повторенные и в зарубежной печати. Удивление по поводу безвольного поведения на поле Шенгелия, Гаврилова, Дараселия, Сулаквелидзе и ученических ошибок старательных Чивадзе, Бессонова, Демьяненко, Оганесяна. Сожаления, что тренеры не рискнули ввести в игру запасных — Суслопарова, Родионова, Андреева. Основательные сетования на то, что команда была отторожена от общения с журналистами и общественностью...

Хоть в чем-то у автора, пишущего в журнал, выходящий раз в месяц, и проигрывающего во времени, должно же быть преимущество: он получает право не публиковать в октябре то, что выглядело абсолютно обязательным для всех в июле.

Первые систематизированные обзоры чемпионата, естественно, посвящались советской сборной. Недоуменный вопрос сформулировался сам собой: как совместить удовлетворительное турнирное продвижение (5—12-е место, можно сказать, свое, не хуже, чем на других чемпионатах, где ранее бывала наша сборная) с неудовлетворительным впечатлением от ее игры? Что же все-таки — «уд» или «неуд»?

Этот вопрос казался самым животрепещущим в июле, когда собирались на заседания сведущие люди, которые, обменявшись мнениями, должны были проголосовать либо за «уд», либо за «неуд». Спустя два-три месяца отметка, уверен, уже не столь интересна. «Неуд» был выставлен и лег на полку поверх футбольных документов разных лет, принятых после других чемпионатов, где тоже значатся и «уды» и «неуды», ныне и вовсе позабытые.

Впрочем, иной оценки и быть не могло, ее успел выставить каждый из нас, не сговариваясь и не советуясь, не взвешивая «за» и «против».

Перед глазами стоит и, наверное, еще долго будет стоять, причем не в цветном, а в черно-белом изображении, матч с командой Польши, на котором прервался, как в тупике, турнирный путь советской сборной в чемпионате.

Нашей команде испанское небо благоволило. Припомним: шотландцы небрежничали во встрече со слабой сборной Новой Зеландии и пропустили два мяча, благодаря чему потом ничья с ними для наших обернулась победой; аргентинцы нежданно-негаданно разминулись с нашими, уйдя в другую группу; бельгийцы вышли играть со сборной СССР, потеряв все шансы, едва ли не ради формальности и скорее изображали, чем вели борьбу. Все эти знаки благорасположения выглядели напрасными щедротами, они не прибавляли нашей команде смелости, не пробуждали у нее стремления зажечься, собраться с духом и силами. Мы к тому времени порядком изверились в своих футболистах. И все же, как полагается истинным, верным болельщикам, продолжали надеяться. Прикидывали про себя: сумели же разыграться итальянцы, французы, поляки...

И настал вечер матча со сборной Польши, матча, в котором нашим светила только победа. Соперник был знаком давно и коротко, воспоминания о прошлых встречах тревожить не могли, скорее они должны были смущать и стеснять другую сторону. Да и, попросту говоря, силы были соизмеримы, никаких видимых преимуществ за польской сборной не числилось. А игра ведь стоила свеч!

Однажды у крупного художника, завзятого болельщика, я спросил, накладывает ли отпечаток профессия на его видение футбола. Он ответил: «Меня покоряет чистота линий. Если ее нет в игре, нет и радости».

На снимках (на стр. 100): герои чемпионата — сборная Италии. Вы видите и бросок Зоффа и торжество забившего очередной гол Росси.

Фото И. Уткина.

В этом матче, при всем желании, «чистые линии» обнаружить было невозможно. Сборная Польши, которую устраивала ничья, сосредоточилась на защите своих ворот. Инициативу не было нужды захватывать, она была преподнесена на блюдечке. И выяснилось, что наши футболисты понятия не имеют, как распорядиться этой уступкой. Все линии игры, если иметь в виду ее графическое выражение, шли вкривь и вкось. Общими усилиями имитировалось наступление, но оно было видимостью, главные наши бомбардиры Блохин и Шенгелия, от которых ждали голов, слонялись без дела. Задача польской сборной упростилась до минимума: ей полагалось уберечься от грубой ошибки, только и всего. Немудреная, наивная осада стала разваливаться, а ближе к концу вообще показалось, что ничью ищет наша команда, а не польская. Вместе с линиями движений оборвались и те невидимые, но точно ощущаемые и высоко ценимые зрителями линии, которые прочерчивают характер.

Так был сыгран матч, не то чтобы ничего не прибавивший к славе мирового чемпионата, а даже что-то отнявший у нее.

Что же все это значило? Где привлекательная для глаза, острая комбинационная игра, которую, как мы привыкли верить, умеют прививать тренеры К. Бесков и Н. Ахалкаци? Где быстрота и сила, вроде бы гарантированные присутствием В. Лобановского, знатока тренировочных программ? Где, наконец, живой интерес футболистов к своему дебюту на мировой сцене, казалось бы, такой естественный для честолюбивой спортивной души? И неужто им не приходило в голову, сколько нас возле телевизоров и каково нам?

Золотой Кубок мира один. Но с чемпионата команды уезжают по-разному. Чтобы назвать те, которые покидали Испанию с чувством исполненного долга, потребовался бы длинный список. Включить в него нашу сборную рука не поднимется.

Тут нам самое время разобраться, каков же был XII чемпионат. Настоятельность этого пусть несколько общего вопроса возникла после знакомства с интервью в одной из газет, мелькнувшим в том же горячем июле.

Там мы прочитали следующее:

«На чемпионате против ожидания было мало настоящей, красивой, футбольной игры».

«В профессиональном смысле, с точки зрения высшего мастерства, чемпионат оказался довольно средним».

«Увы, сейчас нет новых Пеле, Беккенбауэров, Яшиных. И футбол явно испытывает творческий застой».

«Марадона и Зико не проявили здесь уровня мастерства, на который рассчитывали зрители и специалисты».

«Что касается каких-то новых идей в тактическом и техническом плане, их, к сожалению, не было».

Озаглавлено интервью уклончиво — «И все-таки праздник». Праздник, но, так сказать, с учетом критики.

Совершенно ясно, что в ходе длительной (целый месяц) и разной по достоинствам (24 команды) футбольной фиесты очевидцу легко впасть либо в преувеличенный восторг, либо в снобистский скепсис, либо попеременно изведать и то и другое. Так случается с нами, когда впечатления неоднородны, противоречивы, да если еще ход турнирных событий опровергает не только наши сердечные симпатии, но и представления, составленные по зрелом размышлении. Это потом, со временем, все должно улечься, отстояться, объясниться, принять форму нескольких абзацев, в которых уместится вся суть. Так что, вообще говоря, на первых порах нам многое простительно.

Тем не менее это интервью не перелистнешь с понимающей улыбкой по той чрезвычайно серьезной причине, что дал его газете вице-президент ФИФА, начальник Управления футбола Спорткомитета СССР, кандидат педагогических наук Вячеслав Колосков. Оставим в стороне ФИФА, это, что называется, не наша компетенция. Обратимся к советскому футболу. А с этой точки зрения подобные отзывы о чемпионате и о состоянии мирового футбола выражают уже не личное вкусовое восприятие, а приобретают и некий программный характер.

Мне неизвестно, чтобы в каких-либо краях, ближних или далеких, всерьез исследовался вопрос: что есть футбол, игра или дело? А у нас он существует, и не первый год. Конечно, в открытую предмет спора не объявляется, на сочувственное понимание широкой аудитории у сторонников чисто делового подхода к футболу надежд нет. Поэтому его всячески камуфлируют. То фразами о том, что цель (спортивный результат) оправдывает любые средства и что команда — это машина, обязанная обеспечивать требуемый итог. То терминологией, заимствованной из научно-популярных брошюр, которая должна создавать видимость умения тех же сторонников делового подхода проникать в атомные глубины футбола, что не дано, скажем, полутора миллиардам простых смертных, летом целый месяц, затаив дыхание, не отрывавшихся от телевизоров.

Если свести воедино претензии и обиды наших болельщиков в связи с чемпионатом мира, то их можно было бы назвать так: «Дело о пропаже у сборной страны летом 1982 года игры, которая была в наличии осенью 1981 года». Даже не конечный счет того или иного матча коробил зрителей, а аморфность игры нашей команды, тем более досадная, что она резко контрастировала с активным и стройным образом действий большинства других команд.

«Дело о пропаже» может быть рассмотрено локально. Тогда речь должна идти о вполне конкретных вещах. Например, о программе подготовки команды, которая вопреки многолетней, привычной и испытанной практике работы зимой и ранней весной на своих стадионах, в нелегких условиях осуществлялась главным образом через туризм на зарубежных полях, в разного рода турне, с матчами скорее расслабляющими, чем закаляющими. Или о неумении тренеров обеспечивать наилучшую спортивную форму игроков к нужному сроку. Это ведь просто удивительно, что Блохин, Шенгелия, Гаврилов, Чивадзе, Оганесян, Сулаквелидзе, Дараселия, блиставшие в конце прошлого сезона, спустя полгода сразу все выглядели потерянными, разучившимися, забывшими все, что умели. (Ради такой с позволения сказать подготовки были принесены в жертву все три наших ведущих клуба — киевское и тбилисское «Динамо», «Спартак», которые за время отсутствия своих тренеров сползли на средний уровень.) Или о малодушном отступлении тех же тренеров от своих собственных взглядов (осени 1981 года) и вдруг в наиболее ответственный момент вменивших в обязанность команде оборонительное самоограничение, игру «деловую», только на результат.

Но что-то не позволяет замкнуть круг в рассматриваемом «деле». Не позволяет память. Она повелевает обратиться к 1976 году, когда превосходно игравшее годом раньше киевское «Динамо», избрав для себя тот же, самый льготный и приятный во всех отношениях, метод подготовки на зарубежных

стадионах и в турне, растеряло все, что имело, и опростоволосилось на олимпийском турнире в Монреале. И к печальной памяти матчу 1970 года СССР — Уругвай, последнему матчу в чемпионатах мира перед долгим, 12-летним перерывом, где нашими (вот уж парадокс!) был применен оборонительный вариант против засевших в окопах уругвайцев, матчу, чрезвычайно схожему по своей бесцветности с матчем СССР — Польша. Криминалисты сказали бы: знакомый почерк.

И мы снова утыкаемся в свою проблему.

Так что же есть футбол: игра или дело? В широком смысле слова, если брать все аспекты, а в футбольном занятии их немало, то, разумеется, и игра и дело. Если же выделить зеленый прямоугольник поля с двумя командами на нем, состязающимися перед зрителями в течение полутора часов, то, конечно, игра. Впрочем, наше «конечно» наверняка у кого-то вызовет и ухмылку и даже раздражение: «опять журналист красивыми фразами норовит приглушить наисовременнейшие тенденции». Эти «кто-то» — лица отнюдь не таинственные, они составляют значительную часть тренеров и руководителей наших клубных команд, тех, от кого в первую очередь зависит, в каком облике является перед нами на стадионах футбол. Они, считающие себя реалистами, рационалистами, смотрящими в корень, чуждыми иллюзий, убеждены, что футбол есть дело как за пределами поля, так и в его белых линиях. Дело для них состоит в том, что надо набирать очки, занимать запланированные места, забивать минимально необходимое число голов в чужие ворота. Игроки обязаны трезво представлять себе все свои задачи, знать, например, что дома полагается взять два очка, а в гостях недурно поживиться и одним. Все это надо уметь осуществлять просто, без затей и фантазий, ибо результат — превыше всего, по нему и оценки и милости. Если же сии стратегические расчеты вдруг идут насмарку, то выручают спасительные коррективы, можно при случае взять в долг у других команд недостающие очки, сгонять «договорную ничью». Вот и вся мудрость футбольных практиков, а остальное, в том числе и рассуждения о красивой игре, как они считают,— от лукавого. Быть бы живу. И живут. Даже припеваючи.

Примеры, опровергающие такой подход к футболу, фигурально выражаясь, заносятся на мемориальные доски, их вспоминают в торжественных случаях, но руководством к действию они не становятся. Словно примеры эти не наши, не близкие, а взяты в тридесятом государстве.

Киевское «Динамо», выигравшее Кубок кубков в 1975 году, тбилисское «Динамо», добившееся того же успеха в 1981-м, «Спартак», ставший чемпионом страны в 1979 году, сборная команда страны осенью 1981 года, эффектно победившая в отборочном турнире чемпионата мира, наконец, минское «Динамо», вопреки всем табелям о рангах пробившееся в лидеры в ходе нынешнего первенства страны. Они разные, все эти команды, одни выше классом, другие ниже, каждая со своими достоинствами и уязвимыми местами, однако их объединяет и ставит на одну доску то, что они имели игру и были верны ей из матча в матч. Характерная игра — игра как разумная человеческая общность — заметно выделяла их среди других команд, занимавшихся «делом», и вознаграждала без ухищрений желанными победами и вниманием благодарной аудитории.

Все это должно было бы становиться капиталом, богатством нашего футбола, вызывать потребность у тренеров и мастеров пытать счастье на тех же дорогах. Однако завоевания эти стоят особняком, как некие примечательные исключения из правил, о которых небезынтересно порассуждать на досуге, но следовать которым не обязательно.

Безыгровое, чисто деловое существование футбола вполне устраивает многих. Попробуйте определить, в чем изюминка игры (точнее бы сказать, службы) ЦСКА, «Торпедо», «Шахтера», «Днепра», «Нефтчи», «Черноморца», «Кайрата», «Кубани», «Зенита», «Металлиста», московского «Динамо». Вам это не удастся, команды эти более схожи, чем различны.

Поэтому, возвращаясь к интервью, остается только удивиться уничижительной оценке: «Было мало настоящей, красивой, футбольной игры». Спору нет, какого-то сверхгурмана может не устроить игра сборных Бразилии, Италии, Аргентины, Франции, ФРГ. Дело вкуса. Но как же не увидеть, что и эти команды и другие, в том числе новички — сборные Алжира и Камеруна, первым, непременным, естественно-обязательным условием своего существования полагают верность определенному игровому направлению?!

Этот чемпионат мира, как никакой из прежних, привел наибольшее число доказательств в пользу необходимости ясной, совершенной командной игры, показал, что образцы тотального ведения игры, предложенные ранее голландцами, развиваются командами разных стран на свой лад. В этом смысле не две-три команды можно ставить в пример, как некогда, а сразу многие.

Наверное, при прогрессирующем, подчеркнутом внимании ко всеобщему коллективному маневру как-то меняется и роль звезд. Они становятся, я бы сказал, командnее, больше, чем прежде, играют на других. Еще Пеле на чемпионате 1970 года, войдя в зрелый и мудрый возраст, показал себя в ином свете, не столь бросался в глаза, как в юности, был со всеми наравне, оставаясь великим мастером. Может быть, как раз причина относительной неудачи на этом чемпионате поразительно одаренного молодого аргентинца Марадоны и состояла в том, что он несколько переоценивал себя, горячился, не смог влиться в игру партнеров. С другой стороны, такие игроки, как бразильцы Зико, Сократес, Фалькао, Эдер, итальянцы Росси, Конти, Тарделли, Кабрини, аргентинец Ардилес, поляки Лято и Бонек, француз Жиресс, все свои подвиги совершали в пределах общей командной игры, оставаясь звездами. Они не мельче и не тусклее, чем их легендарные предтечи на мировом футбольном небосклоне, но они больше тяготеют входить в созвездия. Так что читать о том, что «футбол явно испытывает творческий застой», как-то даже неловко. Начинаешь думать, не потому ли это сказано, что на миру и смерть красна?

Умалением достоинств чемпионата мира можно достичь только обратного эффекта на наших стадионах. Зацепятся за эти высказывания те люди, кому они выгодны, и ухмыльнутся: «Все плохо играют, у всех застой, чего с нас-то спрашивать?!»

Нет уж, футбольный нигилизм в мировом масштабе был бы для нас непозволительной роскошью, добра от него не дождешься.

Пока показывали по телевидению чемпионат мира, люди охотно сходились, чтобы обменяться впечатлениями. Мне часто приходилось слышать: «Знаете, что там я, моя жена (мать, сестра, дочь) спать не ложилась, говорила, что театра не надо, а раньше и не знала ничего про футбол...» Женщина призывалась в свидетели увлекательности, зрелищности, драматичности игры, некогда созданной мужчинами для самих себя, в свидетели полного успеха многосерийного футбольного телефильма.

Это был большой спектакль, сочиняемый на на-

ших глазах, развязку которого не знали ни мы, зрители, ни люди, его творившие. Позорно прогорели со своими прогнозами все компьютеры, и, наверное, из миллиардной аудитории лишь единицы, да и то по чистой случайности, либо по неведению угадали, кто же станет чемпионом.

Не было другого чемпионата, который бы так вводил всех в заблуждение, очаровывал и разочаровывал, заставлял бы газетчиков и телекомментаторов без конца твердить про сюрпризы и сенсации. Педантов (а в какой сфере их нет?), людей традиционного мышления, вся эта кутерьма должна была шокировать. Но если смотреть без шор, то экстравагантные выходки старого футбола, имеющего репутацию в определенной степени консерватора, не что иное, как проявления молодости его души, обещание в будущем показать еще не то, еще похлестче. Если же выразиться прозаичнее, то мы стали свидетелями того, что повсюду чувствуется стремление играть победоносно и классно, по последней моде. Да, победа алжирцев над сборной ФРГ, ничьи камерунцев со сборной Италии и Польши и гондурасцев со сборной Испании летом этого года застали всех врасплох. Но кто поручится, что такого рода результаты не повторятся? Уже сейчас мы вправе сказать, что мир игры становится все более тесным, все более круто замешанным.

Этот чемпионат, кроме всего прочего, разыгрывался еще и без каких-либо предрассудков. Даже компьютеры были им не чужды, когда предсказывали призовое место сборной Испании, будучи заряженными информацией о том, что она, играя на своих стадионах, получит какие-то дополнительные преимущества. В одном случае пророчество оправдалось, когда в ворота сборной Югославии испанцы забили неправедный пенальти (нарушение произошло до линии штрафной площади), что помогло им выиграть матч. Ни в чем другом хозяева поля при всех своих амбициях и бурных вспышках темперамента, при неистовстве родных трибун проявить себя не смогли и остались в тени, что соответствовало сравнительно невысокому классу их игры. И произошло это по той простой причине, что все без исключения команды, с которыми встречались испанцы — сборные Гондураса, Югославии, Северной Ирландии, ФРГ, Англии,— держались на поле с достоинством, даже не подозревая, что они «гости», которым полагается вести себя смирно и опасливо.

Я назвал причину «простой». Так оно и есть, если футболисты и возглавляющие их треперы сильны духом, верят в свою игру, не капитулируют заранее, выходя на «чужой» стадион. И как тут не вспомнить, сколько вреда нашему футболу нанесла и продолжает наносить культивируемая сторонниками делового подхода к игре «выездная модель», являющаяся одним из самых губительных предрассудков. Не счесть матчей, проигранных нашими ведущими клубами в европейских турнирах из-за предусмотренного отказа от активности на этих самых «чужих» полях, выросших в воображении многих тренеров в страшное пугало. Подозреваю, что эти тренеры сделают вид, что не заметили, как играли против испанцев все их противники, отмахнутся от этого наблюдения, как от пустячного. Потому и захотелось привлечь к нему внимание.

Другой предрассудок, по которому на этом чемпионате был нанесен особенно чувствительный удар,— это почтительное отношение к авторитетам. Применительно к футболу почтительность выражается в готовности уступить дорогу этому самому авторитету, в тайной ублажающей мысли, что проигрыш в этом случае не зазорен. На первый взгляд такую уступчивость понять можно, она имеет реальные предпосылки. И все-таки долгое знакомство с футболом убеждает, что и это предрассудок. Вся власть игры над нами, вся ее магия, скорее всего, состоит в том, что мы не знаем ее до конца и, можно надеяться, не будем знать. Мы правильно делаем, что ищем в ней логические закономерности, исследуем ее вдоль и поперек, ведем подсчет всем преодоленным километрам, ударам, передачам. Это расширяет наши познания, помогает становлению больших мастеров. И все-таки то и дело бывают матчи или ситуации, объяснить которые с помощью простеньких нравоучений и четырех правил арифметики невозможно, остается только развести руками и вздохнуть: «Что поделаешь, это — футбол!» В игре, счет которой всегда мал (футбольный счет!), многое непоправимо. От этой непоправимости никто не застрахован, даже самые знаменитые команды. Но чудеса происходят, конечно, в том случае, если их ищут.

В первом же матче, матче открытия, сборная Бельгии, как позже выяснилось, не лучшим образом подготовившаяся к чемпионату, нанесла поражение чемпионам мира — аргентинцам. И пошло-поехало: неожиданность за неожиданностью, все смешалось. Во второй стадии двенадцать оставшихся команд оказались распределенными по группам совсем не так, как ожидалось, раньше срока сошлись пути Бразилии и Аргентины, ФРГ, Испании и Англии, тех, в ком видели наиболее вероятных призеров. Разбирая осечку команды с высокой репутацией, обычно говорят: «Если бы ей дать сыграть с тем же противником еще десять матчей, она бы все выиграла». Как знать, может быть, и выиграла бы. А вот один — проиграла! И это и есть футбол.

Не забудем, что и советская сборная в самом первом своем матче с бразильцами (о них речь впереди) долгое время играла безбоязненно, без тени почтительности к трехкратным чемпионам мира, до 75-й минуты имела шансы на выигрыш и до 87-й на ничью. Только потом стало ясно, команде какого класса она противостояла. В последующих матчах эта ее прекрасная решительность испарилась, и у нее пошла игра без игры, только на результат, а значит, и с почтительностью к противникам, иногда вовсе не обязательной. Отсюда и печально знакомые уклоны в сторону оборонительных, приспособительных вариантов.

И чтобы завершить разговор на эту тему применительно к внутренним делам, скажу о том, что предрассудок чрезмерной почтительности дает себя знать и в нашем чемпионате. Мне кажется, что лидер нашего футбола, киевское «Динамо», давно и заслуженно завоевав себе авторитет, испытывает на себе его оборотную сторону. Так повелось, что с ним далеко не каждый наш клуб играет всерьез, особенно на его поле, и какую-то часть турнирных очков он получает автоматически, в виде процента с авторитета. Попросту говоря, с ним не рискуют связываться, тем более, что ни у кого не повернется язык упрекнуть за проигрыш ему, а уж за ничью так даже похвалят. Говоря об этом, я ни в коей мере не собираюсь поставить под сомнение достижения динамовцев в чемпионате страны и розыгрыше Кубка СССР. Просто возникает вопрос: не этой ли почтительностью соперников на внутреннем фронте объясняется удивляющая и разочаровывающая невыразительность выступлений лучшего нашего клуба на фронте европейском? Достаточно ли закаленным включается он в розыгрыши Кубка европейских чемпионов?

На чемпионате мира были сыграны два матча, которым обеспечена долгая жизнь и в памяти очевидцев и в исторических очерках. Один из них Ита-

лия — Бразилия (3:2). Рассказывают, что итальянцы предусмотрительно заказали себе места на самолет на следующий день. Любой из нас отнесся бы к этому как к разумному шагу, никому и в голову не приходило, что бразильцы могут оказаться побежденными, тем более, что в этой встрече в их пользу была и ничья. К этому дню бразильцев повидали в деле с шотландцами, новозеландцами, аргентинцами, восхищение их игрой нарастало, им дружно прочили Кубок мира, их сравнивали с классическими бразильскими командами — чемпионами мира 1958 и 1970 годов.

Кажется, все согласны с тем, что бразильцев, будь то сборная, клуб, команда юниоров, смотреть всегда интересно. У них собственный подход к футболу. Даже не верится, что игру изобрели англичане, а не бразильцы, настолько она им пришлась и по душе и по фигуре. Следя за любой другой, даже превосходной командой, мы легко различим, как она напрягается, как старается, как целеустремленно осуществляет все то, что поставила себе целью, мы видим ее мускулатуру в движении, ее силу, ее скорость, ее выносливость, словом, одновременно с игрой нам открывается весь футбольный труд. У бразильцев все это остается невидимым. Все это есть, но скрадывается, вуалируется мягкостью, непринужденностью, легкостью, грацией, вкладываемыми во все, что они делают на поле. Даже бег у них особый, летящий, с едва заметным касанием земли. И только в самый необходимый, решающий, последний момент, будь то рывок, прыжок, удар, все это изящество разряжается силой, как выстрелом.

Вот такие единственные в своем роде бразильские мастера, все как на подбор, составить компанию которым мог разве что Пеле, и метили в чемпионы. Правда, внушал подозрения вратарь, да и центральные защитники допускали вольности. Команда не могла этого не знать. Но она была настолько уверена в своей способности легко исполнять наиболее сложное — забивать голы, что без тени сомнения выходила на поле, кто бы ей ни противостоял. С таким же настроением вышла она играть и с итальянцами.

И тут произошло то, перед чем должны смолкнуть все наши разумные, поучительные, служебные речи. Матч этот стоит выше учебного разбора. Футбол тут выглядел больше, чем игрой, он обернулся драмой.

Помните: 1 : 0, 1 : 1, 2 : 1, 2 : 2, 3 : 2? Так шло действие. Итальянцы дважды забивали, бразильцы дважды сквитывали. И когда за четверть часа до конца итальянцы в третий раз вышли вперед, бразильцы снова отправились атаковать, нимало не сомневаясь, что им это удастся. Бразильцы весь матч провели, считая себя более сильными, они терпеливо и снисходительно сносили удары. Это не было высокомерием или наивностью, они всегда не прочь дать поиграть и противнику. Но надо же было случиться, что этот противник в тот день проведет свой матч даже не года, а десятилетия! И что маленький центрфорвард итальянцев Росси, на котором и рубашка-то висела, словно его размера не нашлось, о ком, особенно в сравнении со многими могучими мужчинами, находившимися на поле, хотелось сказать: «В чем только душа держится»,— переживет свой звездный час и забьет все три мяча в ворота бразильцев! Ничего нельзя было угадать и предвидеть в тот день, матч вышел из повиновения логике, стал столкновением душевных сил, и неистовая душа невероятно проворного и остроглазого Росси восторжествовала, в ней выразился порыв всех его товарищей. Вот какой он бывает, футбол!

Потом был сыгран еще один выдающийся матч, тоже чисто человеческая драма: ФРГ — Франция. С дополнительным временем, с серией пенальти. Обе стороны были равны перед футбольным богом, но в самое последнее мгновение он взял и отвернулся от французов.

Обычно решающему финальному матчу придается особое значение, по нему как бы выставляется оценка всему чемпионату. На этот раз он не представлял большого интереса. Сборная ФРГ выглядела выдохшейся, играла через силу, с надрывом, а ее противник, сборная Италии, была и свежей и вдохновенной и непринужденно победила. Поговаривали, что французы в финале сыграли бы интереснее. Не думаю. И их ведь опустошил и вымотал предыдущий матч.

Чемпион мира — сборная Италии. Все правильно, турнирный путь ее безупречен, без сучка и задоринки. Игра на малых оборотах в первом групповом турнире, когда даже Росси казался фигурой бледной и необязательной. И вдруг на больших — в остальных четырех матчах, и все увереннее, тверже. Игровой класс, прежде затаенный, лишь угадываемый, прорвался наружу, стал очевидным.

Наверное, читатель почувствовал, что сейчас появится «но». Что же мешает обойтись без него? Мешают сложившиеся на протяжении ряда лет впечатления от «Скуадры адзурры». Понятия не имею, какова она была в довоенные годы, когда дважды становилась чемпионом мира. Однако в наше время итальянская сборная, несмотря на свои достижения (чемпион Европы 1968 года, второй призер чемпионата мира 1970 года) и на класс своей игры, никогда не рассматривалась как образец для подражания. С ней считались, она для всех была нелегким противником, но радостные и пытливые взоры наблюдателей тянулись к командам Бразилии, ФРГ, Голландии, Аргентины, у них искали и находили черты новизны, по их игровому опыту судили о перспективах и генеральном пути мирового футбола. А итальянцы слыли — и это звучало с интонацией осуждения — откровенными сторонниками оборонительного направления. Так и было, хотя это вызывало удивление, если принять во внимание их темперамент, их высокую технику.

Что же тогда знаменует собой их нынешняя полная победа? Означает ли она, что развенчаны и опровергнуты все те, кто считал своим предназначением вести постоянную игру в атакующем ключе — сборные Бразилии, Аргентины, ФРГ, Франции? Или, может быть, итальянцы пересмотрели свой стиль, внесли в него важные поправки, а мы еще не сумели их понять и оценить? И как они себя поведут в дальнейшем, получим ли мы подтверждения их чемпионского класса, такие же, которые нам предъявили аргентинцы, несмотря на все их неудачи? Пойдет ли кто-нибудь их путем?

Вряд ли кому-нибудь по силам уже сегодня ответить на эти вопросы. Требуется время.

Вот какой выдался этот чемпионат под двенадцатым порядковым номером! Неожиданный, сложный, неоднозначный. И увлекательный весь, с начала до конца, как ни один из одиннадцати предыдущих. Трудный для элементарной оценки. И необычайно интересный и содержательный во многом, в очевидном и в не очевидном.

Пройти мимо его уроков для нас значило бы обречь себя на отставание. Оттого мне и показалось нужным защитить этот чемпионат от попытки его умалить.

ИЗОТ ЛИТИНЕЦКИЙ

НА ПОРОГЕ МАЛОИЗВЕСТНОГО МИРА

Человек освоил — вернее, осваивает — мир света, цвета и звуков. А вот запахи, которые окружают нас со дня рождения, сопровождают всю жизнь и оказывают огромное влияние на наше мироощущение, еще мало изучены. Более того, ученые до сих пор не знают, какова природа запаха, какова связь между ним и химическим строением вещества; недостаточны их знания и о механизме восприятия запахов нашим органом обоняния.

Сами же мы обычно считаем наш обонятельный анализатор — попросту говоря, нос — третьестепенным органом чувств и начинаем ценить лишь при сильном насморке, когда самая вкусная пища становится пресной и смолистый воздух соснового бора, запах свежескошенного сена, любимых цветов уже более не волнует, не радует...

Между тем наш нос — и особенно органы обоняния ряда зверей и насекомых — это удивительные творения природы. Они уникальны по своей поразительной чувствительности, избирательности, надежности и быстродействию. Таких устройств для восприятия и анализа запаховой информации нет в современном арсенале измерительной техники, средств автоматики. Здесь пока (заметим в скобках: как и в ряде других областей) вне конкуренции мастерство, изобретательность природы.

А сколько интересных возможностей открылось бы в различных областях науки, техники и производства, если бы удалось создать по природным образцам широкую гамму высокосовершенных запаховых датчиков, запахоанализаторов (хеморецепторов), систем дистанционной химической сигнализации и других искусственных «обонятельных» устройств. В них давно испытывают острую потребность химическая, пищевая, парфюмерная и фармацевтическая промышленность. Они нужны геологам для разведки полезных ископаемых, медикам — для диагностики ряда скрытых заболеваний человека и животных, криминалистам, исследователям далеких планет и гидрокосмоса, сейсмологам и вулканологам — для повышения точности прогнозирования подземных бурь и вулканических извержений, специалистам, занимающимся разработкой эффективных методов и средств защиты воздушной и водной среды от загрязнений, и даже ученым, изучающим историю Земли. Добавим, что такие устройства могли бы применяться (и кое-где уже применяются и приносят немало пользы) в разных отраслях сельского хозяйства, в борьбе за осуществление общенародной Продовольственной программы.

Понять и объяснить, как устроены, как работают естественные хеморецепторы,— задача чрезвычайно трудная. Академик И. П. Павлов называл проблему запахов одной из наиболее сложных в физиологии.

И вот за ее решение лет пятнадцать назад принялась бионика. Что же здесь конкретно достигнуто?



Рисунки И. Оффенгендена.

Никто сейчас не может сказать, когда именно первые живые организмы на нашей планете начали улавливать молекулы особых химических веществ. Однако, читая великую Книгу зарождения и развития жизни на Земле, можно предположить, что это произошло задолго до появления первого глаза и первого уха,



за много тысячелетий до того, когда животные начали выползать на сушу из своей колыбели — Мирового океана. Такое предположение кое-кому может показаться парадоксальным. Но первые живые организмы, плававшие в архейских морях и океанах, в покрывавшем Землю первичном бульоне, должны были обладать чувством обоняния, способностью как-то реагировать на различные растворенные в воде химические вещества: уплывать прочь от вредных соединений и отыскивать такие, которые служили им пищей. Хеморецепция, таким образом, была охранительным свойством, которое помогало организму выжить. В процессе эволюции организмов хеморецепторы усложнялись и специализировались. У высокоорганизованных животных хеморецепция дифференцировалась на восприятие запаха и вкуса.

Один из крупнейших современных исследователей проблемы обоняния и запахов, английский ученый Р. Райт, в своей книге «Наука о запахах» пишет: «Если функция мозга заключается в регуляции жизнедеятельности организма на основе полученной информации, то очень похоже, что интеллект зарождался как аппарат для обработки обонятельных сигналов от химических веществ, окружавших наших предков в первобытном океане». Если это в самом деле так, то тогда Декартово: «Я мыслю — следовательно, я существую»,— первоначально должно выглядеть, как: «Я чувствую запах — следовательно, я мыслю».

Разумеется, сейчас у людей обоняние не то, что было у наших далеких предков — пещерных людей: нам ведь не надо ныне выходить на охоту и принюхиваться, где пахнет антилопой, лосем или зайцем. Вряд ли необходимо по запаху искать магазин или кафе. Но все же за миллионы лет эволюции природа сохранила нам настолько тонкое обоняние, что даже при всех успехах современной науки и техники пока не удается построить прибор, который превзошел бы человеческий нос по способности улавливать и определять присутствие в воздухе тех или иных пахучих веществ. Многие промысловые охотники (в частности сибиряки) способны в кромешной темноте свободно ходить по лесу: обоняние помогает им.

Возникновение ощущения запаха в органах обоняния — сложный процесс. Замечено, что в начале дня все здоровые люди более чувствительны к ароматам. Однако после завтрака чувствительность заметно падает — не этим ли объясняется острота нашего обоняния во время прогулки на рассвете? Неодинакова эта острота у человека и в течение года: весной и летом повышается, осенью и зимой слабеет. Замечено также, что обоняние развито сильнее у нервных, эмоционально-возбудимых людей — среди них чаще встречаются люди с аллергическими заболеваниями. У женщин чувствительность к запахам тоньше, чем у мужчин.

Обычный человек без труда может различать примерно восемь тысяч запахов, а обонятельно одаренный — свыше десяти тысяч. Кстати сказать, уникальным обонянием, например, обладал известный французский физик Поль Ланжевен (1872—1946). Академик П. Л. Капица рассказал, как однажды перед обедом на конгрессе в Цюрихе в 1925 году Ланжевен попробовал вино и сразу правильно определил по аромату и вкусу не только марку вина, но и место и год сбора урожая винограда! По воспоминаниям друзей, он был выдающимся дегустатором запахов и очень гордился этим — порой даже больше, чем своими успехами в физике.

Лет двадцать пять назад проблемой обоняния заинтересовался американский инженер-связист Р. Хейнер. Он рассматривал запахи с точки зрения теории информации и пришел к заключению, что мы способны воспринимать свыше 30 миллионов ароматов.

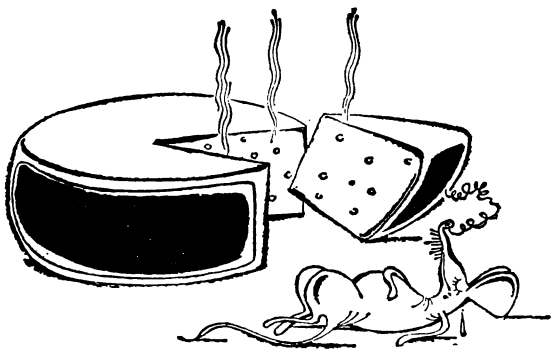
Наш обонятельный анализатор имеет еще одно чрезвычайно важное достоинство — быстродействие. Очень сложную картину запаха мозг воспринимает и опознает за какие-то доли секунды! С точки зрения современной химической техники это невиданный по быстроте экспресс-анализ.

Если человек обращается со своим носом небрежно, коптит его ежедневно в табачном дыму, оглушает «благоуханием» бензина, отравляет различными химикалиями, то от такого обонятельного анализатора проку мало. Но, обладая хорошим обонянием, ведя строгий образ жизни, человек может путем упражнений научиться различать не только огромное количество запахов, но и тончайшие нюансы этих запахов, ускользающие от нетренированных людей. Примером могут служить парфюмеры, дегустаторы запахов.

Ученые считают, что из обширной, многообразной информации, воспринимаемой органами чувств человека из окружающего мира, на долю обоняния приходится не более одного процента. Но в жизнедеятельности животных органы обоняния играют важнейшую, порою главную роль. Многие животные способны улавливать гораздо больше запахов, чем человек. И острота обоняния у них также значительно выше (примерно в 10 тысяч раз больше, чем острота вкуса). У ряда млекопитающих и насекомых чувствительность и избирательность обонятельного анализатора фантастична.

Обоняние помогает животным добывать пищу, определять ее качество, съедобность. Если у человека ошибки в определении пригодности пищи встречаются довольно часто, то среди зверей это редкость. Мыши и крысы, например, по наблюдениям сотрудников Научно-исследовательского института маслодельной и сыродельной промышленности, всегда по-





едают на складах ту головку сыра, которая наименее прогоркла, меньше других испорчена; недоброкачественные головки сыра не имеют даже прогрызов. Некоторые звери с хорошим обонянием, склонные к универсальности в пище, к всеядности, с одинаковым успехом отыскивают по запаху на близких и больших расстояниях ягоды, желуди, орехи, свежее мясо и падаль.

Чуют добычу на далеком расстоянии и по запахам отыскивают «живой корм» и падаль лев, тигр, леопард, рысь, енот, гиена, росомаха, песец, а также мелкие хищники из семейства куньих. В мире животных немало и слепых хищников, для которых запах — основная, вернее, единственная информация о находящейся где-то пище.

Олени, антилопы, зайцы, кабаны, за которыми охотятся хищники, все время стараются улавливать запахи, говорящие им о приближении врага. Так что между хищником и жертвой все время развертывается дистанционная «дуэль запахов» — кто скорее обнаружит присутствие противника.

Итак, загадка обоняния — тайна за семью замками. Но ученые, занимающиеся изучением природы запаха, механизмов обоняния, уверены, что тайна эта рано или поздно будет раскрыта. В истории науки известно немало фактов счастливой развязки и более трудных проблем.

А пока... Пока бионики, биологи, физиологи, этологи и другие ученые занимаются поиском живых организмов, которых можно было бы использовать, выражаясь языком техники, для автономного выполнения функций газоанализаторов и запахолокаторов в самых различных областях человеческой практики, в сфере производства и научных исследований. Для такой роли нужно соответствие двум требованиям: обладать высокочувствительным обонятельным аппаратом, который мог бы воспринимать то или иное пахучее вещество в самой мизерной концентрации; реакция на обнаруженный запах должна быть немедленной, простой, однозначной, наглядной и понятной.

Идея использования животных в качестве анализаторов запахов в общем-то не новая, но широкой реализации до недавнего времени она не получила: мы очень мало знали об органах обоняния живых существ, точнее, об их способностях и возможностях. Из всего многообразия животного мира человек длительное время использовал в качестве запахолокаторов лишь три-четыре вида.

Первым, как известно, к выполнению такой функции человек несколько тысяч лет назад приспособил собак. В конце XVII века горняки Англии и других стран начали использовать в качестве индикатора рудничных газов... канареек. Эти певчие птички настолько чувствительны к ядовитым газам, что при их появлении в воздухе шахты даже в ничтожном количестве тотчас же теряют сознание. Многим горнякам они спасли жизнь. И сегодня, как три столетия назад, шахтеры ряда стран, опускаясь в забой, берут с собой канарейку. У горняков есть еще один давний и верный друг — чиж: он умирает, вдохнув малейшую порцию окиси углерода.

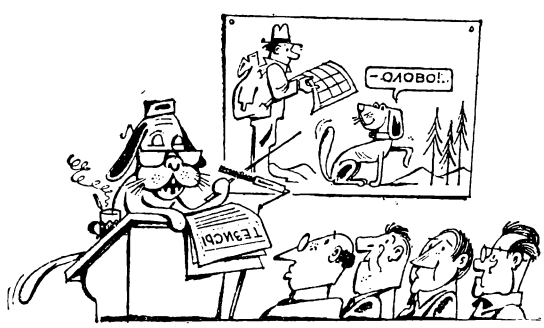
За последние два десятилетия в послужном списке наших давнишних четвероногих друзей появилось много новых «профессий». О некоторых из них еще совсем недавно могли писать лишь фантасты. Ну, кто, к примеру, в середине XX века мог серьезно думать, скажем, о том, что собаки когда-нибудь будут работать рудознатцами?! А ведь работают, да еще как!

Автором нового метода поиска полезных ископаемых с помощью собак был финский профессор Кахма, занимавшийся проблемами прогнозирования геологических открытий. А идею метода, как это нередко бывало и бывает в науке, ему подсказал «господин случай». Ученый любил после работы посидеть во дворе многоквартирного дома с соседом-собаководом. Наблюдая, как резвый терьер разыскивает по запаху различные предметы, Кахма подумал: а почему бы не научить собаку искать минералы? Для проверки жизненности идеи в 1962 году отобрали служебную овчарку по кличке Лари и приступили к ее обучению. Уже в 1964 году она обнаружила куски пород на поверхности или неглубоко в земле. И вскоре на геологической карте Финляндии появилось новое месторождение медных руд, которое и назвали именем «открывателя».

В 1966 году проблемой поиска минералов и горных пород по запаху занялись сотрудники Петрозаводской лаборатории Института геологии Карельского филиала Академии наук СССР, а также ученые Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии АН СССР во главе с доктором биологических наук, профессором Г. А. Васильевым.

Первые эксперименты, проведенные в Карелии (начали с поиска серного колчедана), превзошли все ожидания. В отличие от Лари, находившей пиритовые валуны на поверхности, собаки петрозаводской лаборатории обнаружили рудные тела, лежащие на глубине 7—13 метров, и не только в обычной, сухой почве, но и на болотах. Эти собаки способны работать в любую погоду, искать полезные искомаемые даже зимой под полуметровым слоем снега. «Мы убедились,— писал несколько лет спустя один из зачинателей нового метода, инженер Г. М. Кириленко,— что собаки находят и рудопроявления, которые не улавливает ни один прибор...».

Прелюбопытный случай однажды произошел в одной из комплексных поисковых экспедиций. Псы, дрессированные на розыск ртути, как сговорившись, упорно облаивали розовый кальцит. Геологи сначала посмеивались, затем обеспокоились: неужели ошиб-



ка? Вскоре выяснилось: собаки были правы — внутри розового кальцита находилась киноварь, содержащая ртуть. Этим подтвердились теоретические выкладки академика В. И. Вернадского (1863—1945) и экспериментальное исследование члена-корреспондента АН СССР А. А. Саукова (1902—1964), полагавших, что вблизи киноварных месторождений в кальците должна быть и ртуть. Вот так неожиданно собаки выступили в роли защитников научной гипотезы. Удивительно, но факт.

Как выяснилось в дальнейшем, четвероногие геологоразведчики чуют запах не только сернистых и мышьяковистых руд, галлоидных соединений и минералов циркония и теллура, но и множество других минералов, не обладающих для человека никаким запахом!

Опыты, которые не раз ставились с собаками, показали, что обонянию животных доступны также литий, бериллий, бор, углерод, натрий, магний, алюминий, кальций, титан, хром, марганец, кобальт, никель, медь, цинк, стронций, ниобий, молибден, серебро, олово, сурьма, цезий, барий, тантал, вольфрам, золото, висмут. Лучшие собаки-рудознатцы могут «анализировать» на расстоянии более 20 элементов (независимо от того, в состав какого природного соединения они входят), даже распознавать вещества, казалось бы, лишенные запаха.

И теперь кинологический метод поиска полезных ископаемых успешно развивается как в нашей стране, так и за рубежом. Сегодня четвероногих рудознатцев можно встретить в ряде геологоразведочных партий, работающих в самых различных регионах нашей необъятной Родины, в любых климатических и погодных условиях: в тундре, в пустынях, в горах — где угодно.

Использование собак в рудопоисках натолкнуло ученых и специалистов, работающих в области транспортировки газа, на мысль привлечь собак к «инспектированию» газовых магистралей. Практика показала, что двумя дрессированными овчарками можно заменить десять газотехников, вооруженных специальной аппаратурой. Стокилометровую линию газопровода, обычно контролируемую большим штатом газотехников в течение года, две собаки способны тщательно проверить за десять рабочих дней.

Отлично зарекомендовали себя собаки в последние годы и в такой новой для них и чрезвычайно ответственной профессии как... таможенник. Особенно по специальности обнаружения тайно провозимых контрабандистами наркотиков.

В конце 60-х годов канадские ученые установили, что под воздействием малых доз углеродсодержащих газов некоторые бактерии начинают светиться. Три года спустя одна из американских фирм приступила к разведению бактерий, способных обнаруживать наркотики, взрывчатые вещества, токсичные газы и различные химикаты. Живые индикаторы начинали светиться даже при наличии в воздухе одной миллионной части паров перечисленных выше веществ.

За несколько последних лет выведены сотни видов бактерий для обнаружения более 500 различных химических веществ, причем некоторые из этих бактерий способны выявить до пяти разновидностей химикатов.

Бактериальные индикаторы можно использовать в борьбе с контрабандистами и террористами, и в шахтах, и на химических комбинатах, и даже в операционных, где очень важно вовремя обнаружить утечку анестезирующих веществ.

На очереди использование в качестве запахолокаторов некоторых насекомых, способных ощущать присутствие в воздухе фантастически малых количеств любого пахнущего вещества. В частности, канадские ученые недавно предложили привлечь к борьбе с контрабандистами и воздушными пиратами дрозофилу — крошечную плодовую мушку, которая уже много десятилетий является излюбленным объектом исследования генетиков.

Эксперименты показали: специально выращенные популяции дрозофил настолько чувствительны к запахам наркотического зелья и взрывчатки, что безошибочно реагируют на их присутствие даже тогда, когда бессильны специально обученные собаки и высокочувствительные электронные приборы.

И еще одна новинка. Ученые установили, что весьма перспективным является применение индикаторных микробов для разведки месторождений нефти и газа. Практическая ценность микробиологического метода в геологии оказалась настолько большой, что на некоторые виды микробных датчиков в Советском Союзе выдано уже несколько патентов. Результаты исследований этим методом в сочетании с другими наносятся геологами на карты разведок и служат важным ориентиром для добычи нефти и газа.

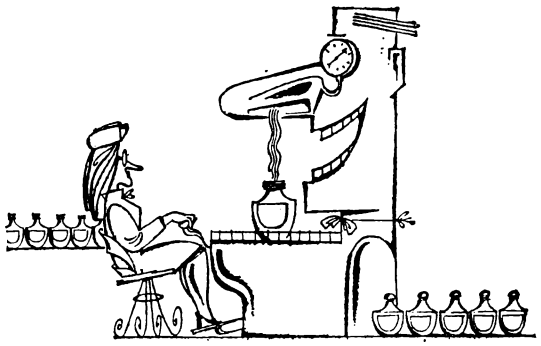
Помимо уже используемых ныне человеком живых обонятельных систем в химической, фармацевтической, бумажной отраслях промышленности, в геологии, в таможенном контроле, в криминалистике, необозримые возможности пополнения этого арсенала новыми индикаторами открывает бурно развивающаяся в последние годы генная инженерия. Уже сегодня она позволяет вывести ряд принципиально новых запахоанализаторных систем, которых нет ни в современной технике, ни в живой природе. А в таких системах сейчас испытывают острую нужду многие современные промышленные предприятия, где производятся жизненно важные продукты, препараты, химические вещества и т. п.

Бионики, инженеры, генетики и другие специалисты идут тремя путями к обеспечению различных областей деятельности человека высокочувствительными обонятельными средствами. Первый путь — прямое использование различных видов животных с высокоразвитым обонянием. Второй путь — генетический — выведение мутантов, обладающих специфической обонятельной чувствительностью. Третий путь — создание искусственных обонятельных систем по лучшим природным образцам. Несколько видов таких анализаторов в последнее время уже создано.

В СССР спроектирован искусственный «нос» для парфюмерной промышленности. По утверждению разработчиков, такой аппарат сможет гораздо лучше работников ОТК следить за точным выполнением процесса производства и качеством выпускаемой ароматной продукции.

Создано несколько бионических конструкций для медицинской диагностики. Пока это опытные модели, экспериментальные образцы. Но они уже умеют многое. Некоторые из них, например, сегодня способны регистрировать 400 веществ в выдыхаемом пациентом воздухе. Открываются широкие возможности обнаруживать по характерным, специфическим запахам многие болезни на ранних стадиях их развития.

Не так давно во Франции в департаменте Буш-дю-Рон, неподалеку от города Фос-сюр-Мер, открылся первый центр автоматического контроля за состоянием воздушной среды. Там сосредоточены крупный металлургический комбинат, нефтеперерабатывающие и химические заводы, которые ежедневно выбрасывают в атмосферу большое количество вредных ве-



ществ, создающих реальную угрозу для окружающей среды. 13 искусственных «носов» — автоматических станций берут каждые 15 минут пробы воздуха. Данные о его влажности, температуре, содержании кислот и других примесей обрабатываются и анализируются электронно-вычислительной машиной. Новый центр позволяет специалистам постоянно следить за состоянием воздушной среды в районе и разрабатывать меры, направленные на ее охрану.

В западногерманском городе Дармштадте на самых оживленных перекрестках установили светофоры с искусственной системой обоняния. Если автоматические хеморецепторы обнаруживают, что количество окиси углерода в воздухе превышает допустимые пределы, то светофоры переключаются на специальную программу — изменяют направление движения автомобилей до тех пор, пока воздух на улицах не очистится.

Любопытно, что бионика, а точнее, ее новая ветвь, получившая название «химическая бионика», открывает широкие возможности для создания синтетических запахов и их многообразного практического применения.

Нашими учеными разработана технология синтеза большого ряда аналогов натуральных душистых веществ. Создано множество новых, никогда не существовавших в природе. Они широко применяются сейчас в фармацевтической и пищевой промышленности, в парфюмерии и косметике, а также в бытовой химии. Уже изготовляются, например, стиральные порошки, обладающие свежим запахом зеленого лимона. Белье, выстиранное в таком порошке, благоухает, как целая плантация цитрусовых, причем синтетический запах сохраняется довольно долго.

Некоторые зарубежные фирмы используют различные запахи в рекламных целях. Почти любой аромат — от персиков до пикантного сыра — можно заключить в пластмассовые микрокапсулы настолько малых размеров, что на одном квадратном сантиметре их помещается 7—8 миллионов. Полоску ленты с такими микрокапсулами можно прикрепить к упаковке изделия или к рекламе этого изделия, например, в журнале. Читателю надо лишь поскрести ленту ногтем и «принюхаться». Представители ряда компаний утверждают, что ароматная реклама действует гораздо эффективнее обычной.

Выше мы сказали, что «запаховые» устройства могут принести и уже приносят немало пользы в борьбе за высокие урожаи.

Сейчас известно более 60 тысяч видов насекомых, паразитирующих на растениях. Сколько растений погибает, становясь пищей различных вредителей! Одни повреждают корни, другие — стебли, третьи — листья. Ежегодно, по данным статистики, хлеборобы вынуждены платить макро- и микровредителям огромную дань, десятки миллионов тонн, почти каждый пятый центнер урожая.

Что же делать? Применять ядохимикаты, пестициды? Но при этом гибнут не только «виноватые», но и «правые» — те, кто уничтожает вредителей полей. Более того, «виноватые» с течением времени приобретают устойчивость к ядам и нередко продолжают пировать как ни в чем не бывало. А «правых» становится все меньше. Разлетаются из долин птицы, убегают животные. Взвесь ядохимикатов загрязняет воздух, отравляет водоемы...

Выход есть, и весьма действенный — организовать и применять биологическую оборону.

За последние годы учеными изучен состав более 150 видов феромонов — веществ, синтезируемых и выделяемых в окружающую среду живыми организмами. Эти химические соединения вызывают специфическое поведение у особей одного и того же вида. Обнаружены в животном мире половые феромоны, феромоны следа и тревоги, феромоны — метчики территории, а также многие другие вещества, помогающие живым организмам ориентироваться в окружающей обстановке.

Энтомологам известно, что самки насекомых в брачную пору выделяют вещества, запах которых самцы чувствуют за километры и издалека летят навстречу. Принципиально возможно искусственно создавать, синтезировать особые химические соединения (и их уже производят), на запах которых собираются насекомые-вредители. Эксперименты, практика показывают: действительно, вредные насекомые, словно мухи на мед, слетаются на такие приманки. На самых маленьких площадях — буквально на пятачках, находящихся к тому же в стороне от посевов, садов и плантаций,— их можно уничтожать либо с помощью ловушек, либо ядохимикатами. Это избавит тружеников полей от необходимости распылять яды на тысячах, сотнях тысяч гектаров. Многообещающим представляется также применение искусственно синтезированных гормонов насекомых. С их помощью можно будет, например, вызвать раннее окукливание: из куколок будут выводиться бесплодные взрослые особи, которые не оставят потомства.

В изыскании биологических методов защиты растений в нашей стране за последнее десятилетие достигнуты значительные успехи. Особенно успешно в этом направлении работают ученые Всесоюзного научно-исследовательского института биологических методов защиты растений. Здесь активно разрабатываются действенные биофизические и биохимические способы наступления на вредителей и болезни зерновых и технических культур, овощей, плодовых насаждений.

Итак, мы на пороге огромной «страны» запахов, страны, как будто давно открытой человеку и в то же время совсем еще не изведанной. Сейчас мы продолжаем, как известно, получать чуть ли не 7/8 всей информации из окружающего нас мира через органы зрения. Поэтому многие повседневные наши выражения восходят своими этимологическими корнями к зрительным ощущениям. И когда ученые научатся воспроизводить созданные природой высокосовершенные системы обоняния и поставят их на службу человеку, когда будут постигнуты природа запаха и механизм его восприятия, перед человечеством по-новому откроется изумительный мир запахов во всей его сказочной красоте. И очень может быть, что наряду с привычным в нашей лексике словом «мироощущение» прочное место займет термин «мирообоняние».

АЛЕКСАНДР САМОЙЛЕНКО

ХРОНИКА ОДНОЙ СЕНСАЦИИ

(Ненаучная фантастика)



Рисунок И. Оффенгендена.

Внимание! Внимание! Говорит центр межгалактической связи. Начинаем прямой репортаж об одной суперсенсации. Сегодня, уважаемые телегалолазероимпульсноскопические зрители, вам предстоит увидеть на экранах ваших телегалолазероимпульсноскопических экранах нечто из ряда вон выходящее—нашего дорогого Гошу. Этим старинным именем мы назвали результат долгих лет работы десятков бионорсульфазологических институтов многих планет. Чтобы это великолепное создание природы вновь появилось на свет, трудились сотни реанимоархисинтезаторов различных цивилизаций. И вот результат — по сохранившемуся генотипу Гоша снова воссоздан во всю свою натуральную величину. Мы ведем репортаж с планеты Земля о полете давно исчезнувшей разновидности лапчатых существ под древним непереводимым названием «гусь белый дикий».

— Пост номер один на связи. Докладываем. Коридор из тунельного силового поля, по которому пролетает гусь, функционирует нормально. Специальная компрессорная система подает туда химически чистый воздух.

— Пост номер два на связи. Докладываем. Включены мощные синхрофразопатроны. На всем пути следования стаи они подогревают только что созданные водоемы. На дне водоемов установлены синтезаторы искусственного белка. Белок имитируется в виде живых рыбок. Камыш пока синтезировать не удалось. Ученые всего Млечного Пути еще работают над этим вопросом...

— Внимание! Докладывает пост номер три! Наши загиперболические дисколеты скользят параллельно силовому туннелю. Внимание! Историческая минута! Торжественное, незабываемое зрелище! Вы слышите, как объединенный межгалактический хор мальчиков исполняет песню «Летят утки». Утки — это тоже древние птицы. К сожалению, нашим архибиолапаталогам до сих пор не удалось найти ни одного утиного пера, чтобы восстановить генотип этой птицы... Ах, как грациозно кружит Гоша над водоемом! Вот он пошел на снижение... «Гуси, гуси — га-га-га» — эту труднопереводимую игру слов разыскали наши фольклорозообиоисториографы в старинных летописях. Гоша плавно покачивается на волнах воды, заново синтезированной на Земле из водорода и кислорода... Красота и гармония. Гармония и красота...

Но что это?! Откуда на берегу водоема это существо с какой-то палкой в руке?! Он поднимает палку в сторону Гоши... Что бы это значило?.. Резкий хлопающий звук, из палки вырывается огонь и... Гошина гордая шея бессильно никнет на воду. Центр связи, центр связи!.. Посты прекращают трансляцию... Что случилось?.. Что случилось?.. Прием, прием, прием...

— Центр связи с прискорбием объясняет. Как удалось установить, существо с палкой — это человек Вася, который был заморожен еще в далеком двадцать первом веке как последний из оставшихся браконьеров для изучения потомками. Как Вася разморозился и как попал на берег водоема, остается великой научной тайной. Видимо, шум гусиных крыльев вызвал в Васе такой взрыв внутренней энергии, что он сам изнутри разморозился. Ученые немедленно приступят к изучению природы этого явления, к анализу психофизических сил, связывающих этих двух существ,— браконьера Васю и дикого гуся Гошу. Для этого Васю снова заморозят, как только он остынет после выстрела из ружья. «Выстрел из ружья», как утверждают наши фольклорозообиоисториографы,— это уже совсем непереводимая игра слов, смысл которой просто невозможно понять в наше время.

г. Владивосток.

ЕВГЕНИЙ ГОНЧАРОВ

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

Рисунок М. Тишиной.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ

Уважаемая редакция! Мне и моим друзьям очень нравятся песни группы «Фокстерьер». Знаю, что в составе группы молодые талантливые исполнители. Прошу рассказать о них подробней и напечатать фотографию.

С приветом

Коля П.,
любитель поп-музыки

●

СТАТЬЯ В ОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЕ

Наш читатель Коля П. просит нас рассказать о группе «Фокстерьер». Выполняем эту просьбу.

Все участники группы безграмотны в музыкальном отношении, даже не знают нот. Поэтому они пытаются привлечь внимание публики непристойным поведением, хулиганскими выходками на сцене. Так, лидер группы обычно стоит перед микрофоном на четвереньках, ударник в продолжение всего выступления сидит спиной к залу и так далее.

Все, что исполняет группа, можно смело назвать антимузыкой.

На фотографии: беспорядки среди публики во время выступления группы.

●

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ОДНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ГАЗЕТЫ

Глубокоуважаемая редакция! Месяц назад я купил диск группы «Фокстерьер» за 50 рэ, а потом не мог продать эту пластмассу даже за полцены. Но после того, как в ответ на мою просьбу вы напечатали о них статью, у меня диск оторвали за 70.

С горячим приветом

Коля П.,
большой любитель поп-музыки

г. Благовещенск.



НАНАЙСКИЕ ПОРТРЕТЫ САХАТОВА

Основная тема произведений хабаровского художника Валерия Сахатова — нанайские дети. Он писал их в селении Сикачи-Алян (Кабаний остров), что неподалеку от Хабаровска. Селение известно своими наскальными рисунками пятитысячелетней давности.

Художнику очень близка естественность этих детей. Их жизнь в слиянии с природой. Он родился и вырос в Николаевске-на-Амуре, дышал прозрачным, холодным воздухом дальневосточных морей, знал братство интернатской жизни.

Уже на первом курсе художественно-графического факультета Хабаровского педагогического института нам, его друзьям, было ясно, что Валерий — художник не только по образованию (таких довольно много), а по призванию, по образному осмыслению жизни. Уже тогда он не робко подходил к натуре, а брал звучные и смелые цветовые гармонии. Наш педагог Сергей Павлович Заровный учил мыслить образами, обобщенными формами. Студенческая жизнь была полна трудов, впечатлений от открытий мирового искусства, поездок по Амуру с научным студенческим обществом в нанайские села. Оттуда привозили народную скульптуру из дерева — бурханы. Чаще всего это были изображения медведей и собак. Простая, необычайно выразительная, доведенная до формулы, знака пластика бурханов сказалась в живописном языке полотен Сахатова. Но художник не слепо следует скульптурным образцам, а осмысляет их выразительность как опору собственным поискам и выверенности, ясности силуэта изображений, активности пластики образов.

Сахатов прекрасно чувствует цветовую гармонию. Но все же основным средством художественного выражения в его картинах является свет. Свет в дожде, свет в костре, в банках водоносов, в закате солнца. И не только свет — освещение. Его творчество дает нам радость сопереживания, обнажает слитый с природой духовный мир человека.

Ольга ТАРАСЕНКО,
кандидат искусствоведения



ЮЛИЙ РАЧЕВ. Встреча челюскинцев во Владивостоке.

Из произведений молодых художников Приморья.



ОЛЕГ КУЛЬТЫШЕВ.
В бухте «Валентин»

ЮРИЙ ТЕРЕНТЬЕВ.
Город Восходящего солнца





ВЛАДИМИР
СТАРОВОЙТОВ.
**Район
второй речки**



АЛЕКСАНДР
СУСЛОВ.
Натюрморт



ЮЛИЙ РАЧЕВ.

Владивостокская сюита.

ВАЛЕРИЙ САХАТОВ

Хабаровск.



Рыбаки.



Песнь о Гурзуфе.

ЮНОСТЬ 10

Индекс
71120

Цена 70 коп.